# ЛЕМ

## ЖИЗНЬ НА ДРУГОЙ ЗЕМЛЕ

ВОЙЦЕХ ОРЛИНСКИЙ

# LEM

## ŻYCIE NIE Z TEJ ZIEMI

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

«Лем. Жизнь на другой Земле» – первая польская биография. Пользуясь ранее неопубликованными источниками, Орлинский раскрывает большие и маленькие, серьезные и забавные секреты жизни писателя. Как Лем пережил Холокост? Верил ли он когда-нибудь в коммунизм? На что потратил свой гонорар за «Магеллановo облако»? Сколько раз Лем ездил в СССР? Почему Лем назвал Тарковского дураком? Как дружба с Филипом К. Диком переросла в ненависть? Чем отличались рукописи романов «Глас Господа», «Фиаско» и «Футурологический конгресс» от опубликованных вариантов? Что такое на самом деле «сепулька»?


- Войцех Орлинский
  - ○
  - ○
  - ○ Пролог
  - ○ I
  - ○ II
  - ○ III
  - ○ IV
  - ○ V
  - ○ VI
  - ○ VII
  - ○ VIII
  - ○ IX
  - ○ Эпилог
  - ○ Библиография
  - ○ Благодарности
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189

- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233

- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277

- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321

- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365

- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409

- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453

- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494

# Войцех Орлинский
# Лем. Жизнь на другой Земле

Wojciech Orliński
LEM. ŻYCIE NIE Z TEJ ZIEMI
Copyright © by Wojciech Orliński, 2017

© by Wojciech Orliński, 2017
© И. Шевченко, перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*«Как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей…»*

*СТАНИСЛАВ ЛЕМ*

*«Возвращение с Земли»*

# Пролог
# Feci, quod potui [1]

Четыре утра, а скорее ночи. До рассвета ещё несколько долгих часов. Клины, далёкое предместье Кракова, скорее деревня, чем город, ещё спит. Ни одна собака не гавкает, ни один петух не кукарекает, ни одна корова не мычит.

Ни одна машина не едет. Пока соседи не начнут махать лопатами, никто не пройдёт, потому что ночью выпал снег. Единственная дорога связывает эти несколько домиков с цивилизацией – на карте города она громко именуется улицей, но на самом деле это просто просёлочная дорога, ответвление от трассы из Закопане – в данное время полностью непроездная.

Станиславу Лему это совсем не мешает. Он никуда не собирается, по крайней мере физически. Но через мгновение в воображении он воспарит к звёздам, потому что эти несколько часов до рассвета, когда все домашние ещё спят, его любимое время для творчества. Воображению не мешают заснеженные дороги.

Сейчас его ждёт первое действие этого дня – растопка печи. Лем выскальзывает из своей комнаты на втором этаже. По терразитовым ступеням он спускается на первый этаж, где в своей комнате спит тёща, а в столовой на разложенном кресле спит девушка из деревни, которая в доме Лемов готовит и убирает. Если настоять, то можно было ей поручить растопку коксовой печи. Для этого действительно нужна мужская сила, но этим девушкам, нанятым в деревнях под Краковом, благодаря невероятному количеству родственников и знакомых его тёщи, может не хватать чего угодно, но только не физической силы.

Кроме того, поручать ещё одну обязанность для девушки было бы рискованным: она могла попросту уйти, как и её предшественницы. Семья не может позволить себе платить ей достаточно много, чтобы удержать на дольше. В конце концов, все они находят себе где-то в Кракове лучшую работу и поиски приходится начинать сначала. Их текучка такая быстрая, что Лем даже не хочет запоминать имена очередных девушек.

Есть ещё два повода, по которым Станислав Лем охотно берёт на себя обязанности по разжиганию центрального отопления в собственном доме. Во-первых, ему сорок. В этом возрасте мужчина охотно хватается за «мужские» задания в предчувствии, что это последнее десятилетие в его жизни, когда он ещё может свободно это сделать. Предчувствует, что близится то время,

когда он не будет для семьи тем сильным, эффективным переносчиком тяжестей и универсальным решателем проблем, а сам станет проблемой и бременем. И он хочет насладиться каждым днём физической силы.

Во-вторых, уже какое-то время Барбара Лем, заботясь о его состоянии, старается, чтобы её муж похудел. Прибегает к различным методам: поощряет физические нагрузки и ограничивает его в еде.

Станислав Лем не спорит. Он не сомневается в необходимости похудеть. На самом деле, у него нет диплома, но он окончил медицинский так же, как и его жена, которая часто повторяет, что Сташек, несмотря на отсутствие диплома, знает о медицине больше, чем она. И это не обычная любезность, Лем маниакально постоянно что-то читает, и в том числе медицинскую литературу.

Короче говоря, он сам хорошо знает, чем грозит ему лишний вес. Потому, когда на обеде вся семья ест второе блюдо, он довольствуется только супом. Мозг и сердце говорят ему слушать семью, но желудок – это орган, который руководствуется собственными правилами. И это именно он вырывает Лема из сна.

Ступени в подвал ещё не облицованы. Станислав Лем спускается во мрак по голому бетону. Он толкает крепкие двери, сбитые из досок и закреплённые тремя балками, образующими букву «z». Он включает свет, но его первые шаги не к котлу. Он поворачивает в гараж.

В багажнике лежат покупки, которые он сделал вчера в Кракове, в своём любимом «овощном» на улице Долгой, когда кружил по городу, ожидая, пока жена закончит работу и они вернутся домой на святое обеденное время (тринадцать тридцать, как и каждый день). Лем, как обычно, до этого времени управлялся с разными делами – от шопинга до чтения международной прессы в отелях.

Вчера в «овощном» он купил два отличных немецких марципановых батончика. На самом деле, ему нельзя их есть, но никто не видит, все ещё спят. Лем поспешно съедает их и направляется из гаража в кладовку. Он прячет обёртки за шкафом, который закреплён у стены, поэтому никто никогда не раскроет его диетической трансгрессии, безупречного сладкого преступления.

На мгновение он задумывается о том, каким абсурдным является покупка сладостей в «овощном», который в теории должен продавать овощи и фрукты. Это как поехать в банк, чтобы купить машину, или в отель, чтобы купить «Геральд»? И в таких абсурдах проходят дни Лема.

Может, сделать из этого сатирический рассказ? О какой-то планете, на которой Ийон Тихий пытается делать покупки в слегка завуалированном мире коммунистических абсурдов? А может, это не должна быть планета? Время от времени на карте мира появляется какое-то новое государство в рамках деколонизации – может, сделать из этого вымышленную страну где-то в Азии или Африке?

Однако эта мысль быстро улетучивается из головы Лема. Нужно наконец сделать то, зачем сюда пришёл. Он выгребает из котла лопатой вчерашнюю золу и пепел. Около дверей он набрасывает плащ и обувает резиновые сапоги – он выглядит сейчас как Франек Ёлас из Нижних Мычисок, а не краковский писатель – и продирается через свежие сугробы к калитке.

Он высыпает пепел на дорогу и, продрогший, возвращается домой. В котельной он обнаруживает, что кокс как всегда замёрз (помещение влажное и не обогревается) и его не удаётся набрать на лопату.

Он берёт широкое долото, свой основной инструмент труда, как кочегар, шутливо описанный в «Седьмом путешествии Ийона Тихого». Это специальный кованый прут. Тихий мешал им в атомном котле (а также сражался им сам с собой во временной петле за то, кто съест последнюю припрятанную плитку шоколада – четверговый Тихий, пятничный Тихий или, может, самый опасный из них всех, потому что самый опытный, воскресный Тихий). Лем разбивает прутом замёрзшие глыбы кокса и угля. Очевидно, как Тихий, он бы тоже героически сражался за запасы в кладовой, даже сам с собой. В каком-то смысле он каждый день это и делал.

Бах! Бах! Бах! Печь ещё не затоплена, но писатель уже разогрелся. Он засыпает раздробленный шлак, тянется за канистрой с бензином, брызгает на чёрные комья. Щёлкает зажигалкой.

Бум!

Бензина, как обычно, он льёт слишком много. Он всегда ругает себя за расточительство, но это как со сладостями, это сильнее его. Батончик и взрыв, разве можно более приятно начать трудовой день?

Лем греет руки возле гудящей печи. Как только он вернётся в свою комнату, сразу же сядет за машинку. У него есть ещё три часа спокойного времени, потом весь дом проснётся и снова нужно будет ехать в Краков.

О чём сегодня… Поднимаясь по ступеням, Лем думает о недавно прочитанной статье – она так его поразила, что он даже не помнит, где именно прочитал её – в «Геральде» или

«Ньюсуике»? – про то, что американское правительство заказало в *RAND Corporation* проект сети связи, узлами которой будут компьютеры.

Компьютер уже не как самостоятельный электронный мозг, а как коммуникативное устройство! Как обычно, то, над чем работают настоящие инженеры, является интереснее, чем вымысел фантастов. За ближайшие полвека цивилизация полностью изменится – медиа, отношения между людьми, стиль работы. Почему никто о таких вещах не пишет?

Вчера Станислав Лем говорил об этом Яну Блоньскому, когда тот пришёл с традиционным вечерним визитом. Разговор, как обычно, начался достаточно мило, Блоньский говорил о Прусте, Лем – о компьютерной сети, но вскоре разговор перешёл в скандал, потому что Блоньский упрямо не хотел признавать, что вопрос о том, как компьютеры изменят цивилизацию, важнее, чем вопрос о том, как Прусту удалось передать сущность человеческой природы на страницах «В поисках утраченного времени».

Какую люди могут иметь «сущность природы», когда скоро начнут вмешиваться в генетический код, а уже сейчас можно изменить свою сущность, например используя наркотики? Естественно, чем отчётливее были железобетонные неопровержимые аргументы Лема, тем сильнее Блоньский повышал голос.

Хозяйка дома, пытаясь предотвратить скандал, изменила тему на что-то нейтральное и общее для обоих литераторов: перспективы газификации, а также асфальтирование улицы, которая при хорошей погоде соединяет их предместье с Краковом, а при плохой – эффективно отделяет. Блоньский, однако, вместо того чтобы радоваться прогрессу, начал огорчаться по поводу того, сколько ему будет стоить газовое оборудование и откуда он на это возьмёт деньги.

«Может, это было и нехорошо с моей стороны, – подумал Лем, – что я ответил, что, тьфу, мне хватит написать два рассказа и я установлю газовое оборудование, но Блоньский всё равно не должен был так реагировать!» Он взорвался, встал, начал махать руками и сказал, что думает о творчестве хозяина дома – это обычная чепуха, написанная только для денег, которая никогда, никогда не будет причислена к канонам польской литературы.

«Об этом мог бы и промолчать, мой так называемый друг», – подумал Лем, садясь за печатную машинку.

Последнее предложение звучит так забавно, что в последнюю минуту писатель меняет планы. Он вложил его в кибернетические уста Трурля, литературного героя, написание которого

доставляет ему много радости. Трурль – робот, конструирующий других роботов. Его сосед Клапауций занимается вроде бы тем же самым, но это их единственная общая черта.

«Интересно, Блоньский когда-нибудь поймёт, что чем больше он пытается меня задеть, тем больше у меня идей для описания споров Трурля и Клапауция?» – думает Лем и сразу же себе отвечает. Ни один полонист не относится к фантастической литературе серьёзно. И это хорошо, поскольку автор может себе позволить всё, и на его произведения не обратят внимание ни критики, ни цензоры.

А Трурль и Клапауций в следующих рассказах борются против самых разных угнетающих их тиранов, разных Жестокусов, Свирепусов и Мандрильонов. Аллюзии всё более очевидные, но цензура это пропускает, хотя где-нигде и было за что прицепиться. Довольный выходкой, которой он отплачивает в следующем рассказе своему самому близкому другу и всему миру, Лем начинает стучать по кнопкам.

Мерный стук машинки наполняет весь дом. Домашние даже если и просыпаются, то только для того, чтобы перевернуться на другой бок, зная, что сейчас только четыре утра и у них ещё есть пару часов на сон. Они привыкли спать в таком шуме, скорее их обеспокоила бы тишина.

* * *

Самое время, чтобы изложивший эту историю всезнающий рассказчик разоблачил себя. Где-то в первой половине шестидесятых, когда Лем создавал свои самые важные произведения, действительно могло случиться такое утро. Я составил его из реальных моментов – но я не знаю, произошло ли это. Не знаю, действительно ли прут из котельной стал образцом арматуры из «Седьмого путешествия» и спор Лема с Блоньским о техническом прогрессе стал вдохновением для перепалки Трурля (энтузиаста) с Клапауцием (скептиком).

На основании собранных материалов мне кажется, что это вполне правдоподобно, но у меня нет доказательств. Нет подтверждений даже тому, действительно ли Лем украдкой поедал сладости в подвале. Известно только, что во время капитального ремонта того подвала из-за шкафа высыпалась куча обёрток, изготовленных в шестидесятых и семидесятых годах, но ни один уважающий себя суд не обвинил бы осуждённого на основе таких скудных доказательств. Никто Лема за руку не поймал.

Частым явлением среди биографов является поддержание всего повествования в подобной условности. Автор пишет с позиции всезнающего рассказчика. Он всё знает про своего героя, но не всегда известно откуда.

Я так не сделаю. Единственная история, какую я могу вам рассказать честно, это моя история: современного журналиста, который пытается воссоздать жизнь Станислава Лема на основе доступных материалов.

Казалось бы, что тот, кто поддерживал богатую переписку, кто к тому же написал автобиографическую книгу и дал кучу интервью, не имеет никаких тайн. Я же нашёл их множество. Будущие адепты «лемологии, лемографии и лемономики описательной, сравнительной и прогностической», возможно, выяснят их, но я должен уже тут в самом начале признать поражение, и хотя бы поэтому мне не надлежит дальше писать в нейтральном третьем лице.

Буду писать, что мне известно, а не «как это было». Потому что в реальности неизвестно, кто ел украдкой сладости и марципаны в том подвале. Может, пришельцы? В случае этой конкретной биографии этого не стоит исключать…

# I
# Высокий Замок

В детстве меня волновали вопросы типа «Как устроен атом?». Такое встречается часто среди будущих и теперешних любителей прозы Станислава Лема.

Никогда не забуду шок, который ощутил из-за сообщения, что атом главным образом состоит из пустоты. Посредине ядро, которое в сто тысяч раз меньше самого атома. Вокруг ядра кружат электроны, в десятки раз меньше ядра. Между ядром и электронами ничего нет. По крайней мере, ничего материального.

Когда позднее, в институте, я узнал про квантовую теорию, то стал больше уважать пустоту. Я понял, что с ней так же как с драконами из рассказа Лема «Вероятностные драконы», драконов, как известно, не существует, но их различные виды не существуют по-разному.

Однако тогда я был взволнован тем, что атом состоит из одной части «чего-то» и из ста тысяч частей «ничего». Что за шокирующая пропорция! А поскольку вся материя состоит из атомов, то это означает, что хотя она на первый взгляд твёрдая и осязаемая, но в подавляющем большинстве тоже «пустота».

Так же я вижу детство Станислава Лема. У нас есть автобиографичная книга про его детство «Высокий Замок», две книги типа «интервью-река» (Станислава Береся и Томаша Фиалковского), полные восхитительных анекдотов про коллег и родственников, про игрушки и лакомства. Есть, наконец, крохи воспоминаний в разных больших и маленьких публицистических текстах.

Но если присмотреться к этому более внимательно, то автор больше прячет, чем открывает. То, чего в этих воспоминаниях нет, важнее, чем то, что в них есть. Как и атомы, воспоминания Лема состоят в основном из пустоты, но я постараюсь сделать из неё то, что с атомами сделали квантовые физики.

Обратим внимание на то, что чем ближе мы в этих воспоминаниях к маленькому Станиславу Лему, тем сильнее всё делается неосязаемым и нереальным. Чем дальше кто-то был от Станислава Лема, тем более чёткое он имел описание. Учителя в гимназии, например, названы по фамилиям, чаще всего даже по именам, но самое важное то, что описываются они очень подробно, иногда на целую страницу.

Например, мы узнаем, что директор Станислав Бузат был «невысокий мужчина, обладавший зычным, властным голосом,

впрочем, очень хороший человек»[2], а профессор латыни Раппапорт «старый, болезненный, с желтоватым лицом, брюзгливый, но довольно мягкий». Математиком был украинец Зарицкий, «представительный мужчина лет пятидесяти со смуглой, даже тёмной, морщинистой кожей, ещё более тёмными веками, острым неправильным носом, глубоко сидящими глазами, лысый, как колено, – но старательно брил весь череп. […] Никогда не улыбался»[3].

Много внимания Лем уделяет полонистке Марии Левицкой, у которой всегда был отличником. Она хвалила его сочинения, особенно те, что писались на «вольную тему». После войны он искал её и благодаря другой выпускнице добрался до её тетрадей со стихами «совсем не модными, написанными в наивысших эмоциональных вибрациях»[4].

Одноклассники описаны без фамилий, но так детально, что мы без труда можем их себе представить. У Лема было два соседа по парте. Первым был Юлек Х., «сын полицейского, довольно крупный парень, блондин со вздёрнутым носом и выражением неуверенности в глазах». Он дал Лему настоящий, однозарядный пистолет калибра 6 мм, в обмен на пугач-«браунинг» калибра 9 мм, который владельцу «надоел». Лем выстрелил из него в доме, чем перепугал отца, который сразу же конфисковал оружие.

Вторым соседом по парте был Юрек Г., «красивый и влюбчивый». Однако Лем помнил его любовные романы, а не его самого. Больше он пишет про «Мечика П.», отличавшегося «тяжеловесной шуткой и ещё более тяжёлой рукой. Когда его вызывали, он обычно начинал разыгрывать из себя идиота, стараясь делать это так, чтобы было ясно, что он издевается над преподавателем». Мечик был вульгарным, поэтому Лему он не нравился. Зато он любил Юзека Ф., «у которого усы начали расти, почитай, чуть ли не с первого класса гимназии», а также Зигмунда Е. по прозвищу Пуньча, отличного футболиста, который происходил из бедной семьи, поэтому в гимназии держался благодаря репетиторству.

Услугами репетиторов пользовался и сам Лем и описывает их довольно детально, прежде всего учительницу французского, «некую Мадемуазель – особу, достаточно неприятную, обладавшую огромным пористым, словно его рассматривали под увеличительным стеклом, красным носом». Лем не хотел учить французский, поэтому придумал для Мадемуазель хороший способ, подобно героям «Средства от Алкивиада» Эдмунда Низюрского.

Мадемуазель очень любила сплетни про то, кто женился, кто развёлся. Лем рассказывал ей выдуманные истории про своих

бесчисленных дядей и тёть, одновременно угощая её коктейлями собственного изготовления из алкоголя, украденного из буфета матери. «Совершенно удивительно, что после всего этого я ухитряюсь прочесть книжку на языке Мольера», – говорит Лем.

Также подробно описаны и другие неродственные особы, с которыми Лем сталкивался в родном доме, – прачка, швея, горничная, кухарка. Но если сделаем шаг в сторону писателя и начнём исследовать его родных, образ размывается.

В «Высоком Замке» и в других мемуарных текстах неоднократно появляются дяди и тёти, но они редко имеют имена, редко имеют черты характера. Часто Лем описывает их во множественном числе, как дядей и тёть, – мы даже не знаем, сколько их было и какое родство их связывало. Опираясь только на воспоминания Лема, нельзя даже составить их список.

Имена есть у «кузена Метека» (с которым Сташек подрался из-за необычного оскорбления в форме «показа босой пятки»), у «тёти Нюни», а также «дяди Мундека, мужа тёти Хани с улицы Свободы» (который с отцом увлечённо пытался извлечь далёкие голоса из радиоприёмника марки «Эрикссон», но до них доносились только «мощный свист, грохот и мяуканье электрических кошек»).

Имени нет и у «тётки с улицы Ягеллонской», но мы узнаем из «Высокого Замка», что у неё возле дома маленького Сташека сильно напугал агрессивный индюк, и кроме того, тётка имела «eine feine Stube», то есть элегантный салон, куда нельзя было заходить, полный декоративной посуды и вкусностей, предназначенных исключительно для декорации. Мальчик принял этот запрет как вызов, прокрался в салон при первой же возможности и вонзил зубы в марципановые фрукты, но со временем марципан окаменел и стал непригодным для еды. Было это «одно из самых горьких разочарований [его] жизни».

Тётка получила имя лишь через тридцать лет после публикации «Высокого Замка». В интервью Томашу Фиалковскому Лем рассказывал, что тётку звали Берта и она была матерью Марьяна Гемара. В шестидесятых годах XX века рассказывать про Гемара не имело смысла, цензура всё равно бы убрала его из книги (или книгу вообще бы не издали).

Картинка становится совсем размытой, когда мы делаем шаг в сторону ядра этого атома, когда присматриваемся к двум самым близким людям маленького Сташека – его родителям. Учителей, одноклассников, репетиторов, продавцов, прачек и кухарок мы можем себе представить на основании этих воспоминаний. Мы знаем, какой у них был голос и как они выглядели. Но какой голос был у отца? Как выглядела мама? И как их вообще звали?

Этого нет ни в «Высоком Замке», ни в поздних мемуарах. О матери мы, собственно, знаем только то, что она существовала. Как хтоническое божество в античной мифологии, она не играет сюжетную роль в мифологическом повествовании, потому что всегда молчаливо присутствует на заднем плане и олицетворяет всё материальное. Зато отец является олимпийским богом, сверхъестественным владыкой, который иногда присылал маленькому Сташеку щедрые подарки, а иногда выдавал непонятные запреты. Трудно себе представить их на основании таких описаний, как людей из крови и плоти.

Оставим эти метафоры и напишем, что про родителей Лема точно известно. Самюэль Лем и Сабина из семьи Вольнер поженились 30 мая 1919 года[5]. Имя отца уже объясняет, почему Станислав Лем так сильно юлил в этом вопросе – всю жизнь он избегал разговоров про свои еврейские корни.

Самюэль Лем где-то с 1904 года[6] пользовался польской версией фамилии, но его родственники до самой войны подписывались фамилией «Лехм». Время от времени он использовал старое правописание, скорее всего чтобы не было расхождения в документах.

Лемов и Лехмов до 1939 года во Львове проживало много. У Герша или Германа Лехма, отца Самюэля, было семеро братьев и сестёр[7], что практически исключает установление личности всех «дядей и тёть» из «Высокого Замка», тем более что, как я подозреваю, часть из них некровные «друзья семьи». Однако известно, что они отличались своим подходом к вопросу ассимиляции. Некоторые из них придерживались еврейской самоидентификации, другие же считали себя поляками еврейского происхождения, хотя бы как, собственно, и Самюэль Лем, о чем свидетельствует выбор имени для первенца.

Станислав! Почему не Адам, Ян или Пётр? Почему это должно было быть имя, которое наряду с Войцехом или Ядвигой однозначно приписывали к Центрально-Восточной Европе, даже после замены на западный эквивалент? Это был не случайный выбор, это было свидетельство польскости.

Австро-венгерский военный врач, каким был Самюэль Лем, в 1918 году вынужден был предстать перед широким выбором. В мирные времена и при относительной стабильности национальность и гражданство трактовались как что-то постоянное, но для жителей Центрально-Восточной Европы сто лет назад было совсем не так. Их страны в результате войны рассыпались, как карточный домик. Их паспорта со дня на день утрачивали свою правомочность. Все *nolens volens*[8] сделали выбор, и часто, из-за отсутствия объективных критериев, этот

выбор был произвольным.

Об этом свидетельствует выбор братьев Шептицких. Один из них, Андрей, митрополит, вошёл в историю как духовный лидер украинцев. Его родной брат Станислав остался в памяти как польский генерал, который защищал Вильнюс от большевиков. Вероятно, несколькими годами ранее братьев Шептицких позабавило бы такое пророчество, что они войдут в историю враждующих между собой народов.

В моем поколении много говорилось о том, как наши родители или родственники стояли перед похожим выбором в 1918 или 1945 годах. Часто это сопровождалось упрёками со стороны предков, которые из всех паспортов, какие могли выбрать, останавливались именно на польских!

Много семей имели семейную легенду про тётю или дядю, которых военная неразбериха закинула на Запад. Иногда они приезжали, одетые в твид и пахнущие *«Old Spice»*, практически каждой мелочью давая понять, что они прибыли из другого, лучшего мира. Они великодушно давали нам несколько долларов или западнонемецких марок, которые для нас были кладом, потому что мы знали, что в специализированных магазинах можно за них купить необычные деликатесы – *«7UP»*, жевательную резинку *«Wrigley Spearmint»* или даже (ах!) баночку *«Nutella»*.

А у кого не было такого родственника, тот о таком фантазировал. Это было уделом и взрослого Станислава Лема. Он услышал от отца сплетню, что какой-то родственник опозорил семью и вынужден был эмигрировать в США. Оттуда Станислав Лем всегда ждал телеграмму про щедрое американское наследство и надоедал этим своей жене или ближайшему окружению, самокритично признавая, что «это было почти наваждением»[9].

После Первой мировой мало кто ожидал близкого приближения Второй мировой. После Второй, в свою очередь, все ожидали Третью, которая (постучим по дереву) все ещё не пришла. Из этого следует, что детский опыт поколения Станислава Лема радикально отличается от моего и, как я думаю, большинства его поклонников из Польской Народной Республики. Меня воспитывали на чувстве временности всего, что нас окружает. Школа, семья и поп-культура заставляли меня ждать очередную войну или революцию, в которых снова всё пойдёт прахом, как уже дважды было в этом столетии.

Лема воспитывали с чувством «железобетонного, нерушимого порядка», как он говорил в интервью Фиалковскому. В первые восемнадцать лет для него было очевидно, что ему повезло

родиться и жить в самом чудесном городе мира. Другие города он не видел, и, похоже, они его не особо интересовали. Ведь, зная слабость отца потакать всем прихотям сына, можно предположить, что, если бы маленький Сташек прогрыз ему дырку в голове, в конце концов он поехал бы с ним в Краков или Варшаву. Между тем отец не пустил его даже на школьную экскурсию в Париж, аргументируя это тем, что такое дальнее путешествие было бы опасным.

Однако всё это заставляет меня с большой долей скептицизма читать, например, такой отрывок из «Высокого Замка»:

> «*Я действительно нигде не видел кондитерских витрин, сделанных с таким размахом. Собственно, это была не витрина, а сцена, оправленная в металлические рамы, на которой несколько раз в году сменяли декорацию, образующую фон для гигантских статуй и аллегорических композиций из марципана. Какие-то великие натуралисты, а может, Рубенсы воплощали в марципановой яви свои мечты, а уж перед Рождеством и Пасхой за стёклами творились закованные в миндальную массу и какао чудеса. Сахарные Миколаи правили упряжками, а из их мешков низвергались водопады сладостей: на глазированных тарелках почивали ветчина и заливная рыба – тоже марципановые, с отделкой из крема; причём эти мои знания не носят чисто теоретического характера. Даже ломтики лимона, просвечивающие из-под желе, были достижениями кондитерского искусства. Я помню стада розовых свинок с шоколадными глазками, все мыслимые разновидности плодов, грибы, копчёности, растения, какие-то лесные дебри и просеки. Создавалось впечатление, что Залевский мог бы повторить в сахаре и шоколаде весь космос, солнцу добавить лущеного миндаля, а звёздам – глазурного блеска; каждый раз в новом сезоне этот мастер мастеров ухитрялся пронзить мою душу, алчущую, беспокойную, ещё совершенно доверчивую, с новой стороны, заполонить меня многозначительностью своих марципановых скульптур, офортами белого шоколада, везувиями тортов, извергающих взбитые сливки, в которых, словно вулканические бомбы, летали замороженные фрукты*».

Заявление «*я действительно нигде не видел*» возбудило мою подозрительность, когда я первый раз читал эти слова, как ребёнок, жадно пожирающий все книги Лема, которые удалось

найти в домашней библиотеке, в библиотеках друзей и, наконец, в библиотеках школьных, публичных и городских, которые я посещал во время каникул. «Высокий Замок» попался мне в одной из районных библиотек, и это была моя первая встреча с феноменом польского Львова.

Раньше информация, что до войны существовало два каких-то больших польских города, которые перестали быть польскими из-за изменения границ в 1945 году, была для меня географической диковинкой, не более того. «Высокий Замок» наполнил Львов специфическим ароматом обжаренного кофе с улицы Шопена, романтическим пейзажем Иезуитского сада или описанием кондитерских, в которые каждый читающий эту книжку ребёнок (независимо от возраста) хотел бы немедленно перенестись.

Но могла ли витрина кондитерской Залевского действительно быть такой чудесной, как в книжном описании? Я вырос в глубоком убеждении, что всё самое лучшее – за пределами Польши. Где-то там, где происходят действия западных фильмов, а лучше всего американских. Это убеждение уже чуждо для поколения моих детей, но я не могу от него освободиться даже сейчас.

Автобиографический «Высокий Замок» появился в 1965 году, когда ежедневность Лема выглядела более-менее так, как это описано в прологе. Не исключено, что слова о марципане от Залевского и халве от Кавураса он выстукивал на машинке, все ещё ощущая на языке вкус батончика, съеденного украдкой в подвале.

«Овощные», в которых он запасался сладостями, были причудливыми магазинами, пользовавшимися весьма либеральным отношением власти ПНР к торговле овощами и фруктами. Работали они по капиталистическому принципу. У них был своего рода собственник (более конкретно, агент или хозяин), который продавал в них всё, что мог.

Прежде всего овощи и фрукты, потому что это основа его деятельности. А также леденцы, «тёплое мороженое», лимонад (в порошке и в бутылках с особенными многоразовыми крышками), специи, содовую и баллончики с углекислым газом, с помощью которых можно делать такую же воду самому в сифоне.

Когда я читал «Коричные лавки» Шульца, то представлял себе именно такие «овощные», потому что они больше всего соответствовали тому, к чему я привык. «Слабо освещённые, тёмные, их праздничные интерьеры пахли густым запахом красок, лака, благовоний, ароматом далёких стран и редких материалов», – сегодня я понимаю, какой ошибкой было представлять себе коричные лавки по образу социалистического

киоска, сбитого из досок (у предпринимателя не было причин для инвестиций в свой бизнес, потому что формально он не являлся собственником).

Ничего не могу поделать с тем, что я воспитывался в Польской Народной Республике. Даже, наоборот, буду утверждать, что это помогает мне в понимании разных сюжетов в прозе Лема, который большинство своих произведений создал во времена этого режима, среди овощных и мясных, между написанием заявки на предоставление стиральной машины и грызнёй за автозапчасти в магазине «Polmozbyt». Без этого мы не понимаем, например, рассказы о Пирксе (особенно «Ананке», где на Марс перенесены реалии типичных социалистических инвестиций) или сложные отношения интеллектуала-правителя в «Гласе Господа», и прежде всего рассказ «Профессор А. Донда».

Но это, собственно, моё социалистическое происхождение является причиной недоверия относительно описаний Второй Речи Посполитой с таким энтузиазмом, как в предыдущем фрагменте «Высокого Замка».

Лем утверждает, что никогда не видел витрин, устроенных с «таким размахом». Он писал те слова уже после первых путешествий по Европе, которые были довольно скромными. Он не знал легендарных витрин лондонского Гарродса или магазинов с нью-йоркской Пятой авеню. Увидь их Лем, сохранил бы он своё восхищение прилавками довоенного Львова?

Когда я наконец посетил Львов, чтобы найти следы Лема, то поверил писателю. Это был мой первый приезд в этот город. Прежде всего я ожидал, что найду немного следов, потому что после стольких лет мало что могло остаться от довоенного Львова. Даже от левобережной Варшавы осталась лишь сетка улиц, тоже сильно модифицированных.

Ничего, я люблю посещать города, которые уже не существуют. Я сделал из этого что-то типа квазирепортерской мини-специальности. Дороги, которых уже нет на картах, города, которых на ней никогда не было, но их разместила там фантазия писателя или режиссёра – согласно буддийской максиме «само путешествие уже награда» я люблю посещать их, даже если знаю, что незачем.

Я поехал во Львов, снабжённый «Путеводителем по Европе», том 1: «Восточная и Центральная Европа» (Россия, Австро-Венгрия, Германия и Швейцария) доктора Мечислава Орловича 1914 года, книга, с которой я люблю исследовать *Mitteleurope*. Орлович пишет про Львов так:

«*Львов. Старая столица Красной Руси, основанная*

*в XIII веке, во время царствования Казимира Великого переходит под власть Польши. Сейчас главный город Галиции, резиденция правителя, национального сейма, католического архиепископа, митрополита униатского и архиепископа армянского обряда. Жителей Львова 210 000, в том числе 120 тысяч поляков, 60 тысяч евреев, 25 тысяч русинов, 5 тысяч немцев. Львов создаёт впечатление абсолютно современного – зданий старше XVII века очень мало*».

К своему удивлению, я обнаружил, что Львов в целом не изменился с 1939 года и даже с 1914-го. Можно передвигаться согласно столетнему плану города: большинство зданий стоит там, где и стояли.

Дома, которые доктор Орлович называл «абсолютно современными», это прежде всего австро-венгерская сецессия. При австрийском разделе Львов, как «резиденция наместника» и столица всей Галиции, пережил демографический, экономический и урбанистический бум. Большинство зданий в центре построены в XIX веке, здешняя сецессия так прекрасна, что впечатляет даже того, кто хорошо знает Вену и Краков.

Юрий Андрухович, который написал послесловие к изданию собрания произведений Лема (издательство «Агора») в 2009 году, сосредоточился на том, *что* в этом городе изменилось с 1939 года. Перечень описанных Лемом мест, которых уже нет: пассаж Миколяша, магазин с игрушками Клафтена и киоск со сладостями Кавураса. Однако большинство знаменитых улиц и зданий сохранилось, часто они даже выглядят так же, как и перед войной (потому что два десятилетия Польша и Европа вкладывали значительные суммы в реконструкцию львовских памятников архитектуры).

Вооружённый планом города и путеводителем доктора Орловича, я каждый день воссоздаю путь Лема от его дома (Браеровская, 4) до гимназии (Подвальная, 2). Это улицы: Браеровская, Подлевского, Ягеллонская, Легионов, пассаж Андреолли, Рынок, Русская, Подвальная, Чарнецкого. Сегодня соответственно это улицы: Лепкого, Гребёнки, Гнатюка, проспект Свободы, пассаж Андреолли, Рынок, Русская, Подвальная. Даже не все названия изменились!

* * *

Я прохожу мимо каменицы Маурициа Аллерханда,

украшенной египетскими мотивами, он был довоенным юристом, одним из создателей польского гражданского права, которое используют и по сей день. Любуюсь Иезуитским садом (сейчас парк Ивана Франко), виднеющимся на горизонте. Пересекаю проспект Свободы, бульвар, который выглядит так, как хотели бы выглядеть краковские Планты, но им не хватает размаха. Я прохожу мимо Рынка и его необычной Ратуши, архитектура которой так не нравилась Орловичу («уродливая, четырёхгранная в бюрократическом стиле с 1820 года, с башней 65 метров в высоту»), но как видно сегодня, Ратуша хорошо перенесла испытание временем.

Легко себе представить довоенный Львов, достаточно притвориться, что не видно современных автомобилей, зато всё больше видно довоенные признаки, которые и так везде пробиваются из-под штукатурки. Я прохожу мимо магазина, который предлагал «церковные атрибуты, серебро, бронзу и т. д.», не знаю, что конкретно с этими атрибутами там делают (скупают? продают? ремонтируют? все вместе?), потому что тот кусок штукатурки ещё не полностью отвалился, поэтому он и дальше хранит свой секрет.

С другого магазина штукатурки отпало достаточно, чтобы догадаться, что перед войной это был обувной, поскольку видны буквы «обувь из Итал», «сапоги» и «принимаем в починку всё». Напротив каменицы Лемов, согласно «Высокому Замку», должна была размещаться библиотека, но, судя по тому, что выглядывало из-под штукатурки, это скорее похоже на кондитерскую, видны слова «мороженое, содовая», из открытых фрагментов букв можно уже догадаться про следующие надписи: «кофе, шоколад».

Возможно, это место соединяло в себе обе функции так, как сейчас модно в польских книжных-кафе. Но ассортимент сладостей, скорее всего, был бедным, раз кафе было под самым носом Лема, а в «Высоком Замке» он о нём даже не упоминает.

Поэтически описанная кондитерская Залевского уже не является кондитерской, а рестораном украинской сети «Пузата Хата» – это хороший фастфуд, в котором еда заказывается у прилавка, но едят её за столиком из тарелок и нормальными столовыми приборами. Немного похоже на столовую, только выбор предложенных блюд из украинской домашней кухни.

Во время первой советской оккупации в национализированном помещении Залевского размещалась показательная кондитерская, где демонстрировались самые лучшие пирожные, что производились в Москве (точно так же, как и в Москве, недоступные обычному человеку). Во время немецкой оккупации там работало кафе существующей и по сей день сети

Julius Meinl, естественно, *nur für Deutsche*[10]. После войны там всегда было то или иное кафе или ресторан.

В окнах уже нет творений «Рубенсов кондитерства», но сами окна и сегодня обольщают сецессийным великолепием. Выкованные вручную орнаменты, блестящие медью, мозаика, мрамор – новый собственник всё отчистил и вернул первозданный блеск. Даже в Вене немного найдёшь таких прекрасных примеров сецессии. Можно понять, почему Лем, когда впервые увидел Вену, описывал её как «очень увеличенный Львов»[11].

Также обновлено здание гимназии, в которую ходил Лем. Сегодня это школа № 8, а тогда государственная гимназия № 2. Школа в 2018 году отметила двести лет практически беспрерывного существования в том же самом здании и в той же форме, что редко встречается в нашем регионе Европы. Сколько школ в Польше может сказать это же о себе?

Гимназия была основана австро-венграми как школа для детей австрийских чиновников (так описано в путеводителе доктора Орловича). В независимой Польше название было изменено, но, естественно, и дальше существовала необходимость в элитной школе с углублённым изучением немецкого языка.

Школу не ликвидировали и немецкие оккупанты, кому как не им углублённое изучение немецкого не мешало. Её существование было востребовано и после войны, в Советском Союзе. При всей тоталитарности этой системы там всегда делался упор на изучение иностранных языков – в конце концов, где ещё готовить будущих шпионов. И сейчас свободной Украине нужна такая школа, а особенно в её самом прозападном городе.

Если город рассматривать только через здания, то Львов выглядит как место, чудесным образом уцелевшее от проклятий Центрально-Восточной Европы, через которые в XX веке не раз проходили фронты Первой и Второй мировых войн, и к тому же ещё конфликты помельче, такие как советско-польская война или борьба новосозданных государств за демаркацию. Много городов, как и мою Варшаву, сровняли с землёй. Львов уцелел.

Или скорее уцелел бы, если считать, что город – это только здания. Этот Львов сохранился, но потерял свои человеческие ресурсы. После 1945 года коммунистическая власть выгнала поляков и провела чистку среди украинцев. Раньше из города сбежали немцы, которые перед этим успели уничтожить почти всех евреев. Вероятно, отчасти потому так хорошо сохранилась недвижимость. Некому было её разрушать. Семьдесят лет назад Львов был городом прекрасно сохранившихся заброшенных домов.

Глядя на эти дома, я понимаю, что в поисках какой-то загадки в решении Самюэля Лема, который в 1918 году решил связать свою судьбу и судьбу своей семьи со Львовом и с Польшей к лучшему или к худшему, я поддался когнитивной иллюзии, которую историки называют презентизмом. Это оценка принятых решений в прошлом с использованием теперешних знаний.

Я уже знаю, насколько плохо было это «к худшему». Сорокалетний и поэтому одарённый жизненной мудростью доктор Самюэль Лем прежде всего видел это «к лучшему». Тут он влюбился, ему было где жить, тут мог продолжать научную и медицинскую работу. Тут жили его старшие братья и сестры, а также постаревшие и требующие опеки родители, которые умерли незадолго до рождения Станислава Лема.

Мой презентизм приводит к тому, что я хотел бы запрыгнуть на хроноцикл Лемов, чтобы дать жизненный совет Самюэлю, который с сегодняшней перспективы выглядит самым рассудительным: убегай отсюда. Забирай невесту и начни всё с нуля в каком-то месте, которого не коснётся война. Лучше всего отправься вслед за опозоренным родственником в Штаты, а если не туда, то в Мексику, Буэнос-Айрес или хотя бы в Лондон – куда угодно, куда не доберутся танки Гитлера и Сталина. Если ты этого не сделаешь, то всё равно будешь всё начинать с нуля, но намного позднее, в Кракове, дряхлый и больной, в том возрасте, когда каждый хотел бы уйти на пенсию.

В 1918 году Львов был территорией борьбы между Польшей и Западно-Украинской народной республикой. Это было эфемерное государство, которому никогда не удалось установить свои границы или добиться международного признания. По крайней мере, они придумали флаг, который сегодня гордо развевается перед зданием органов власти Львовской области, вместе с украинским и европейским флагами. Они размещаются в том самом здании, которое для себя построили австрийские захватчики, – недалеко от гимназии Лема с углублённым изучением немецкого.

Польским Львов стал только в мае 1919 года – за неделю до свадьбы Самюэля и Сабины Лемов! – когда в город вошла армия Халлера, прекращая украинскую осаду. В армии доминировали эндеки[12] – члены польских националистических организаций. Членов организации называли «эндеки» от сокращения начальных букв, их вторжение сопровождали антиеврейские побоища, которые историки, благосклонные к эндекам, называют «поиск еврейских снайперов, стреляющих в поляков», остальные называют это погромом.

Или виной только мой презентизм, что я вижу во всём этом

предвестие куда страшнейших событий, которые разыгрались в этом самом месте два десятилетия спустя? Что чувствовал Самюэль Лем, который уже раз испытал осаду Пшемысля, когда украинцы окружили Львов и через определённое время город был отрезан от электроснабжения и провианта? Или описанный Станиславом Лемом след шальной пули, шрам на одном из окон каменицы на Браеровской, не был для его отца достаточным предостережением? А может, как большинство его современников, он считал, что это всё временные родовые схватки, в которых рождалась Польша – сильная, бетонная, нерушимая. То, что мы называем Первой мировой войной, для него было Большой войной, и – как большинство его современников – он не думал, что она повторится.

На протяжении жизни Станислав Лем неохотно говорил на тему родителей, наверное, прежде всего потому, что, вдаваясь в простые детали, например упоминая имя отца, затронул бы, в конце концов, вопрос своих еврейских корней.

Эта тема была для Станислава Лема абсолютным табу. Он никогда об этом не говорил публично, да и приватно тоже, делая очень редкие исключения – три, про которые мне известно: корреспонденция с английским переводчиком Майклом Канделем и частные разговоры с Яном Юзефом Щепаньским и Владиславом Бартошевским.

Это нежелание говорить о его происхождении не объясняет, однако, почему родители в воспоминаниях Лема – говоря словами Лема из рассказа о драконах – отсутствуют двумя разными способами. Про отца мы тем не менее узнаем некоторые вещи (кем был, чем интересовался, что любил, даже то, что ему нравилась «Больница Преображения», а «Астронавты» не особо). Про мать не знаем даже этого.

Обрывки информации находим в книгах Береся, Фиалковского и Томаша Лема (которому не удалось познакомиться с дедушкой Самюэлем, но он помнит с детства бабушку Сабину, которую называл по её краковскому адресу «бабушка Бонеровская»).

Бересю Лем говорил:

> «*Мама была родом из очень бедной семьи из Пшемысля, поэтому брак моего отца его родственники оценивали как морганатический. Семья отца не раз давала моей матери понять, что в нём есть что-то неправильное.*
>
> *Да, у матери не было никакой специальности, она была просто домохозяйкой. У нас были нормальные*

*отношения, тем не менее я всегда больше льнул к отцу, именно поэтому, видимо, он оказал сильное влияние на мою личность, что видно хотя бы по моим интересам. Мать, конечно, всегда была дома, штопала мои носки, занималась мной, но никогда не была моим поверенным. Эту роль исполнял отец. И хотя он был очень занят, я высоко ценил те малые отрезки времени, которые он отрывал для меня от своей работы*»[13].

Фиалковскому Лем рассказывал отличный семейный анекдот:

«*Когда отец попал в плен, моя мать была такой недовольной затянувшимся пребыванием в русском лагере для военнопленных, что поехала в Вену, к Катарине Шратт, знакомой императора Франца Иосифа, просить, чтобы император обратился к царю с просьбой об освобождении моего отца. Госпожа Шратт приняла мать очень любезно, но, естественно, ничего из той аудиенции не вышло. Отец всегда смеялся с того, что его невеста воспринимала дело об их отложенной свадьбе так серьёзно*»[14].

И наконец, Томаш Лем пишет:

«*Его жена Сабина не получила высшего образования, поэтому Самюэль Лем заключил образовательный мезальянс исключительно по любви. Бабушка ослепила его своей красотой. Со временем выяснилось, что у неё был трудный характер и дедушка с ней натерпелся. Похоже, её любимым занятием было лично взимать арендную плату с жильцов дедушкиной каменицы, что однозначно и не слишком доброжелательно определило отношение квартирантов к арендодателю*»[15].

На основе этих крох можно разве что заключить, что Сабина, младше на тринадцать лет Самюэля, была особой, которой палец в рот не клади. Если стрела Амура соединила её с такой выгодной партией, то она не позволит никому их разлучить. Царь не царь, война не война, революция не революция. И что уж там какие-то (презентистские) сомнения, был ли Львов после Первой мировой войны хорошим городом, чтобы там завести семью.

Однако, чтобы этот брак состоялся, Самюэль Лем должен, во-первых, пережить войну, – и лучшим вариантом было достаточно рано попасть в плен, а во-вторых, он должен из этого плена вернуться целым и невредимым. Ни одно, ни другое не было

очевидным, о чём свидетельствуют дальнейшие воспоминания (у Фиалковского):

«*Если бы не семья, чья фиктивная телеграмма вытащила его из итальянского фронта, он бы неизбежно погиб, потому что окопы где-то возле Пьяве, в которых сидело его подразделение, итальянцы затопили. Это была страшная гекатомба*».

Из итальянского фронта Самюэль Лем попал в крепость Пшемысль. Так, по крайней мере, это выглядит из рассказов Станислава Лема, хотя эта история явно немного приукрашена. Нельзя было из итальянского фронта попасть в Пшемысль по той простой причине, что Пшемысль сдался русским 22 марта 1915 года, а Италия объявила войну Австро-Венгрии спустя два месяца.

Короче говоря, отец Станислава Лема мог, вероятней всего, находиться в гарнизоне, охраняющем мирные границы с – пока ещё дружественной – Италией, но не мог находиться на «итальянском фронте». Это логично: если бы семьи солдат и офицеров Первой мировой могли вытаскивать своих родных «фиктивными телеграммами» с фронта – война закончилась бы намного раньше.

Одно точно: в марте 1915-го, после капитуляции крепости Пшемысль, Самюэль Лем был вывезен в лагерь для военнопленных в Туркестан. Снова у Фиалковского:

> «*Отец также рассказывал, что из благородства россияне позволили им идти в плен с саблями на боку; на первой же станции за Пшемыслем у них, однако, эти привилегии отобрали. В лагере в Туркестане к отцу прицепилась собачка, которую он назвал Сралик: офицеры спали в общей спальне, и собака делала кучки под всеми кроватями, за исключением кровати моего отца. Когда он вернулся во Львов, австрийско-венгерская империя ещё существовала, и он получил Goldenes Verdienstkreuz am Band der Tapferkeitsmedaille, то есть Золотой Крест Заслуги на ленте Медали за Отвагу. Маленьким ребёнком я с удовольствием игрался им – мне разрешали*».

Чтобы вернуться во Львов, Самюэль Лем должен был ещё пережить революцию в России, во время которой австрийских офицеров расстреливали без суда просто за неподобающее классовое происхождение. Снова у Фиалковского читаем, что на полдороге между Туркестаном и Львовом, в безымянном «маленьком городке Украины», доктор Самюэль Лем был пойман красными и там его повели на расстрел, жизнь спас ему «один еврейский парикмахер, который знал отца со Львова, а тут брил

местного коменданта, и тот его просьбу об освобождении отца выслушал».

Почитатель прозы Станислава Лема, читая о военных перипетиях его отца и всех благоприятных стечений обстоятельств, которые привели к его браку с матерью писателя, непроизвольно ассоциирует с вымышленной биографией лемовского героя, профессора Цезаря Коуски. Коуски – автор одной из несуществующих книжек, «отрецензированной» Лемом в «Абсолютной пустоте».

Работа Коуски, под названием «*De impossibilitate vitae*», является антиавтобиографией. Коуска описывает в ней не столько свою жизнь, сколько её крайне низкую вероятность. Если принять во внимание все стечения обстоятельств, которые должны были произойти, чтобы его родители влюбились, поженились и воспроизвели на свет будущего чешского философа, это просто не могло произойти.

Тут мы замечаем много знакомых элементов. Профессор Коуска является ровесником Станислава Лема, его родители (что характерно, снова без имён) тоже являются ровесниками Самюэля и Сабины Лемов. Вот только в результате военной суматохи они оказались в конце концов в Праге, что Коуска уже считает маловероятным, потому что его отец – как и отец Станислава Лема – в 1914 году находился по дороге во Львов, где его родители присмотрели ему жену «ввиду общих интересов».

Так, как и отец Лема, Коуска-старший служил как австрийско-венгерский военный доктор в Пшемысле, в котором вообще бы не оказался, если бы не война. Тут он влюбился с первого взгляда в девушку, с которой познакомился только потому, что она ошиблась дверями в госпитале.

Как и подобает аналитическому философу, профессор Коуска «любовь с первого взгляда» раскладывает на простые факторы и утверждает (неизвестно, на каком основании, потому что читаем рецензию, а не само произведение), что поводом к *coup de foudre* послужила характерная «улыбка Моны Лизы». Эта улыбка появилась из-за смешения хромосом «этого похотливого палеопитека и этой четверорукой первобытной женщины», которые совокуплялись «под эвкалиптовым деревом, которое росло там, где сейчас находится Пражский малый град».

Из того акта зачатия появилось «соединение локусов генов, которое передавалось через следующие 30 000 поколений», создавших мышечный комплекс, отвечающий за эту улыбку. А если бы четверорукая, убегая, не споткнулась о корень эвкалипта, не было бы этого акта. А эвкалипт, собственно, рос тут, а не где-нибудь ещё, потому что 349 тысяч лет назад

огромное стадо мамонтов напилось сульфированной воды из Влтавы и, собственно, тут произошло их массовое испражнение. Вода была сульфированная из-за сдвига два с половиной миллиона лет тому назад главной геосинклинали карпатского горного массива. Это возвращает нас во время падения метеорита из роя Леонидов, с которого начался этот тектонический сдвиг и так далее… Впрочем, я изложил тут только небольшой фрагмент.

Схожесть между судьбой писателя и его героя настолько интригует, что рискну выдвинуть гипотезу: быть может, это одна из тех ситуаций, когда Лем в повествовании, казалось бы, далёком от автобиографичности, однако, что-то хочет нам рассказать о себе. Кроме Львова и Пшемысля у нас есть ещё другие общие элементы. Семья военного врача не одобряет его увлечение, к счастью, разные переплетения обстоятельств делают это неодобрение бессмысленным. Тут тоже появляется итальянский фронт, но там погибает капитан Мейсен – один из соперников Коуски-старшего, у которого было больше шансов, но его устранила «граната 22-го калибра», вместе с тогдашней нехваткой антибиотиков (как замечает Коуска: если бы пенициллин изобрели раньше, то я бы не появился на свет).

Если посмотреть на этот апокриф как на сюжетное произведение, а не как на извращённое квазиэссе на тему анализа вероятности и статистики, выйдет что-то на самом деле напоминающее романтическую комедию Ричарда Кёртиса. Несмотря на преобладающие обстоятельства, Билл Найи и Эмма Томпсон в финале поцеловались.

Произведение появилось в начале семидесятых годов, перед пятидесятилетием Лема, когда его сыну Томашу было три года. Письма, которые в то время писатель отправляет друзьям и коллегам, пронизаны огромным чувством радости и счастья, которые дарят ему жена и ребёнок.

Одновременно в письмах того периода Лем вынужден был объяснять, почему уже не хочет писать фантастику. Рискуя, что сейчас у меня получится аргумент такой сладкий, как Райан Гослинг, вырезанный из марципана, я сказал бы, что феномен любви, этой необыкновенной силы, что сильней мировых войн и сдвигов горных массивов, очаровывал тогда Лема больше, чем космические полёты. И своим странным и ироничным способом он представил нам любовь Самюэля и Сабины как романтическую трагикомедию.

Новый интерес мог быть той причиной, по которой Лем начал больше рассуждать про своих родителей. Был и второй повод: в этот период упоминавшийся Майкл Кандель, который, в свою очередь, с перспективы «бетонно нерушимого» Манхэттена не был

даже в курсе того, насколько болезненное табу нарушил в своих письмах, спровоцировав Лема на искреннюю беседу о родителях и близких родственниках. В 1972 году Лем пишет: «Кроме моих родителей всю мою родню перебили немцы (в основном газ – лагеря смерти)»[16], а в следующих письмах даёт всё больше деталей о самой оккупации.

Что известно про счастливое детство Станислава Лема, то есть про времена, когда он был «чудовищем», как он сам отзывается о себе в начале второго раздела «Высокого Замка»? Он был поздним и единственным ребёнком. Документы свидетельствуют, что он пришёл в этот мир, когда доктору Самюэлю Лему было сорок два, 12 сентября 1921 года. Реальная дата была, скорее всего, 13 сентября, так вписали, чтобы избежать несчастий[17].

Он был избалован даже по сегодняшним меркам: «Кушать я соглашался только в том случае, если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или же меня можно было кормить только под столом», – пишет он в «Высоком Замке». Удивительно, что у отца было на это время, поскольку Лем постоянно подчёркивает, что отец был преуспевающим ларингологом, поэтому переутомлялся. «Он работал и в клинике, и в медицинском страховании, и у него была практика на дому», – говорит Лем Фиалковскому и поясняет, что из-за этого отец был «нервозным»: «Говорили, что, когда доктор Лем кричит на четвёртом этаже, выставляя пациента за двери, слышно было внизу».

К этому анекдоту я отношусь с крупицей скептицизма. Это противоречит тому, что в других фрагментах Лем описывает своего отца как джентльмена со старосветскими, довоенными манерами, и это перед Первой, а не Второй мировой войной. Мне трудно поверить в доктора Самюэля Лема, выставляющего пациента за двери, скандаля на весь дом, потому что по городу быстро бы распространились слухи и к нему перестали бы толпой идти пациенты. Зато, прочитав множество интервью и писем Лема, я заметил, что он обманывал своего собеседника, рассказывая ему *de facto* о себе, но так, словно говорил о ком-то другом. А вот рассказы о том, что когда сам Станислав Лем скандалил в какой-то редакции по поводу невыплаченного гонорара или опечатки, то это разносилось на несколько этажей, я слышал от многих источников.

Но в то, что Самюэль Лем переутомлялся, я верю безоговорочно, потому что в воспоминаниях Лема появляется картинка счастливого детства, но немного грустного. Счастливого, потому что родители (в основном отец) охотно

удовлетворяли все капризы сына. Грустного, потому что, скорее всего, они не так много им занимались, и он много времени проводил в одиночестве.

Отсюда и забавы, которые в другой семье закончились бы гневной головомойкой, но этого, скорее всего, не допустили бы родители, потому что выходки маленького Лема – это очевидные игры ребёнка, преждевременно предоставленного самому себе. В «Высоком Замке» мы читаем: «Извлечённые из шкафов костюмы отца я переделывал на манекены, восседающие на стульях и креслах, в поте лица своего набивая свёрнутыми в рулоны журналами их болтающиеся рукава, а внутрь запихивая что под руки попадало». Сташек неистово уничтожал те игрушки, которые родители дарили ему, может быть, затем, чтобы он оставил в покое их одежду: «Калейдоскопами, которые я вскрывал, можно было одарить целый приют, а я ведь знал, что в них нет ничего, кроме цветных стекляшек», «Волшебный фонарь фирмы Патэ с французским эмалированным петушком на стенке мне пришлось обрабатывать тяжёлым молотком, и толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой-то бездумный, отвратительный демон разрушения и порчи; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним сталось позже».

Как отец я немного ориентируюсь в этой демонологии, поэтому знаю, что имя этого чудовища – скука. Она уходит, когда ребёнок чем-то заинтересуется.

Маленький Сташек сам научился читать, сначала разбирая надписи вокруг себя, хотя бы загадочный заголовок докторского диплома[18] своего отца:

> «*SUMMIS AUSPICIIS IMPERATORIS AC REGAS FRANCISCI IOSEPHI…*»

(этот диплом его сильно интриговал, потому что сургучная печать напоминала ему тортик). И так исчез демон разрушения, пришла жажда чтения. «Правду говоря, я читал всё, что попадало в руки», – говорил он Фиалковскому. Отец пытался как-то влиять на это чтение и подарил четырнадцатилетнему Сташеку «полное издание Словацкого»[19]. Однако мальчик предпочитал книги про науку, технику и медицину (их дома было много), а также приключенческие, типа Карла Мая или Стефана Грабинского, про которого много лет спустя напоминал польскому читателю.

Вооружённый базовыми знаниями в науке и технике, Лем заменил демона разрушения на демона созидания. Собственными руками он создавал машины, про которые читал в научно-популярных книгах или которые покупал за свои карманные:

катушка Румкорфа, машину Уимсхёрста, генератор Теслы. Всё это оборудование имело небольшую практическую ценность, но впечатляющий эффект. Оно позволяло генерировать высокое напряжение, исчисляемое в тысячах и десятках тысяч вольт, но с такой незначительной силой тока, что можно было спокойно позволять играться ребёнку, он не причинит себе вреда. Зато в тёмном помещении можно было любоваться электрическими зарядами и ощущать себя Зевсом Громовержцем.

Кроме того, Лем заполнял тетради проектами собственных изобретений, таких как: велосипед с передним приводом, самолёт с паровым приводом (для производства пара использовался солнечный свет), двигатель внутреннего сгорания из кресальных камней зажигалок вместо свечей зажигания и планетарную передачу, которую, честно говоря, ещё до Лема придумали античные изобретатели, но он этого не знал и тем более не знал, что это изобретение уже имело название. Большинство этих вещей в действительности не имело смысла и никогда бы не работало. Среди них были, по словам самого Лема, «десятки идей для *perpetuum mobile*». Часть, может быть, и имела какой-нибудь смысл, если бы их доработать, но от карандашного наброска в «тетради с изобретениями» до технического рисунка, на основе которого можно собрать конкретный прототип, была длинная дорога.

Несомненно, все это повлияло на позднюю прозу Лема. Когда Лем описывает какой-то механизм, над которым мучается его герой, в этом ощущается конкретика, которой часто не хватает книжкам *science fiction* других авторов. Пилота Пиркса, который кабель радиофона перепутал с обогревательным, «хорошо ещё, что у них была разная резьба, но ошибку он заметил только тогда, когда пот потёк с него в три ручья», мог придумать только писатель, который действительно что-то сам делал, ремонтировал или модифицировал, и с него тоже тёк пот в три ручья от неподходящих друг к другу разъёмов.

У большинства писателей астронавты как-то так легко и просто подсоединяют оборудование, и оно сразу же работает.

На прозу взрослого Лема также повлияла и другая его детская забава – знаменитая «империя документов». Вдохновением для неё были игры, когда ещё неграмотный Сташек бушевал в комнате родителей и разглядывал отцовский диплом и содержимое шкатулки с документами умерших дедушек (предыдущих владельцев каменицы на Браеровской). Были там и банкноты, которые в результате гиперинфляции потеряли всякую ценность.

> «*Какая непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их могущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых панов в овале, в них ещё сохранились и только дремали до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они только вызывали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой*».

Разгадав загадку того, что цифры, печати и водяные знаки иногда имеют власть, а иногда нет, Сташек Лем начал играть в собственноручное изготовление документов. Много гениев фантастики в раннем подростковом возрасте рисуют карты несуществующих стран и генеалогические деревья фиктивных династий. Позже они тянутся к этому во взрослом творчестве, как Толкин. Лем не рисовал карт, он даже не придумывал название для своей Сказочной страны, зато придумал её бюрократию. Он изготовил пёстрые удостоверения, сшитые серебряной проволочкой, выпоротой из школьной нашивки и перфорированной шестернёй из будильника.

> «*Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определённые, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках – различные виды чековых книжек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготовлял паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы, удостоверяющие его личность, в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нём пучину*».

Здесь, в свою очередь, видны начала параюридической фантастики Лема, всех тех рассказов, в которых Трурль побеждает плохую комету, используя «метод дистанционный, архивный, а потому ужасно противный»[20] (то есть засыпая её сообщениями типа: «Ваша задержка, как противоречащая

параграфу 199 постановления от 19.XVII текущего года, представляя собою ментальный эпсод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации»), или в которых парламентарии при использовании «закона Макфлакона – Гламбкина – Рамфорнея – Хмурлинга – Пьяффки – Сноумэна – Фитолиса – Бирмингдрака – Футлея – Каропки – Фалселея – Гроггернера – Майданского» стараются урегулировать юридические последствия действий стиральных машин с искусственным интеллектом. Вначале была детская рефлексия: как же так получается, что иногда медицинские дипломы выдаются под патронатом императора Франца Иосифа, а иногда – президента Речи Посполитой Польши, и кто или что, собственно, принимает это решение (в империи документов этот единственный вопрос оставался открытым – Лем никогда не изготовил окончательного документа, дающего всевластие: даже удостоверения, выдаваемые императором, давали полномочия как максимум взять из сокровищницы конкретное количество «бриллиантов размером с голову» и ничего большего).

Хотя Лем свои воспоминания детства, записанные Фиалковским, начинает с заявления: «Я охотно признаю, что не совсем нормальный», я сказал бы, что из этих описаний выплывает абсолютно нормальная картинка детства сообразительного ребёнка. Конечно, эксцентричного, конечно, плохо воспитанного, но кто должен был его воспитывать, если у родителей просто не было на это времени?

В крохах воспоминаний Лема поражает то, что родители не делали ничего непосредственно созданного для радостной, совместной игры с ребёнком. Лем писал, например, что наряжал ёлку вместе с уже упоминавшейся учительницей французского[21]. Почему не с родителями? Не хотели присоединяться к этому действу из-за еврейского происхождения? Но без их согласия в доме вообще бы не было ёлки (эта традиция всегда была сильно секуляризована). Даже если сделать поправку на то, что тогда по-другому трактовали родительство, чем сейчас, отсутствие воспоминаний про общие игры с родителями выглядит странно, тем более что ничего не указывает на то, что Станислав Лем был нелюбимым ребёнком или заброшенным. В любом случае это вполне объясняет проблему плохого воспитания (а собственно – его отсутствия).

Эти три больших увлечения, доминирующие в «Высоком Замке» – сладости, изобретательство и бюрократия, – не являются чем-то экстраординарным или исключительным. С той лишь разницей, что мальчики, фантазирующие о несуществующих странах, чаще придумывают карты, названия городов или имена

правителей, чем их обязательства выдать предъявителю кучу рубинов, но чем это на самом деле отличается хотя бы от детских мечтаний Люка Бессона (которые он потом использовал для сценариев своих фильмов)?

Остальные детские игры и увлечения уже кажутся нормальными. Лем, мальчиком, любил пускать «блинчики» по воде, заниматься спортом (ездил с мамой на лыжные галицийские курорты), влюблялся в разных представительниц женского пола, в частности в служанку, в прачку, учительницу и таинственную девушку, которую он увидел издалека в Иезуитском парке.

Из нескольких заметок мы можем также додумать, что его боготворили тётки и дяди. И доктор Самюэль Лем, называемый среди родственников «Лёликом»[22], и его жена Сабина имели богатую социальную жизнь. Может, поэтому им не хватало времени на воспитание сына?

И тут мы доходим до главной загадки «Высокого Замка», или до остальной семьи Лема. Даже когда мы узнаем имена его тёток и дядь (не всегда так происходит), их описания ужасно неточные. Больше всего мы узнаём про «тётку с улицы Ягеллонской», сестру Самюэля Лема. Это Берта Хешелес из дома Лехм. Она не настолько полонизировалась, как её брат; её сын Генрик Хешелес был умеренным сионистом, в отличие от тех евреев, которые ассимилировались в Польше, но пропагандировал идеи сохранения еврейской обособленности.

Другой родственник, младший брат матери, также появляется в «Высоком Замке» безымянным, но описан с большой сентиментальностью и симпатией. Будучи богатым врачом, он часто финансировал Сташеку покупки запчастей и механизмов для его экспериментов. В интервью Фиалковскому Лем говорил, что дядя погиб в массовом убийстве львовских профессоров, «хотя он был обычным врачом». С большой вероятностью можно установить его личность: это доктор Марек Вольнер[23]. Лем никогда так и не узнал, что современные историки идентифицировали его дядю как жертву не убийства профессоров, а «петлюровского погрома» (25–27 июля 1941)[24], который не следует путать с «убийством заключённых» (1–2 июля 1941), когда погиб Генрик Хешелес.

Почти все «тёти и дяди» из «Высокого Замка» погибли во Львове или в концлагере в Белжеце. Воспоминание про их судьбу причиняло Лему очевидную и понятную боль. Кроме того, о большинстве из них он не мог говорить открытым текстом – Гемар, его двоюродный брат, был запретной темой, как и львовские погромы, да и сам Львов был темой, которую цензура ПНР неохотно пропускала.

Этот раздел мы закончим образом человека, который ещё даже не думает, что станет знаменитым писателем или будет изучать медицину. Лето 1939 года. Сташек Лем с надеждой ожидает прихода взрослой жизни. Он сдал экзамены и уверен, что будет учиться в Львовской Политехнике, потому что машины являются его жизненным увлечением.

Правда, с 1938 года учебное заведение ограничивает количество студентов еврейского происхождения, но Лем надеялся, что в качестве исключительно способного абитуриента справится со всеми трудностями.

Только что полученные водительские права в зелёной обложке говорят о том, что владелец этого документа имеет права на вождение только как любитель. Этого достаточно, ведь он никогда не хотел быть профессиональным водителем. Отец профинансировал его курсы и, может быть, когда-то купит ему автомобиль. Правда, здоровье отца начало сдавать, уже пару лет его донимает ишемическая болезнь сердца (стенокардия)[25], он уже не может работать как раньше, но зато инвестиции с недвижимости приносят семье плоды, и Лемы могут жить только с аренды.

Сташек мечтает о собственном автомобиле. Старший на двадцать лет брат Гемар иногда приезжает из Варшавы во Львов на американском лимузине марки Nash, раньше он участвовал в гонках по львовским улицам, и что с того, что он занял предпоследнее место, зато сидел за рулём настоящего Bugatti!

Летом 1939 года почти все говорили о войне, но кого во Львове это волновало. Немцы далеко, пока сюда доберутся, наши союзники откроют второй фронт за Рейном. Лем прошёл военную подготовку, поляки сильные, сплочённые и готовые к войне, а кроме этого безопасность гарантирована международными пактами.

Действительно, у будущего инженера Лема не было повода для опасений в этом бетонном, нерушимом, богатом и спокойном городе. Он часто гуляет по известным львовским торговым пассажам. По пути к пассажу Хаусмана его манит интригующая реклама: «*Счётная печатная машинка «Burroughs» – складывает и отнимает автоматически*!» Рекламу можно прочитать и сегодня, хотя сейчас пассаж носит имя «Кривой Липы» в честь липы, которая выросла посредине. К слову, совпадение в имени не является случайным – известный писатель Уильям С. Берроуз II[26] был сыном изобретателя и конструктора этих машинок, Уильяма С. Берроуза I, и, собственно, семейное состояние позволяло ему вести эксцентричный образ жизни.

Интересующийся техникой Сташек не мог не обратить внимание на эту рекламу. А если обратил, то доморощенный изобретатель машин, зарисованных в «тетради идей», не мог не задуматься над секретами этого изобретения. Самосчётная машинка, которая прибавляет и отнимает автоматически! Это так, словно она сама думает!

Кто знает, может, в сенях пассажа Хаусмана в воображении Станислава Лема появился первый зародыш сюжета *science fiction*, хотя он ещё даже не знал, что существует такой вид литературы.

# II
# Среди мёртвых

В предыдущем разделе я описывал, как тяжело мне было понять мечты и надежды доктора Самюэля Лема сто лет назад. Страх и страдания, которые были уделом семьи Лема во время трёх наступающих по очереди оккупаций Львова, для меня стали ещё более непонятными.

Я принадлежу к тому поколению поляков, которые пережили позитивные исторические сюрпризы. Нас воспитывали в ожидании очередной войны или восстания, которые (постучим по дереву) не наступили. Вместо этого мы могли жить так, как хотел жить Самюэль Лем, – работать, складывать копейку к копейке и баловать детей сладостями и игрушками. Мы говорим «кошмар», когда в отеле теряют бронь. Мы говорим «испытание», когда затягиваются формальности в госучреждениях. Но мне не хватает понятийного аппарата, чтобы описать тот ужас, что пережила семья Лема. Однако за это описание я всё же берусь, поощрённый словами самого Лема, который утверждал, что «способностей человеческого воображения абсолютно недостаточно, чтобы понять, что это значит, когда в газовые камеры загоняют сотни тысяч, миллионы людей, а потом крюками вытаскивают их тела и сжигают в крематориях»[27].

В семье Станислава Лема, кроме его родителей, выжил только Мариан Гемар, который в сентябре 1939 года сделал то, что мой презентизм подсказывал бы как единственно верное решение: сел в автомобиль и погнал по шоссе в Залещики. Самюэль Лем с семьёй принял решение остаться в городе. Причины легко понять.

Ему было шестьдесят, и он уже болел. В 1936 году врач, который выявил у него стенокардию, порекомендовал ему избегать стресса и перенапряжения, и даже не наклоняться, чтобы завязать ботинки[28]. Путешествие в таком состоянии может закончиться для него трагически, даже если это будут комфортные условия, а не мучения военных беженцев в колоннах, что составляли лёгкую цель для немецких самолётов.

Какое-то влияние на решение остаться могло оказать и то, что Самюэль Лем был австрийским офицером. Во время Первой мировой войны он служил в ранге имперско-королевского обер-лейтенанта, это аналог поручика в медицинском корпусе. Возможно, как и большинство поляков, в сентябре 1939 года он не боялся немцев так сильно, как должен был: ещё двадцать пять

лет назад в немецкой армии он видел армию союзника. Немецкие солдаты отдавали бы ему честь как старшему по рангу. А от немецких офицеров он ожидал, что они будут джентльменами, как и он.

Удивление жестокости этих джентльменов можно увидеть во многих мемуарах того времени. Ванда Оссовская[29], медсестра-волонтёрка, описывает, например, изумление, когда немецкие лётчики игнорировали обозначенные знаками Красного Креста госпитали, согласно Женевской конвенции, которую принципиально соблюдали во время Первой мировой. До персонала госпиталя с опозданием дошла страшная истина, что те знаки не только не охраняют от немецкой бомбардировки, а, наоборот, являются целью для пилотов.

Первые бомбы упали на Львов 1 сентября в одиннадцать тридцать. В первый же день погибло семьдесят три человека, сто получили ранения[30]. Станислав Лем описывает Фиалковскому, что видел фургон, вывозящий трупы:

> «*Я стоял на балконе на Браеровской, парень после школы, и видел, как по нашей улице проехал фургон с наваленными горой трупами. Тогда я в первый раз видел трупы. Помню дрожащие от встряски фургона тела, бёдра женщин, убитых немецкой бомбой*».

Балкон на Браеровской быстро перестал быть безопасным убежищем, с которого молодой Лем мог наблюдать за террором войны. Он стал точкой обороны Львова. Маленькая топографическая заметка: Браеровская является переулком, что отходит от улицы Городоцкой[31], широкой артерии, ведущей в направлении Городка. Нумерация начиналась от Городоцкой, так что каменица Лема под номером 4 была первым зданием за углом. Из этого следует – балкон каменицы хорошее стратегическое место для пулемёта. Потому защитники Львова в начале войны осадили каменицу Лемов. Помещение вместе с балконом стало укреплённой огневой точкой. «*Я посидел немного с теми солдатами внизу, держа ручку сирены ПВО, а они давали нам зерновой кофе с сахаром*», – вспоминал Лем в разговоре с Фиалковским.

Вскоре это положение оказалось выгодным, потому что немцы вторглись во Львов именно по улице Городоцкой. 12 сентября механизированная группа Шёрнера, отделившаяся от первой горно-егерской дивизии вермахта, обошла польские укрепления и атаковала город с тыла. Её удалось оттеснить после жестоких битв. Лем о них не вспоминает. Возможно, тогда он уже не жил на Браеровской, только на Сикстуской (сейчас улица

Петра Дорошенко), у дяди Вольнера, к которому вся семья временно переселилась.

В это время 8 сентября из львовских кранов перестала бежать вода[32]. 14 сентября прекратилась подача газа, а 20 сентября погас свет[33]. Для Самюэля Лема это была уже третья осада в его жизни.

Если верить тому, что Станислав Лем рассказывал Бересю и Фиалковскому, тогда он ещё не чувствовал никакой непосредственной угрозы. Он больше беспокоился о Польше, чем о собственной безопасности, потому что крах государственных структур сопровождался волной грабежей и убийств. «*Отец тут же повёл меня в магазин на площади Смолки, который был уже почти пуст и разграблен, но его владелец вытащил из какого-то закутка плащ в мелкую клетку. Это было очень мудрое предприятие, потому что после ничего приличного купить уже было невозможно*» – так Лем описал Бересю последние покупки в польском магазине.

18 сентября на подступах ко Львову появились первые советские войска. Население и защитники не знали, как это воспринимать. Некоторые думали, что Советский Союз вторгся, чтобы помочь Польше в битве с Германией – пакт Молотова – Риббентропа, согласно которому оба сумасшедших диктатора поделили между собой Восточную Европу от Румынии до Финляндии, был тогда ещё тайной. К удивлению польских защитников, 20 сентября немцы начали сдавать свои позиции русским, которые имели значительный перевес. Немцы атаковали Львов силами одной горной дивизии, русские ввели на эту территорию Восточную группу войск, что включала три дивизии кавалерии, две пехоты и три танковые бригады вдобавок. Дальнейшая оборона города не имела смысла.

Львов капитулировал 22 сентября в пользу русских – не немцев, что имело драматические последствия для офицеров и солдат, которые попали в плен. Формально это не называлось пленом, только интернированием, потому что СССР и Польша не находились в состоянии войны. Русские обещали полякам, которые сдавались, что после капитуляции отпустят их, и в определённом смысле их, конечно же, отпустили, хотя потом попытались всех поймать. Те, кто не убежал сразу, когда это было ещё возможным, были убиты во время катынского расстрела.

Восемнадцатилетний Станислав Лем наблюдал за капитуляцией из квартиры дяди на Сикстуской. Он описывал это Фиалковскому как «своё самое ужасное переживание», что является удивительно сильным словом, если сравнить с тем, что он уже пережил в течение первых трёх недель войны (и что его

ещё ожидало). Ведь в этой сцене не было ничего драматического. Русские, которые в воспоминаниях Лема имели «монгольские лица», просто разоружили польских солдат и сказали им «пашли вон»[34]. Те покинули Цитадель (к которой из центра города вела улица Сикстуская) нестройной колонной. Он вспоминал:

> «*Они приказали нашим снять портупею, оставить всё, оружие и коней, и уходить. Это было страшно: видеть, как Польша пала, видеть это в реальности. Это страшней, чем проигранная битва, потому что всё происходило в какой-то гробовой тишине: все стояли молча и плакали, я тоже в арке под двадцать девятым домом*».

Так началась первая из трёх оккупаций в жизни Станислава Лема. Он описывал это как смесь ужаса и гротеска. Советские оккупанты были культурно ниже львовских жителей. Первый раз в жизни они видели капиталистические магазины, элегантные рестораны и даже ванные с проточной водой, но коммунистическая идеология не позволила им в этом признаться.

Популярным львовским развлечением в то время было втягивание русских шутки ради в разговоры о том, что в Советском Союзе есть всё – и разумеется, лучше, больше и прекраснее, чем во Львове. Лем вспоминал это так: «А ископаемая шерсть у вас есть?», на что каждый русский отвечал автоматически: «Конечно, есть».

Ванда Оссовская[35] и Каролина Лянцкоронская[36] эту же шутку описывали так: «А у вас есть Копенгаген?» – «Да, конечно, у нас есть много копенгагена». Барбара Менкарская-Козловская[37], в свою очередь, цитирует другой диалог, в котором после толковых вопросов типа: «А лимоны у вас есть?», львовяне переходили к вопросам: «А холера у вас есть?», смеясь над русскими, которые механически кивали и на всё отвечали: «Да, есть».

Русские накинулись на львовские магазины. Офицеры старались вести себя культурно и даже платить, но совершались и регулярные грабежи. Общим было удивление оккупантов товарами, которые они впервые в жизни видели и не знали, для чего они нужны.

Лем с удовольствием вспоминал, как русские пытались есть косметику или нафталиновые шарики, потому что те выглядели аппетитно и иногда даже хорошо пахли, поэтому они принимали их за сладости. В других интервью я прочитал о первом контакте красноармейцев с детскими погремушками, зубными щётками и сантехникой. Львовян смешили жены русских командиров,

щеголявшие по городу в шёлковых ночных сорочках, которые они принимали за вечерние платья.

Русские также интересовались врачами, что оказалось очень важным для семьи Лема. Медицина в СССР была, как и всё, на низком уровне. Приезжающие во Львов чиновники, военные, убэшники[38] хотели лечиться сами и лечить своих родных у польских врачей, потому те оказались в привилегированном положении. Поляков часто выселяли из дорогих квартир, чтобы освободить помещения для высокопоставленных чиновников, но «жилплощадь врачей была неприкосновенна», вспоминает Лянцкоронская. Как максимум к ним могли кого-то доквартировать, но на вполне цивилизованных условиях.

Так случилось и с Лемом. К ним подселили энкавэдэшника по фамилии Смирнов, который вёл себя со своими хозяевами не как оккупант. Когда он появился на Браеровской впервые, Сабина Лем выставила его за двери. Вместо того чтобы ворваться в квартиру силой, Смирнов просто вежливо подождал, пока доктор Самюэль Лем вернулся с работы и объяснил жене это недоразумение.

До конца сентября новые квартиранты, такие как Смирнов, появились в тысяча четырёх квартирах, переданных в распоряжение Красной армии и НКВД[39].

Обычным делом было просто выбрасывание на улицу бывших владельцев квартир, тем более что те, у кого были дорогие жилища, по сути считались «классовыми врагами».

Во второй половине декабря дошло до массовой национализации львовских каменицы.

Вместе с недвижимостью у жителей забирали также большое и малое движимое имущество, от бижутерии до фортепиано. Жертвы конфискаций взывали к советской конституции, которая защищала такие формы собственности. Им отвечали, что конституция защищает только на тех территориях, на которых царит порядок, а во Львове его ещё не навели, так что нет и конституции[40].

Лемам очень повезло со «своим» энкавэдэшником, который довольствовался лучшей комнатой на Браеровской – гостиной, в которой не так давно маленький Сташек строил манекены из отцовской одежды и конструировал экспериментальные машины. Когда Смирнов убежал из Львова перед наступлением немецких войск, семья зашла в комнату и нашла там много страниц со стихами, написанными от руки, которые Лем не успел прочитать. Тогда у него были другие дела.

Первую советскую оккупацию семья Лемов перенесла довольно безболезненно, вероятно, потому, что Самюэль Лем много лет назад выбрал карьеру врача, отказавшись от

литературных увлечений. Возможно, он так поступил из-за родителей, так, по крайней мере, вспоминал Станислав Лем. Если это правда, это повторилось и в следующем поколении.

Станислав Лем мечтал учиться во Львовской Политехнике, и война этого не изменила. Только советская оккупация сделала его планы нереальными – из-за его буржуазного происхождения его не приняли в университет. Отец использовал свои связи на факультете медицинского университета Яна Казимира, чтобы зачислить сына в ряды студентов первого курса.

Положение львовских учебных заведений под советской оккупацией было настолько сложным, что, с одной стороны, новые власти стремились к быстрой советизации и украинизации университета и политехники; с другой – не хотели упустить шанс подготовки врачей и инженеров в учебных заведениях, которые ещё какое-то время назад считались лучшими в мире.

Потому на многих гуманитарных направлениях были проведены «грязные чистки» в сталинском стиле, теологический факультет просто ликвидировали, но политехника и медицинский до конца советской оккупации оставались в польских руках. Они даже были профинансированы и доукомплектованы. А также был сделан ремонт, который в независимой Польше откладывался бесконечно долго из-за нехватки средств[41].

Однако это не означало, что точные науки полностью избежали террора советизации. Он был ощутимым, хотя немного мягче, если такое сравнение уместно. Были арестованы три профессора (Эдвард Геслер, Станислав Фризе и Роман Ренцкий, этот третий был убит гитлеровцами в бойне львовских профессоров, другие двое пережили войну и создавали науку в ПНР). На факультете права университета Яна Кохановского в Кельцах до апреля 1940 года были арестованы семь профессоров и четыре ассистента[42].

Чтобы поощрить советских студентов учиться именно во Львове, им платили довольно высокие стипендии и предоставляли бесплатное обучение (во что сейчас трудно поверить, но учёба была бесплатной во Второй Речи Посполитой и платной в СССР)[43]. Лем пишет Фиалковскому, что «все студенты первого курса получали стипендию в размере 150 рублей». Историк Гжегож Грицюк пишет, что не все, а только 75 % и это было 130 рублей[44]. Так или иначе, Лем на первую стипендию купил себе «трубку Гейслера» (примитивный неон, светящийся разными цветами), это ясно показывает, что пока ещё семья Лема не ощущала нехватки средств.

Про фиаско советизации в университетах точных наук

свидетельствует статистика кадров – под конец русской оккупации в медицинском университете работали тридцать польских профессоров и только пять русских. Одним из них был преподаватель физиологии Воробьёв, с которым Лем будучи студентом сотрудничал как ассистент-волонтёр.

Лем вспоминал Фиалковскому про студентов из своего курса как про «дикую смесь» поляков, украинцев и приезжих из российской глубинки. В его воспоминаниях упоминаются «некий Синельников, обвешанный значками типа «Готов к труду и обороне», и «подружка Кауфман», которая «жидлячила» (то есть говорила на практически мёртвом сегодня языке – еврейский жаргон польского языка, из которого сохранились только некоторые шутливые выражения)[45].

Статистически выглядело так, что на первом курсе медицины было триста сорок студентов (а не четыреста, как Лем сказал Фиалковскому). 48 % составляли украинцы, 32 % – евреи, 16 % – поляки, 4 % – остальные, прежде всего «граждане Советского Союза»[46]. Я не могу сказать с полной уверенностью, к какой группе причислен был Станислав Лем, но, скорее всего, не к полякам.

Во многих разных архивах Лем и его семья фигурировали как «евреи» или «еврейского происхождения». В гимназии предмет «религия» был обязательным и Лем изучал заповеди Моисея[47], что было достаточным аргументом, чтобы признать его евреем – с точки зрения и нюрнбергского закона, и национальной политики СССР. Новая власть благосклонно относилась к зачислению студентов непольского происхождения, потому хорошо было предъявить любую бумагу, подтверждающую еврейское или украинское происхождение, – процент поляков в этих документах занижен, хотя всё тут зависит от определения «настоящего поляка».

Это определение – это тема для другой книжки, написанной определённо другим автором, но, глядя на это с сегодняшней точки зрения, я сказал бы, что большинство тех людей были всё ещё гражданами Второй Речи Посполитой. Навязанное им оккупантами гражданство СССР не имело законной силы, аналогично как при обоих оккупациях произвольное разделение польских граждан на «поляков», «евреев» и «украинцев».

Я не собираюсь идеализировать Вторую Речь Посполитую, в ней также делили людей согласно национальным критериям. Во львовских учебных заведениях уже с 1935 года для еврейских студентов вступала в силу система «гетто за партами». Тем не менее во Второй Речи Посполитой существовали пути успешной карьеры для национальных меньшинств. Хотя бы взять карьеру

Владимира Питулея, который перед войной был начальником охраны Пилсудского и комиссаром государственной полиции, а в оккупированном немцами Львове он стал начальником коллаборационной украинской вспомогательной полиции, вызывающей ужас среди поляков.

По сегодняшним критериям они все были поляками, что подтверждал паспорт с орлом в короне, независимо от того, какую национальность их заставили выбрать оккупанты в 1939 году. Поэтому я буду в этом разделе использовать такие определения, как «евреи», «поляки» или «украинцы», помня, что все они действительно были гражданами Речи Посполитой Польши, которые ещё летом 1939 года, отправляясь на променад к львовской опере, обменивались любезными поклонами. Разделение их согласно национальным квотам и присуждение этим группам своевольных привилегий – «этих не примем в университет, а тем дадим квартиры» – началось во время советской оккупации и только усилилось во время немецкой. Когда сегодня мы наблюдаем дискуссию типа «евреи против поляков против украинцев», это лишь печальный результат политики двух оккупантов.

Лем не хотел рассказывать про свои еврейские корни, потому его воспоминания о том периоде полны пробелов и увёрток. Во втором издании интервью с Бересем появляется характерный фрагмент, в котором на вопрос, был ли он свидетелем творящегося вокруг истребления польского элемента, ответ Лема полон отступлений и рассказов о советских сладостях (невкусных) и циркачах (совсем неплохих). На это нетерпеливый Бересь восклицает: «Ради бога, расскажите о советской оккупации, а не о выступлениях циркачей!», на что получает в ответ очередное отступление. В первом издании книжки вся эта тема просто отсутствовала[48].

«Истребление» – это не преувеличение. Представителей польской элиты НКВД начал арестовывать сразу после вторжения в город. В ночь с 9 на 10 декабря 1939 года началась первая волна массовых арестов. Было задержано несколько тысяч человек, среди них известные виноделы Стефан и Адам Бачевские, довоенные судьи и прокуроры, а также довоенные премьер-министры (Александр Прыстор и Леон Козловский). В ночь с 23 на 24 января 1940 года провели волну арестов даже среди левых литераторов (среди них – Владислав Броневский), потому что, по мнению Сталина, левые независимые от НКВД хуже, чем правые. Вина всех тех людей состояла исключительно в том, что они принадлежали к польской элите.

В воспоминаниях Станислава Лема эта тема странным

образом отсутствует. Я не могу сказать, что ее нет вообще. Мы, например, узнаём, что, когда семья Лемов видела, что Смирнов готовится к очередной ночной вылазке и уходит из дома, они бежали предостеречь близких. Они помогали им прятаться в библиотеке на Браеровской. Только это всё Лем представляет так, словно речь идёт о какой-то игре, а не о непосредственной угрозе жизни (а много поляков, арестованных ночью НКВД, просто исчезали без следа, и даже сейчас мы не всегда знаем точную дату и место их смерти).

Могу только догадываться, что это был какой-то психологический механизм защиты, подобный тому, которым Лем нейтрализовал воспоминания со времён немецкой оккупации. Речь не в том, что он не хотел вспоминать, потому что ничего не помнил, дело в том, что он слишком хорошо все это помнил. Но это только мои домыслы, базирующиеся на хрупких предпосылках – таких, как удивление от факта, что ужас, присутствующий в других львовских воспоминаниях, практически не встречается в рассказах Лема. В равной степени этот парадокс можно объяснить и тем, что изучать медицину довольно тяжело, и к тому же мы имеем дело с амбициозным студентом, который беспокоился не только о хороших оценках, но и о том, чтобы они свидетельствовали о его усердно добытых знаниях.

Показательным является анекдот, который он рассказывал Фиалковскому, про то, как нашлись его документы с двух курсов обучения. Немцы, после взятия города, ликвидировали университет и все бумаги приказали выкинуть на мусорку. Их нашёл «архивариус бернардинцев», который «погрузил их на тачку и перепрятал». Располагая всеми печатями и бланками, он помогал, при случае, студентам «сдать» какой-то дополнительный предмет или даже весь год обучения. Лем отказался от его услуг, а архивариус «смотрел на него как на дурака».

Это всё происходило, когда вокруг Лема уже гибли люди и разворачивались другие драмы. Однако даже в такое время он не забывает про честь польского студента. Неужели учёба захватила его настолько сильно, что он не думал ни про что другое, кроме охоты за сладостями (не было уже халвы, довольствовались популярными в СССР сушёными абрикосами, называемыми урюком) и редкими походами в кино или цирк?

Бересю он рассказывал, что непосредственную угрозу ощутил только раз. Будучи уже студентом, он продолжал своё хобби со времён гимназии – и дальше проектировал машины и танки и фотографировал эти модели. Вопреки запрету отца он отнёс эти фотографии на проявку в салон, и когда вернулся за снимками, его уже ждал кто-то из НКВД, но, к счастью, этот кто-то позволил

ему объяснить, что это только невинное детское увлечение. Худшей ситуацией в тогдашнем Львове были беженцы. В 1939 году во Львове находилось несколько десятков тысяч беженцев, которые чаще всего прятались от немцев (но иногда от собственных соседей из охваченной анархией провинции). Часть из них хотела уехать из Львова в Генерал-губернаторство, так как у них там были родственники, а немцев они боялись меньше, чем русских; часть наоборот: Гитлера боялись больше Сталина. Причины могли быть самыми разными: от еврейского происхождения до тоски по близким.

Беженцам негде было жить и не на что. Иногда их принимали польские семьи, подкармливали на так называемых народных кухнях, вводимых польским Комитетом Социальной Помощи. Однако весной 1940 года оккупант окончательно разрешил проблемы беженцев и предложил им специальные советские паспорта. С тех пор беженцами считали тех, у кого не было такого паспорта – или они сами отказывались его получать (например, из-за патриотических взглядов или в надежде уехать в Генерал-губернаторство), или чиновники отказывались им его выдавать (хотя бы по причине довоенной политической деятельности). Беженцем в тогдашнем значении был тот, кого так классифицировала советская власть. В середине июня 1940 года началась их массовая ссылка, которая проходила очень драматично, даже доходило до самоубийств[49].

Непосредственно Лема это не коснулось. Во время первой оккупации Львова ему удалось сохранить привычки молодого человека из свободной Польши – его наибольшим увлечением так и оставалось конструирование экспериментальных машин. Вторая, немецкая, оккупация города всё драматически изменит. С первого дня непосредственная угроза жизни станет для Лема ежедневным переживанием.

Немцы атаковали Советский Союз внезапно 22 июня 1941 года. Первые бомбы падали на Львов перед рассветом в 3:25. В тот день погибло около трехсот человек, в том числе многие в торговом пассаже Миколяша[50], про который Лем пишет в «Высоком Замке». Из описанных Лемом мест это не уцелело – руины пассажа до сегодняшнего дня так до конца и не расчистили. Послевоенные власти построили на этом месте ужасное здание, но оно не заполнило всё пространство, которое занимал старый пассаж.

Остался не то странный дворик, не то развалины, в которых без труда узнаются следы фундамента довоенных магазинчиков.

Это всё находилось в нескольких минутах ходьбы от квартиры Лемов. Но более страшные сцены разыгрывались ещё

ближе. С балкона на улице Браеровской был виден кусок мрачного, серого здания с замурованными окнами. Это был старый женский монастырь Св. Бриггиты, с конца XVIII века он служил тюрьмой (как и сегодня).

Львов лежал в каких-то ста километрах от границы, обозначенной согласно пакту Молотова – Риббентропа. Советская власть после немецкой атаки впала в панику. Больше всего запаниковали представители силовых ведомств, которые лучше всего знали о состоянии готовности оборонительных военных сил СССР, ожидая нападения врага в любую минуту.

Началась поспешная эвакуация, ужаснейшим элементом которой стала ликвидация львовских тюрем. Сначала план был таким, что все невыполненные смертельные приговоры приводились в исполнение немедленно, а остальных заключённых вывозили в лагеря в глубь страны. В первый день войны было убито около сотни заключённых, а тысячи были вывезены. В то же время в самих Бригидках было 3688 заключённых[51].

Во второй день войны, 23 июня 1941 года, начальник львовского НКВД принимает решение оставить город. Заключённых было решено закрыть в камерах. Ночью с 23 на 24 июня заключённые в Бригидках поняли, что за ними никто не следит, и попытались выбраться наружу. Некоторым удалось выбить двери и выйти во двор тюрьмы, но только единицам удалось выйти за ворота. Побег пресёк патрулирующий улицы военный отряд, который автоматными очередями загнал заключённых назад в камеры. Погибло несколько десятков людей.

В тот же день НКВД вернулся в тюрьмы, чтобы уничтожить оставшихся заключённых. В Бригидках часть «криминальных» были выпущены на свободу, потому что в распоряжении говорилось, что уничтожить нужно только «политических» (которые составляли большинство). В других тюрьмах были убиты все без разбора, часто просто из-за взрыва гранаты в камерах. Даже там, где разделение происходило, из-за нехватки времени оно было поверхностным, не проводилось никакого учёта, потому до сих пор неизвестно, сколько людей погибло во львовских тюрьмах за эти несколько страшных дней.

В Бригидках экзекуции длились три дня, с 24 по 27 июня. В ночь с 27-го на 28-е НКВД покинул тюрьму навсегда. Остались там только несколько сотен истощённых заключённых (которые несколько дней не получали ни еды, ни питья, не убирались их ведра, так называемые параши) и несколько тысяч трупов в подвалах.

Часть узников убежала ещё в субботу 28 июня. В ночь с 28-го

на 29-е здание сгорело. Кто поджёг, неизвестно. Отступающие русские? Обстреливающие город немцы? Возможно, это сделали сами узники, чтобы тюремные архивы не попали в руки следующих оккупантов[52].

Первая немецкая военная часть вступила во Львов уже 30 июня. Это был сформированный из украинцев специальный батальон Нахтигаль. Его связь с айнзатцгруппой, специальным подразделением СС и полиции, созданным с целью окончательного решения еврейской проблемы на захваченных территориях, была после войны предметом горячих споров, разбирательство которых выходит за рамки этой книги и компетенции её автора. Точно известно, что под командованием бригадефюрера Отто Раша, айнзатцгруппа двинулась во Львов из Глейвиц (ныне Гливице) через Краков на следующий день после нападения Германии на СССР, 23 июня 1941 года, и это она прежде всего ответственна за организацию погромов – даже если приказы Раша выполнял кто-то другой.

Как немцы из айнзатцгруппы должны были отличать евреев от неевреев? Немцы сами этим не занимались, разве что в крайних случаях. Наиболее охотно – и не только на Украине – их заменяли местные жители, подстрекаемые пропагандистскими лозунгами, что евреи ответственны за коммунистические злодеяния. Такие, как в Бригидках.

Жители Львова сначала не могли поверить в зверства НКВД. Сталинский режим действовал тайно, скрывая свою жестокую природу. 30 июня не все ещё были готовы к страшной правде, что во львовских тюрьмах разлагаются трупы тысяч людей. Некоторые – уже неделю в летней жаре, а к тому же вблизи пожара. Прежде чем львовяне воочию убедились в размерах трагедии, их просветила вонь разлагающихся трупов. Немцы открыли тюрьмы и заявили, что виновны в этом злодеянии – как и во всех других, сделанных коммунистами, – евреи. И они должны быть за это наказаны. Начался погром.

Это обвинение было абсурдным. Поскольку среди заключённых немалую часть составляли евреи, хотя бы родственник Лема, Генрик Хешелес, главный редактор популярной довоенной газеты «Chwila». В Бригидках НКВД пытало его и выпустило за несколько месяцев до немецкой атаки. После открытия тюрем он стал жертвой антисемитского погрома. Возможно, в последние дни жизни он увидел среди трупов, вынесенных из подвалов Бригидок, лицо своего коллеги из редакции «Chwila», Леона Вайнштока[53].

Погромы руководствуются своей логикой преступного абсурда, этот погром не был исключением. Во Львове

организовали его под немецким руководством украинские боевики, сторонники Андрия Мельника и Степана Бандеры, а также обычные мерзавцы, в том числе польского происхождения.

В статьях о тех событиях сильней всего пугают меня дети – шестилетние мальчики, которые охотно присоединились к погрому, чтобы по мере своих скромных возможностей способствовать построению немецко-украинского союза, «вырывая волосы из женских голов и стариковских бород». Именно это наблюдала ненамного старше этих мальчиков дочь Генрика Хешелеса Янина[54] уже после того, как её отец на прощание послал ей последний воздушный поцелуй, идя на верную смерть.

Украинские боевики хватали евреев просто на улице, под предлогом выносить сгоревшие и разложившиеся трупы из подвалов тюрем. В реальности для того, чтобы избивать и убивать особ, идентифицированных как евреи.

Как во время массового убийства бывает, идентификация была далека от точности. Янина Хешелес описывает, например, подругу семьи «пани Нюню Блауштайн», которая с самого начала погрома умоляла Генрика не выходить из дома и поведала, что сама чудом избежала смерти, обманув схвативших её украинцев, сказав, что возвращается из католического костёла. Обман прозвучал правдоподобно, потому что 1 июля, когда начался погром, было воскресенье.

Профессор Тадеуш Томашевский встретил в то же время на улице Сикстуской знакомую, «Маню Сусуловскую, вне себя от страха». Она шла по улице с двумя своими знакомыми. Их схватили какие-то гражданские – Сусуловская выдала себя за арийку, и ее отпустили, а тех двоих забрали «неизвестно куда» (из дальнейшего содержания книжки ясно, что одну из них потом нашли, сильно избитую; а о второй больше не упоминалось)[55].

Главным оружием боевиков были деревянные и металлические палки, которыми они избивали свои жертвы до смерти. Стены тюрьмы были забрызганы кровью и мозгами аж до второго этажа. Много свидетелей видело это, и что самое невероятное, немцы фиксировали это на многочисленных фотографиях и в фильмах[56].

Станислав Лем находился среди жертв погрома. К счастью, не среди смертников, он был в группе евреев, которых сначала отправили выносить трупы, а потом неожиданно отпустили по немецкому приказу, который и остановил погром. О том, что Лем тогда пережил, он не рассказывал даже ближайшим родственникам, но оставил шокирующее описание в повести «Глас Господа». Один из героев, математик Раппопорт, который после войны эмигрировал в США, в один момент довольно

неожиданно – необоснованно по сюжету – делится с рассказчиком романа, профессором Хогартом, своими военными воспоминаниями.

«Глас Господа» – это история о шифрах, в которой Лем закодировал очень много автобиографических данных. Вероятно, это самая автобиографическая повесть автора из всех существующих.

Лем не хотел говорить, что был жертвой погрома, потому что это привело бы к разговорам про его еврейские корни, про которые он никогда не говорил публично. Впрочем, и сам погром в 1941 году в ПНР был запретной темой. Даже сейчас разговор об этом встречает резкий отпор, как, например, поляки реагируют на Едвабне или страны Балтики отказываются отвечать за коллаборацию с немцами. Лем про львовские погромы не мог писать открытым текстом, да и не хотел. Но давайте посмотрим на его шифр.

Раппопорт рассказывает Хогарту, как ждал смерти во время «одной массовой экзекуции – кажется, в 1942 году – в его родном городе»[57]:

> *«Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомблённой тюрьмы, одно крыло которой ещё горело. […]*
>
> *Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, – кричал он это по-еврейски (на идиш), видимо, не зная немецкого языка. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации; и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания […]. Он решил уверовать в перевоплощение хотя бы на пятнадцать-двадцать минут – этого ему бы хватило. Но уверовать отвлечённо, абстрактно не получалось никак, и тогда он выбрал среди офицеров, стоящих поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом. […]*
>
> *Сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, он перевоплотится в этого немца. […]*
>
> *Тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки, выстрелы тотчас смолкли. Раппопорт так и не узнал, что произошло. Быть может, немцы собирались заснять груду трупов для своей кинохроники, изображающей*

*бесчинства противника (дело происходило в ближнем тылу Восточного фронта). […]*

*Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Потом офицер с платочком потребовал одного добровольца. И вдруг Раппопорт понял, что должен выйти вперёд. […]*

*Без сложных силлогизмов [он] мог понять: если никто не вызовется – расстреляют всех, так что вызвавшийся, собственно, ничем не рискует. […]*

*Уже смеркалось, когда открыли огромные ворота и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечернего холода, высыпали на пустынную улицу.*

*Сперва они не смели убегать, – но немцы больше ими не интересовались. Раппопорт не знал почему; он не пытался анализировать действия немцев; те вели себя словно рок, чьи прихоти толковать бесполезно».*

Написав «кажется, в 1942 году», Лем отодвинул непосредственную ассоциацию с погромом в 1941 году. Теперь мы можем себе представить профессора Раппопорта как (к счастью, несостоявшуюся) жертву уличных облав, которых было много на территориях Генерал-губернаторства или на оккупированных территориях СССР. Но чтобы совсем не соврать, повествователь добавляет это «кажется».

«Кажется», а не приблизительно, или около того, или, может, в 1941-м. Хогарт, который рассказывает нам историю Раппопорта, с перспективы своей относительно безопасной жизни в Америке не обязан вникать в наши восточно-европейские нюансы. Для него разница между 1941 или 1942 годами это как разница между годами выхода диснеевского «Дамбо» и «Бемби».

Дальше: после первого прочтения нам кажется, что всю экзекуцию выполняли исключительно немцы. Я был в этом убеждён, читая «Глас Господа» впервые ещё ребёнком, и это убеждение сопровождало меня и во время чтения других произведений автора. Лишь когда жизнь Лема стала меня интересовать не меньше, чем его творчество, я обратил внимание на интересную закономерность, использование характерных глагольных форм в этом фрагменте.

Присмотримся ещё раз к ключевым фразам, описывающим облаву и экзекуции: «схватили на улице», «расстреливали группами», «открыли большие ворота». Кто схватил? Кто расстреливал? Кто открыл?

Лем, естественно, не мог написать, что это сделали украинцы. Но также он не написал, что это сделали немцы. То,

что это преступление совершали немцы, додумывает себе уже читатель, обманутый мастерской игрой писателя, ловко жонглирующего глагольными формами, чтобы и не обмануть, и много правды не написать.

Немцы во время всех этих погромов, естественно, присутствовали, но – как это Лем описывает – «стоящие поодаль», потому что всё это была безжалостная церемония, которую местное население давало в их честь, в надежде (впрочем, зря) на благосклонность нового оккупанта. Везде, где немцам удавалось направить события так, чтобы кровь убитых евреев осталась на литовских, латышских, эстонских, польских, украинских или белорусских руках, они старались заснять или задокументировать это, чтобы в пропагандистских репортажах показать себя как представителей цивилизованного народа, с удивлением наблюдающих за восточно-европейскими варварами.

Какие из воспоминаний Раппопорта были воспоминаниями самого Лема? Когда я спросил про это Барбару Лем, то она лаконично ответила: «Все»[58]. В книге Томаша Лема есть информация, что «вонь, которой пропиталась его [Станислава Лема] одежда, была такой страшной, что её пришлось сжечь».

О том, что случилось с семьёй Лема дальше, информация ещё больше фрагментарная. 7 июля 1941 года оккупационные власти огласили указ про ношение лент или заплат со звездой Давида для всех евреев «до третьего колена», а также особам, состоящим в браке с евреями. В течение нескольких ближайших дней несколько сотен людей были убиты в назидание за отсутствие звезды Давида.

Станислав Лем какое-то время носил такую метку, но никогда в жизни не признал этого публично. Он рассказал об этом только своей жене, и тоже не прямо. Он начал с того, что какой-то немец дал ему пощёчину за то, что Лем не снял в его присутствии шапку. Поляки во Львове не должны были этого делать, поэтому Барбара Лем догадалась, что её будущий муж должен был тогда носить звезду Давида[59].

В какой-то момент во второй половине 1941 года семья Лема снова должна была оставить квартиру на Браеровской и переехать сначала на улицу Бернштайна (сейчас Шолом-Алейхема), а потом разделиться: родители поселились в районе Знесенье, а сын – на улице Зелёной (она практически не изменила название – сейчас называется Зэлэна).

На улице Бернштайна жил брат Самюэля Лема Фредерик Лехм, в «Высоком Замке» он описан как «дядя Фриц»[60]. Так мы доходим до самой болезненной части этой книги: дальнейшей судьбы семьи Станислава Лема. Про это он ни с кем публично не

разговаривал. В документальном фильме Ежи Яницкого он сказал только одну, очень многозначительную фразу: «А потом начали исчезать мои самые близкие»[61], после чего идет монтаж. Исключение он сделал в семидесятых годах для Владислава Бартошевского, который поведал воспоминания Лема про «дядю врача», который «был убит в Кельце 4 июля 1946 года»[62].

Почти наверняка Бартошевский перепутал рассказы о двух разных людях. Про дядю, убитого во Львове (скорее всего, это Марек Вольнер), и про доктора Северина Кахане, председателя Еврейского комитета в Кельце и одного из жертв келецкого погрома. Кахане был племянником «дяди Фрица» и, скорее всего, какое-то время скрывался вместе с Лемом в квартире на Бернштайна[63].

Дяди и тёти, перечисленные в «Высоком Замке», погибли в течение нескольких месяцев немецкой оккупации. Для Станислава Лема это не были далёкие, мало знакомые родственники. Это был дядька, который в детстве, чтобы подсластить Сташеку визит к дантисту, устроил праздничную поездку на дрожках. Ещё был богатый дядя, который финансировал Сташеку покупки, перерастающие финансовые возможности отца. Это были тётки, награждающие его сладостями за хорошую декламацию стихов.

Для Самюэля и Сабины Лемов это был весь их мир. Из «Высокого Замка» видно, что перед войной каждую свободную минуту они проводили с родственниками. То, что они чувствовали во время войны, я не могу описать. Лем избегал разговоров на эту тему. Когда про это попытался спросить Томаш Фиалковский, Барбара Лем лично попросила его, чтобы он больше про это с её мужем не говорил, потому что «Сташек не может после этого спать»[64].

Источником, который позволяет, по крайней мере, попытаться представить себе эту трагедию, является литература; в 1950 году Лем написал на эту тему роман под названием «Среди мёртвых». Это второй том трилогии «Неутраченное время», первым томом которой является написанный в 1948 году роман «Больница Преображения».

Лем многократно отгораживался от «Среди мёртвых» и «Возвращения», третьего тома трилогии. С 1965 года он не позволял их переиздавать. Бересю он презрительно заявлял, что эту книгу из него «выдавили», и старался представить это как плату за издание первого тома, единственного, за который он действительно переживал. Что-то типа расчётливого трюка, одного из многих, к которым должны были прибегать писатели при сталинизме. В свете сегодняшних знаний я допускаю, что

отвращение Лема к роману «Среди мёртвых» имело другие причины. И речь не в том, что Лем писал его равнодушно и по расчёту. Как раз наоборот, именно во втором томе он раскрылся слишком сильно.

Прежде всего действие происходит во Львове. Естественно, как и в «Гласе Господа», об этом не говорится прямо, но шифр тут разгадывается ещё легче. В апогей сталинизма невозможно было написать книгу с тактическим расчётом и вместе с тем разместить действие сюжета во Львове. Или – или.

В «Больнице Преображения» Лем разместил своё *alter ego*, Стефана Тшинецкого, молодого врача, которому в романе столько лет, сколько было Лему на момент его написания, но действие происходит на несколько лет раньше, герой и автор не являются метрическими ровесниками. Но метрический ровесник появляется во втором томе. Это Кароль Владимир Вильк, очередное alter ego Лема, но в этот раз идеальное.

Насколько Тшинецкий разделяет сомнения и беспомощность Лема, настолько Вильк является настоящим техническим гением и тем, кто в отличие от Тшинецкого, погибает во время войны, но в тюрьме под пытками совершает какое-то расплывчатое физико-математическое открытие, что даст человечеству возможность полететь к звёздам, и таким образом получает горациевское бессмертие.

Уступкой Лема на тему обязательного социалистического реализма поэтики была биография Вилька – сироты-самоучки, технический талант которого открыл кто-то, кого Лем списал со своего коллеги (он говорил Бересю: «превратил своего коллегу в коммуниста Марцинова»).

«*В марте 1942 года написал ему Марцинов. Он получил адрес мальчика случайно, от какого-то шофёра […], предложил ему приехать в город, обещая квартиру и работу на фирме, в которой сам работал*», – пишет Лем в проклятом романе. Название города тут не попадается, но обратите внимание на то, когда Вильк получает письмо.

Перед войной Вильк жил в окрестностях Тарнова. Это означает, что в 1939–1941 годах от Львова его отделяла немецко-советская граница, но 1 августа 1941 года Львов вошёл в Генерал-губернаторство.

Украинцы приняли это с отчаянием, потому что это означало конец их фантазии о независимой Украине, объединённой с Третьим рейхом наподобие государств-марионеток, таких как Словакия или Хорватия. Поляки вздохнули с облегчением, возможно, преждевременно, но из этих дат следует, что если Марцинов на самом деле искал контакт с Вильком, то, скорее

всего, только на переломе 1941 и 1942 годов он мог его установить через случайного шофёра (лишь 1 ноября 1941 года были уничтожены границы между Галицией и Генерал-губернаторством).

Фирма, в которой работал Марцинов и куда по его рекомендации приняли Вилька, называлась *Rohstofferfassung*. Эта информация уже точно переносит действие романа во Львов, потому что реально существовала фирма с таким названием. Она появляется, например, в цитированной тут неоднократно книге Янины Хешелес «Глазами двенадцатилетней девочки»; о своей работе в этой фирме Лем также рассказывает Бересю уже в первом, цензурированном, издании интервью. В то время как в самом романе «Среди мёртвых» мы читаем:

> *«На фирме работали почти все евреи. Большинство составляли нищие, подбирающие отходы по мусоркам, меньшинство – сливки местного еврейства, купцы, фабриканты, адвокаты и советники. Согласно трудовым картам они были старьёвщиками и получали копеечную зарплату, а на самом деле платили Зигфриду Кремину за то, что тот прятал их, а платили так щедро, что из того источника текли в карман директора самые большие доходы. Они сами работали в офисе […], занимались одновременно изготовлением арийских бумаг и продажей и покупкой валюты и золота».*

Кремина звали не Зигфрид, а Виктор, но Лем не изменил его фамилию. Он был одним из доверенных лиц (*Treuhander*), которые от имени СС присваивали еврейское имущество на территориях, захваченных Третьим рейхом. Его арестовали в Лодзи после войны, но оправдали благодаря показаниям евреев, которым он спас жизнь[65].

Виктор Кремин был дружен с начальником полиции в Генерал-губернаторстве Одило Глобоцником, и это объясняет, почему бумаги, которые он изготавливал, имели такую силу, даже если все знали, для чего в действительности они были нужны[66]. До того как немцы заняли Львов, Кремин успел создать в Люблине небольшую официальную империю, которая занималась поисками вторичного сырья (тряпьё, металлолом, макулатура). В действительности, спасённые им евреи платили ему, осуществляя невероятно прибыльную торговлю краденными драгоценностями.

Как Лем там оказался? Как мастер играть со своими собеседниками, он объяснил Бересю это так:

*«Всё лето сорок первого года семья решала, что со мной делать: немцы закрыли все учебные заведения, а я совершенно не хотел заниматься канцелярской работой. И тогда через какого-то знакомого отца мне удалось устроиться на физическую работу в немецкой фирме Rohstofferfassung, которая занималась поисками сырья».*

Эта фраза вызывает в воображении семейный совет, во время которого при блеске серебряных столовых приборов и фарфора старейшины рода решают, что делать со строптивым юношей, отстранённым от обучения. И вдруг кто-то говорит: «А может, устроим его на фирму к знакомому?» Предложение всем нравится, глава рода открывает бутылку, хранящуюся для специальных случаев.

В действительности это выглядело, скорее всего, так, что Лемы прятались в квартире на улице Бернштайна от украинских боевиков, распространяющих террор в городе, и искали способ выжить. Еврейские семьи в этой ситуации оказывались перед самым драматическим выбором: кого спасать в первую очередь, очень быстро стало понятно, что всех спасти не удастся.

Янина Хешелес в послесловии к своим мемуарам попросила прощения у особы, описанной в них как «тётя В.», которая ей не помогла в тот же самый период, летом 1941 года. Когда после войны Янина Хешелес сама стала мамой, она поняла, что в первую очередь спасёт своего ребёнка, а дальних родственников лишь по мере возможностей, и через годы она написала, что и сама бы сделала то же самое на месте той тётки.

Поэтому я допускаю, что этот семейный совет выглядел так: семья решила, что в первую очередь спасут Сташека, потому что как мужчина, годный к физическому труду, он имеет самые высокие шансы на выживание. Его можно устроить на завод, работающий для немцев, и Лемы справедливо надеялись, что таких евреев будут ликвидировать в самом конце. (Через какое-то время «сильные» бумаги должны были иметь и врачи, работающие в гетто, но Самюэль Лем, вероятно, предположил, что это может быть ловушкой, и не воспользовался этой возможностью, что спасло им всем жизнь.)

Холокост во Львове протекал быстрей, чем в городах на западе от границы, установленной пактом Молотова – Риббентропа, потому что у немцев было мало времени. Не было тут того обманчивого 1940 года, когда евреи в оккупированной Польше ещё могли надеяться, что за стенами гетто хотя бы часть из них как-то устроит свою жизнь.

Менее чем через месяц после «погрома тюрем» случилась

следующая трагедия: «дни Петлюры», погром, организованный украинцами вроде бы на годовщину смерти атамана Петлюры, убитого евреями (в действительности его убил советский шпион 26 мая 1926 года). В этот раз погром был менее хаотичным, потому что должен был продемонстрировать немцам организационную эффективность украинской самопровозглашённой полиции. На основе собственноручно составленных списков боевики ходили от дверей к дверям и вытаскивали евреев, якобы на работу, а на самом деле в определённые места, в которых снова, как и во время предыдущего погрома, главным орудием убийства были палки и камни. Между 25 и 27 июля было уничтожено несколько тысяч человек, среди них оказался Марек Вольнер, ларинголог, брат Сабины Лем, которая до конца жизни надеялась, что её брат найдётся живым и здоровым.

Сразу после «дней Петлюры» оккупант объявил о наложении на львовских евреев контрибуции – они должны были выплатить двадцать миллионов рублей из собственных средств. Для уверенности они задержали тысячу заложников схваченной украинцами еврейской элиты Львова. Несмотря на выплаченную сумму, всех евреев всё равно расстреляли.

Осенью 1941 года началось переселение евреев в гетто, организованное с другой стороны железной дороги, в районе Знесенье. Вскоре была проведена специальная акция по отлову довоенных врачей и адвокатов еврейского происхождения, о которых немцы узнали из довоенных реестров. Они арестовали около семидесяти человек, которых никто потом больше не видел[67]. Это может быть моментом смерти Фредерика, брата Самюэля Лема. Если он не погиб тогда, то самое позднее это случилось весной следующего года (поскольку он попал в гетто, он определённо оказался в первом отборе особ, неспособных к труду).

Как случилось так, что Самюэль и Сабина Лемы уцелели? Владислав Бартошевский утверждал, что родители Лема оказались в гетто, но Станислав смог их оттуда вытащить благодаря помощи коллег из гимназии, служащих в Армии Крайовой. Тут появляется рассказ об отважном побеге из гетто на дрожках, про это захватывающее приключение известно не только в семье Лемов, но и в семье Колодзеев (про которую больше в следующем разделе), хотя немного в другой версии. В этой второй версии единственно легальной (арийской) пассажиркой этой дрожки была пани Ольга Колодзей[68].

Я отношусь к этой истории довольно скептически, потому что, даже когда гетто ещё не было ограждено, особа с арийскими

документами не могла просто так зайти на его территорию, а тем более въехать на дрожках. Она могла как максимум подъехать ближе.

Но улица Бернштайна, где семья Лема жила после того, как оставила свою квартиру на Браеровской, располагалась близко от гетто. Возможно, действительно происходило какое-то катание на дрожках (и одной пассажиркой могла быть именно Ольга Колодзей), только не на территории гетто. Возможно, речь идёт об эвакуации Самюэля и Сабины Лемов из всё более небезопасного места на Бернштайна? Так или иначе, но это должно было происходить до декабря 1941 года, потому что именно тогда территорию гетто оградили[69].

Потом спасти родителей было бы сложней. Какое-то время евреи ещё могли получить пропуск, чтобы покинуть гетто, но это была ужасная лотерея. Главная дорога на арийскую сторону проходила под железнодорожным путепроводом над улицей Пелтевной, прозванным «мостом смерти». За выходом следили продажные украинские полицейские, которые независимо от имеющихся документов требовали взятку за проход. «Каждый день у моста одна и та же сцена – избиение, грабёж, убийство. Вечером вывозят на кладбище кучи трупов», – писал Филип Фридмен[70].

В конце октября по примеру гетто как в других городах, так и во Львове создали коллаборантскую еврейскую службу порядка, *Jüdischer Ordnungsdienst Lemberg*, в которую входили двести пятьдесят человек. Служащие там евреи рассчитывали на то, что спасут собственную жизнь, помогая немцам в убийстве других евреев. И снова: во Львове всё проходило слишком быстро, чтобы хоть кто-то мог долго питать такую надежду.

30 октября немцы потребовали от юденрата организовать вывоз молодых, здоровых мужчин в трудовые лагеря. Руководитель юденрата доктор Парнас отказался это делать и был расстрелян. На первый план в юденрате выдвинулся заместитель Парнаса доктор Генрих Ландесберг, решивший спасти свою жизнь или хотя бы своего сына ценой безоговорочного подчинения оккупанту (кстати, его сын выжил, он – нет).

В ноябре на улице Яновской был создан принудительный трудовой лагерь, превратившийся потом в лагерь смерти, прозванный яновским. В нем погибло около двухсот тысяч человек[71]. Среди них, скорее всего, мог бы оказаться и Станислав Лем, если бы угодил в гетто и был бы схвачен ещё во время осенних набегов.

В марте 1942 года выдвинулся первый транспорт в

концлагерь Белжец. Немцы потребовали от юденрата отобрать всех евреев, которые нетрудоспособны по здоровью или возрасту. Это самая поздняя возможная дата смерти «дяди Фрица» и «тёти Берты».

Самюэль и Сабина Лемы в этот момент должны были уже быть в каком-то безопасном месте, потому что эту облаву они бы точно не пережили. Налёт организовали не немцы и не украинцы, которых довольно легко можно было обмануть или перекупить, это были евреи, отчаянно боровшиеся за собственную жизнь. Таких трудно подкупить.

До июня 1942 года во Львове осталось около семидесяти тысяч евреев. Немцы ускорили истребление, используя каждый раз всё более изобретательные и ужасные методы. Недовольные работой еврейской полиции, 24 июня они организовали в гетто собственную облаву. Убили несколько тысяч человек. «Женщин голыми вытаскивали ночью во двор и спускали собак, которые их разрывали», – писал Ян Роговский[72].

Это было вступление к «большой еврейской операции», результатом которой станет смерть летом 1942 года нескольких десятков тысяч евреев в гетто. Большинство было убито не в газовых камерах, а в операциях, напоминающих произошедшую 24 июня – во время облав огромных масштабов. Пойманных сопровождали или в яновский лагерь, или непосредственно «на Пяски», то есть к подножию Кортумовой горы в окрестностях Львова. Там их расстреливали – прямо в оврагах или общей могиле – на такой высоте, чтобы окрестные жители видели, как с горы стекают ручьи крови, вливаются в реку, текущую через весь Клепаров и впадающую в Полтву[73].

2 сентября немцы казнили полтора десятка членов юденрата, в том числе доктора Ландесберга и офицеров еврейской полиции. Их повесили на балконах штаб-квартиры юденрата. Свидетели писали, что немцы специально использовали тонкие верёвки, чтобы жертвы обрывались и падали ещё живыми на брусчатку. «Истекающих кровью, с насмешками и побоями их вешали снова»[74]. Немцы предъявили уцелевшим членам юденрата счёт за покупку верёвки и потребовали вернуть деньги.

Где во всём этом Лем? Скорее всего, он все ещё в *Rohstofferfassung*. Бересь описывает, что Лему удалось изготовить так называемые «хорошие» бумаги. Формально он был трудоустроен как *Automechaniker und Autoelektriker*, и естественно, его квалификация была, как он сам говорит, мизерной. Единственным основанием были любительские (так называемые «зелёные») водительские права, полученные ещё до войны, и обучение у мастера. Как звали того мастера, сейчас сложно

сказать, потому что у Береся его имя звучит как «Тадеуш Солякевич», а у Фиалковского «Тадеуш Сулякевич». Оба автора записывали интервью на слух, а Лем подтвердил обе версии. Сегодня некого про это спросить. В романе «Среди мёртвых» он во всяком случае представлен как «Тадеуш Полякевич».

В обеих версиях (а также в романе) заметно уважение, каким автор одарил того, кто посвятил его в тайны карбидно-ацетиленового сгорания. *«Тадеуш Сулякевич, который обучал меня этой профессии, выходил на улицу, брал пятикилограммовый молот и спрашивал: «Это сварной шов?» Удар и весь приваренный корпус распадался»*, – это у Фиалковского. А у Береся искренне: *«чему-то в конце концов я научился, но сварщиком был весьма скверным»*.

В романе есть похожая сцена:

> *«Работа в гараже шла в нормальном режиме. Вильк сваривал металлические перекладины, которые должны поддерживать расширенную раму нового грузовика. В глубине темных защитных очков сварка выглядела как ритмично пульсирующая звезда. Обе руки парня – левая держала проволоку, а правая – горелку, – дрожали в нескольких сантиметрах от пламени с разных сторон. Брызгая искрами, жидкое железо заливало стыки, а пламя задувало его в самые маленькие щели. Когда Вильк встал над дымящей ещё рамой, появился Полякевич с двенадцатикилограммовым молотом и двумя ударами развалил все перекладины. Сварочные швы были перегоревшими.*
>
> *– Я этому тебя учил?*
>
> *Выругавшись, пан Тадеуш пошёл в канцелярию за папиросами».*

Герой романа Кароль Владимир Вильк учится быстрей Лема. Потому что Марцинов и Полякевич хвалят его успехи. Вильк, как и Лем, любит машины, но в его случае эта любовь взаимна (вся последующая жизнь Лема – это история несчастливой, невзаимной любви к разным устройствам).

*«Вилька заинтересовали привезённые запчасти. Он незаметно отложил себе некоторые, ибо раздумывал создать на чердаке маленькую лабораторию»*, – это уже Лем писал про себя, потому что Бересю и Фиалковскому он вспоминает, что в *Rohstofferfassung* он продолжал своё довоенное увлечение – конструирование собственных машин.

В обязанности Лема входил сбор твёрдого сырья с разбитых советских танков и самолётов, что немцы свозили на территорию

Восточной Ярмарки, которую оккупанты приспособили под казармы Люфтваффе. Мешочки с порохом и патроны он передавал какой-то подпольной организации, про которую ничего не знал, так он говорил Бересю и Фиалковскому. Вероятно, речь шла про Армию Крайову, так во всяком случае запомнил Владислав Бартошевский (и это, скорее всего, так, потому что польское коммунистическое подполье во Львове было очень слабым).

Лем также снимал какое-то оборудование, не нужное подполью, такое, как авиагоризонт и спидометр, с самолётов, потому что ему просто была интересна их конструкция (его при этом безумно веселила надпись на приборах: «Made in Germany»). Однажды он ради шутки взорвал снятую с танка дымовую шашку, а как-то закинул в печь пакет с порохом. «*Был такой дьявольский взрыв, что каминная труба вылетела из стены, а мы все походили на негров […], а у ворот проходил немецкий часовой!*» – рассказывал он Бересю.

Не хватает достаточно точных данных, чтобы описать степень сотрудничества Лема с подпольем. Сложно сказать, почему в разговорах с Бересем и Фиалковским он не даёт название конкретной организации. Почему кто-то должен был до 1989 года скрывать свою связь с АК (если это, конечно, была АК)? Может, Лем просто не был на сто процентов уверен, поэтому не хотел обманывать читателей? С Бартошевским он лично разговаривал, не надеясь, что этот разговор через четверть века будет передан журналисту. И действительно, именно потому, что разговор с Бартошевским – это уже пересказ, к нему следует подходить осторожно. По мнению Бартошевского, связными Лема с подпольем были «школьные товарищи» – это очевидная ошибка, это должны быть гимназисты. И, скорее всего, один гимназист, потому что основой конспирации является сведение к минимуму круга посвящённых.

В любом случае, по мнению Бартошевского, именно эти коллеги спасли родителей Лема из гетто с использованием дрожек, а самому Станиславу достали фальшивые документы. В книгах Береся и Фиалковского эти документы появляются неизвестно откуда. Однако, поскольку с самого начала известно, что изготовление фальшивых христианских метрик и арийских удостоверений личности было побочной деятельностью фирмы *Rohstofferfassung*, там в первую очередь я искал бы их источник. По фальшивым документам Станислав Лем был армянином Яном Донабидовичем. В довоенном Львове ещё со Средневековья жила значительная армянская диаспора. В период Второй Речи Посполитой она была сильно полонизирована, так же как и

еврейская диаспора. Но в какой конкретно момент Лем стал Донабидовичем? И как надолго? Тут уже начинаются загадки. По мнению Бартошевского, у Лема всё время были «сильные бумаги» благодаря его знакомым из АК и на основании этих документов он работал до самого конца оккупации, поддерживая родителей. Мне кажется, это малоправдоподобно, потому что прежде всего работа в *Rohstofferfassung* предоставляла «сильные бумаги» также и евреям (до поры до времени). Если бы Станислав Лем числился в *Rohstofferfassung* как армянин с фальшивым именем, то подвергся бы смертельной опасности: какой-то довоенный знакомый его или его родителей мог бы непроизвольно назвать его «Сташеком». Поскольку на эту работу ему помог устроиться «знакомый отца», а к тому же работали там «в основном евреи», риск такой встречи был очень высоким. Впрочем, известно, что в *Rohstofferfassung* работала, по крайней мере, ещё одна особа, связанная с родом Лемов (но настолько далёкая, что не появляется в воспоминаниях Станислава Лема, может быть, они никогда так и не познакомились). Это рождённая в 1926 году София Кимельман, дочь Ванды Лем и Макса Кимельмана[75]. В *Rohstofferfassung* она работала под настоящей фамилией. Лишь в августе 1942 года сделала себе фальшивые документы на имя Софии Новак. Потому мне кажется маловероятным, чтобы Станислав Лем стал Яном Донабидовичем с самого начала оккупации.

Более правдоподобной мне кажется та хронология, которую мы видим у Фиалковского. *«Это [работа в Rohstofferfassung] было в сорок первом и сорок втором годах, а в сорок третьем я вынужден был смотать удочки»*. Конкретной даты «сматывания удочек» Лем не даёт, но можно догадаться, что это связано с одним драматическим инцидентом – он прятал на территории фирмы коллегу по гимназии по фамилии или по кличке Тиктин, который дезертировал из еврейской службы порядка.

Бересю Лем описывал это так:

> *«Это было утром, когда я вышел во двор перед гаражом. Там почти всё время ходил какой-нибудь немецкий постовой. Этот мой знакомый, наверное, заметил меня раньше, и мы немедленно оказались внутри гаража. Он был в гражданской одежде, в офицерских сапогах, с непокрытой головой. Оказалось, что он сбежал. С ним случилась очень странная история: он должен был бежать из страны со знакомыми, им обещали помочь венгерские солдаты, но, когда они пришли в условленное место, попали в засаду, потому что венгры пришли с каким-то вооружённым евреем, который был доверенным*

*гестапо или полицейским. И сразу же начали стрелять. Тогда он и сбежал. Как он попал ко мне, понятия не имею».*

Что до этого, то у меня нет уверенности, но создаётся впечатление, что речь идёт о задокументированном историческом событии: неудавшемся бунте еврейских полицейских 12 февраля 1943 года. В конце января немцы ликвидировали гетто и перенесли его остатки в *Judenlager*, временный концлагерь для последних нескольких тысяч евреев, ликвидация которых по разным причинам была отложена. Лагерь был под непосредственным немецким надзором, гражданская еврейская администрация была уже не нужна. Поэтому юденрат распустили, то есть перебили, убив также его последнего президента доктора Эдварда Эберзона.

Но в живых остался начальник еврейской полиции охраны Барух Ройзен и его правая рука – двадцатисемилетний Макс Голигер-Шапиро (в другом написании Гулигер), бывший спортсмен, имевший среди гестаповцев собутыльников. Скорее всего, потому он и прожил так долго. В гетто его фамилию произносили со страхом и ненавистью. Голигер старался добиться благосклонности немцев, проявляя исключительную жестокость к своим соотечественникам.

Вместе с ним дожило до этого момента около двухсот еврейских полицейских, которые прекрасно понимали, что их дни сочтены. Голигер придумал план побега в Венгрию при содействии подкупленных немецких или венгерских офицеров (я встречал разные версии). Так или иначе, план не удался – заговорщики попали в западню, и немцы начали ликвидацию еврейских полицейских. Их казнили публично для устрашения около семи тысяч евреев, которым ещё позволено было жить.

*«Тиктин прятался в Rohstofferfassung несколько дней. Это был идиотский план, гараж вообще не закрывался, достаточно было подняться наверх с фонариком (там не было света), чтобы увидеть парня, скрывающегося в закоулке. Долго это продолжаться не могло. Наконец я ему сказал: «Ты не можешь сидеть здесь вечно». И через некоторое время он ушёл, а я сообразил, что, скорее всего, его поймают, будут допрашивать, немцы будут выспрашивать, где он скрывался. Он скажет, что у меня. Когда я это сообразил, мне стало горячо… поэтому я перебрался к одной старушке, у которой жил до тех пор, пока мне не сделали документы на имя Яна Донабидовича».*

Так Лем описывает это Бересю. Однако мы помним, что в этих интервью он постоянно умалчивает важное обстоятельство: своё происхождение. И поэтому как еврею ему грозила смерть от рук немцев независимо от того, выдал бы его Тиктин или нет. Я допускаю – но это уже только моя гипотеза, – что настоящий мотив побега из *Rohstofferfassung* был другим.

Даже если бы Станислав Лем в феврале 1943 года действительно не знал, что за последние полтора года немцы уничтожили девяносто процентов из ста двадцати тысяч евреев, живших во Львове, и не сделал из этого логический вывод, что вот-вот возьмутся и за тех живых, кого охраняют «сильные бумаги», то после инцидента с побегом Тиктина он наконец должен был всё понять. В конце концов, в гетто не было для еврея лучших документов, чем удостоверение еврейского полицейского. Если даже тех евреев из *Ordnungsdienst* ожидала неминуемая ликвидация, то самое время было прятаться.

Когда гетто превратилось в концлагерь, все оставшиеся в живых евреи оказались в изоляции. Им не выдавали пропусков, что позволяли более-менее свободно передвигаться по городу. Если они работали за пределами лагеря, то передвигались организованными колоннами под охраной и так же возвращались. Такую «колонну Rohstoff» в мае 1943 года описывает Янина Хешелес. Станислав Лем был бы в ней, если бы не убежал в последний момент. У него бы тогда остался месяц жизни, так же как и у других евреев из *Rohstofferfassung*.

Мне неизвестно, спас ли Лем жизнь своему коллеге из гимназии, спрятав его. Дальнейшая судьба Тиктина неизвестна. Но абсолютно точно ясно, что встреча с Тиктином спасла жизнь Станиславу Лему. Если бы он и дальше тянул с побегом, то было бы сложней изготовить ему фальшивые документы и добраться до безопасного убежища.

Про еврейскую полицию порядка, или про юденраты, трудно писать, полностью воздерживаясь от оценки. Тиктин имел на своей совести минимум одно преступление: сотрудничество с оккупантом. Но если ему удалось дожить до февраля 1943 года, он должен был совершать более страшные вещи. Лем приближается к этой оценке в разговоре с Бересем, потому что делает такое отступление, которое в действительности является продолжением этой темы: *«Именно тогда какой-то перевозчик всю свою семью помог отправить в Треблинку (а если не помог, то, во всяком случае, не мешал и не пошёл с ними). Потом он спрашивал людей: «Я – убийца?»*

Лем, вероятно, апеллирует тут к опубликованным в 1993 году издательством «Карта» воспоминаниям Цалека Переходника,

еврейского полицейского из гетто в Отвоцке, который не смог спасти свою семью от вывоза в Треблинку, после чего и сам погиб несколько месяцев спустя. Название «Я – убийца?» придумала польская редакция. Позднее появилась вторая, исправленная версия, составленная на основе оригинальной рукописи Переходника под названием «Исповедь» (и с исправленным написанием имени автора). Лем, по привычке, перекрутил фамилию Переходника на что-то, что звучало как имя нарицательное «перевозчик». И он задаёт вопрос, который Переходник в реальности в своей рукописи не поднимает. Возможно, Лем её вообще не читал, только делал отсылку к горячим дискуссиям на тему этих воспоминаний, которые велись в середине девяностых, просто желая в разговоре с Бересем поднять тему моральной оценки коллаборантов с оккупантами.

Однако сам ответа он не давал. Оставляя всё с подвешенными знаками вопроса. Тем более мне кажется неприличным, чтобы через семьдесят лет после тех событий он сам выносил какие-то осуждения, уютно устроившись за письменным столом и попивая чай. «Столько знаем о себе, на сколько проверены»[76], – писала лауреатка Нобелевской премии. Я не знаю, что делал бы в минуту последнего жизненного испытания, и надеюсь, что никогда не узнаю.

Вопрос об истреблении и моральной ответственности невольных соучастников мучил Лема на протяжении всей жизни. Это видно не только в этом интервью, это заметно также в первой и последней книгах лемовского канона, от «Больницы Преображения» до «Фиаско», а также в публицистических и квазипублицистических текстах, таких как известный апокриф профессора Асперникуса в лемовской «Провокации». Я думаю, что его это мучило уже тогда. Я не верю в заверения Лема, что он «взирал на реальность с перспективы муравья», поэтому и не знал, что происходит в гетто или о других преступлениях немцев, которые доходили до него только «как невыразительное эхо событий».

Он сам в «Неутраченном времени» изобразил *Rohstofferfassung* как место, о ситуации в котором было известно не только во львовском гетто, но и в других гетто Генерал-губернаторства, потому что скрывающиеся евреи, благодаря своим контактам, обменивали на фирме золото и валюту, а также имели возможность привозить самые разные товары, недоступные в свободной продаже, такие как настоящая икра или французские вина. Более того, о том, что делалось в каком гетто, Зигфрид (он же Виктор) Кремин узнавал первым. Лем описывает в романе начало очередной операции по ликвидации, которая нарушает

празднование дня рождения Кремина (во время вечеринки подавали именно *echter Kaviar*, а также многочисленные французские напитки). Одним из гостей был штурмбаннфюрер Таннхойзер, про которого Лем рассказывал Фиалковскому как о подлинной личности.

Таннхойзер регулярно информирует Кремина о том, что происходит в гетто. Он прерывает празднование срочным телефонным звонком, чтобы сообщить ему про очередную операцию ликвидации. Кремин ругает своего собеседника (как-никак, офицера СС), словно был его начальником: «Tannhäuser, warum haben Sie mich nicht vorher benach-richtigt?! – кричал он в трубку. – Ach was, ich konnte nicht, ich konnte nicht! Was für eine Drecksache!» (Таннхойзер, почему вы не сообщили мне об этом раньше? Ну да, я не мог, я не мог! Что за вонючая история!)[77].

В разговоре с Фиалковским Лем прямо отметил, что портрет Кремина в общем реалистичный. Если это так, мы можем утверждать, что образ фирмы в романе тоже соответствует реальному: было это болтливое место и все работающие там евреи дожили до 1943 года благодаря тому, что были хорошо проинформированы. Потому Лем в 1942 году, вероятней всего, знал о ситуации в гетто.

Тогда это означает, что, работая в *Rohstofferfassung*, мой любимый писатель подвергался моральным мучениям, задумываясь о судьбе своих родственников. Понятно, что он ничего не мог сделать, чтобы им помочь. Но человеческий мозг так не работает. Я думаю, что уже тогда Лема мучили вопросы о природе добра и зла, которые через несколько лет он будет поднимать в «Неутраченном времени». Кремин кажется почти позитивным персонажем. Когда немцы начали следующую ликвидацию, он не жалеет ни сил, ни денег, чтобы вытащить «своих евреев, которых уже загружали на вокзале в вагоны».

Разумеется, он делал это небескорыстно. Похоже, что он приступает к делу из честолюбивых соображений. Убийство «его евреев» подрывает его позиции. Он не может этого допустить! Поэтому он пытается спасти их, и даже если (как в романе) спасёт только половину, это и так будет больше спасённых человеческих жизней, чем мог бы предъявить на Страшном суде автор этой книги (а вероятно, и большинство её читателей).

В начале 1943 года немцы приступили к ликвидации последних остатков гетто во Львове. Для львовских евреев не было никаких «сильных бумаг», погибнуть должны были все, и не важно, работали они для армии, или были в юденратах, или имели мундиры службы порядка. Отсюда, собственно, и моя уверенность, что невозможно, чтобы Лем работал в

*Rohstofferfassung* аж до конца оккупации.

Когда Лем окончательно оставил эту фирму? Ответ, по сути, приводит к тому, верим ли мы в истинность истории Тиктина. Лемологи, с которыми я про это разговаривал, часто её оспаривали, аргументируя, что слишком много в ней совпадений (внезапная встреча коллеги из гимназии именно перед *Rohstofferfassung*?).

Я допускаю её правдивость, руководствуясь довольно слабым, признаюсь, аргументом, что выдумывать несуществующую фигуру не в стиле Лема. Он скорее закроется, скорее отвернёт внимание, скорее не скажет всей правды, но не подсунет на сто процентов выдуманного персонажа. Если бы он так делал, ему было бы проще избегать вопросов про еврейское происхождение, просто выдумывая фиктивных арийских предков.

Если предположить правдивость рассказа о Тиктине, у нас появляется довольно точная дата его побега из *Rohstofferfassung* – середина февраля 1943 года. Если же эту гипотезу отбросить, то остается только вероятность, что Лем убежал раньше и раньше стал Яном Донабидовичем. Независимо от версии мы должны принять, что, по крайней мере, определенное время Лем жил (ночевал) на территории фирмы, где чувствовал себя в безопасности.

*«Мы предпочитали ночевать в гараже, нежели выходить в город, потому что было сказано, что наличие пропуска вместе с удостоверением личности не является для поляка гарантией неприкосновенности, и украинские полицейские могут его просто застрелить»*, – говорил он Фиалковскому. И это точно совпадает с тем, что описывает в книге «Поляки во Львове 1939–1944. Ежедневная жизнь» Гжегож Грицюк, под начальством Питулея украинская полиция охраны сеяла страх и среди евреев, и среди поляков. Встреча с таким полицейским была опасной для Лема, независимо от того, какой документ у него был.

Не важно, убежал он из фирмы уже в 1942 году или лишь в феврале 1943-го, появляется ещё одна загадка в биографии Лема, которую мы должны разрешить. По меньшей мере несколько месяцев он жил во Львове полностью нелегально. Каждое случайное узнавание на улице грозило смертью ему, его семье и «семье Подлуских с улицы Зелёной»[78], у которых он ожидал конца немецкой оккупации (скорее всего, это был не единственный адрес, где он прятался, но только этот он раскрыл публично).

Этот период интересен для поклонников его прозы тем, что во время этих нескольких месяцев рождается «Человек с Марса», первый роман Лема *science fiction*. Из интервью с Бересем видно,

что Лем написал его как Донабидович, когда, с одной стороны, у него была возможность перемещаться по городу, благодаря фальшивому имени, с другой – это перемещение по городу он должен был свести к минимуму. Возможно, и один и второй аспект его положения кроется во фразе из интервью Береся, которая очень характерна для Лема: «записался в библиотеку, читать мог сколько хотел». В этом невинном на первый взгляд описании ситуации можно увидеть ужас всей ситуации человека, который скрывается от смертельной угрозы – и из-за этого смертельно скучает.

Последние несколько месяцев немецкой оккупации во Львове ни у кого, кроме самих немцев, уже не было «сильных» бумаг. Но и они начинали бояться, потому что, как говорит Лем Бересю, «*это был период, когда уже начали говорить о русских и о большом зимнем наступлении*». Инцидент с Тиктином, если и был настоящим, то произошёл через две недели после капитуляции Паулюса в Сталинграде, которая привела к уничтожению Группы армий «Юг» – той самой, которая заняла Львов[79].

Запущенная немцами машина террора после последнего решения еврейского вопроса тем временем повернулась к «Арийцам». Как хорошо заметил профессор Хорст Асперникус, немецкая политика как таковая уже не имела смысла. Они высокой ценой построили махину, которая жила за счёт рабской силы евреев и военнопленных только для того, чтобы их как можно быстрее уничтожить, но тогда их экономика уже была зависима от бесплатной рабочей силы. Откуда же её брать? Какое-то время немцы весьма наивно полагали, что славянские народы пойдут добровольно. Акция вербовки во Львове (и не только) тем не менее закончилась полным фиаско.

С осени 1942 года начались облавы. Возможно, именно одну из них Лем описывает Фиалковскому в интервью: прячась у одной старушки, он ждал фальшивые документы и видел в окно, как каких-то людей грузят в грузовики. Облавы проводились в разных местах, в которых массово собирались жители Львова. Теоретически их целью был сбор способных к работе людей, но способными к работе считались также пятидесятитрёхлетняя женщина и мужчина без пальцев на одной руке[80].

Немцы делали ставку на количество, выбирали места, в которых можно зараз поймать несколько сотен людей: сначала ярмарки, потом вокзал, на котором в грузовики загоняли просто всех пассажиров междугороднего поезда. Случалось также, что ловили всех посетителей кино, вместе с обслугой. Пик облав пришёлся на начало 1943 года[81].

«Арийских бумаг» было недостаточно, чтобы выйти из этого

котла. Только четыре вида документов давали такую возможность: легитимация «Im Dienst der Deutschen Wehrmacht», «Deutsche Post», RD («Служба Рейха») и… еврейские. Немцы не убивали всех подряд, у каждого был свой срок – как говорил Лем, жалуясь Бересю на исторические неточности в фильме «Больница Преображения» Жебровского, который показал одну большую экзекуцию, а должен был показать отдельные экзекуции пациентов, отдельные – врачей, отдельные – медперсонала, и так далее.

Львов в тот период, когда Лем прятался с фальшивыми документами, был городом ужаса. Каждый боялся облавы. Трамваи ездили пустыми, на улицах не было пешеходов, на кинопоказах не было людей, и это совсем не из-за оглашенного подпольем бойкота[82]. Может показаться странным, что Лем в этих условиях думал только о книгах в библиотеке, но не нужно забывать, что для скрывающегося еврея приоритетом было не делать то, что ожидали от скрывающегося еврея. Сожитель семьи Подлуских, который вообще не выходил бы из дому, казался бы подозрительным. Лем не ходил на работу. Он жил на сбережения отца, который также оплачивал его проживание (поэтому нельзя верить воспоминаниям Бартошевского, что Лем обеспечивал родителей, работая в *Rohstofferfassung*). Он выскальзывал за книгами, потом возвращался как можно быстрей и снова убегал в мир фантазий.

Он не раскрыл список книг, которые прочитал в тот период, но, возможно, там были американские романы или рассказы *science fiction* (технически это было возможно, ведь до 1941 года Третий рейх поддерживал нормальный культурный обмен с США). В Польше не было литературы такого типа. В Америке почти самостоятельно её открыл в двадцатые годы издатель Хьюго Гернсбек в журнале «*Amazing Science Fiction*». «Человек с Марса» спокойно мог бы появиться в этом журнале. Я допускаю, хотя на это у меня нет и тени доказательств, что непосредственным вдохновением для Лема был немецкий перевод какого-то американского автора из группы Гернсбека. Это бы объяснило, почему «Человек с Марса» начинается именно в Нью-Йорке (естественно, воображаемом Лемом, в котором, например, Пятая авеню – это улица с двусторонним движением[83] и по ней ездят троллейбусы).

Для романа, написанного в таких условиях, «Человек с Марса» является удивительно хорошим. Мы видим тут будущие задатки таланта Лема. Темой романа является Контакт, один из классических топосов *science fiction* (описанный с типично лемовским пессимизмом, мало того что ничего из этого не

выйдет, так ещё и создание, анонсированное в названии романа, оказывается настолько злобным, что нет смысла пытаться с ним договориться, его нужно просто уничтожить). Тут и любимая сюжетная композиция Лема: главным героем, глазами которого мы видим эту историю, является дилетант, случайный прохожий, втянутый во что-то, чего он не понимает (как Роберт Смит из «Астронавтов», Ийон Тихий или другие герои коротких форм). И есть, наконец, несколько художественно представленных второплановых персонажей, с обязательным сумасшедшим учёным и молчаливым инженером.

Родители Лема скрывались тогда «около Городоцкой, в какой-то боковой улочке» (Бересь) и «где-то возле Браеровской» (Фиалковский). Снова какой-то маскарад: Лем хорошо помнит адрес – это действительно была улица Коссака[84], – но имеет свои причины, чтобы его не открывать (как обычно: умышленно утаивает личности особ, которые их скрывали).

Можем догадаться про его страх и одиночество этого периода, читая один из наиболее впечатляющих фрагментов «Неутраченного времени», сцены облавы, в которую попадает Стефан. Насколько Кароль Владимир Вильк как бы «лучший Лем», настолько Тшинецкий является Лемом-недотёпой, менее рассудительным, которого постоянно используют. Во втором томе оказывается, что в «Больнице Преображения» эксцентричный поэт Секуловский (списанный с Виткация[85]) сделал его исполнителем своей последней воли.

Привлекает внимание некий Долянец, исключительно отвратительный второплановый персонаж, гиена, делающая бизнес на скупке имущества жертв немецкого террора. Долянец соблазняет Стефана, который вместе с ним приезжает в неназванный город, очевидно, Львов. В городе живёт его отец, который отсутствует на страницах всей трилогии (линия Тшинецкого – это, по сути, постоянная попытка найти общий язык с отцом – далёким и непонятным, как существо с другой планеты). Они приезжают на поезде на территорию *nur für Deutsche*[86] (у Долянца есть деньги и возможности!), и он планирует переночевать у отца. Но он не желает разговаривать с ним о своих планах, принимая решение приехать так поздно, чтобы сразу лечь спать. Время до вечера он пережидает у коллеги из института. В городе, в котором установлен комендантский час, это очевидное самоубийство, безрассудный план.

Тшинецкий сначала ведёт себя как нормальный приезжий в нормальном городе, но этот город постепенно превращается в ночной кошмар. Стефан заходит в «кафе за углом», чтобы позавтракать: это ужасно, ему подали «резиновую булочку и чай

со вкусом тряпки». Потом он хочет посетить парикмахера, но тут появляется первый укол страха. Входя в парикмахерскую, в дверях он сталкивается с мужчиной с лицом «асимметричным, с каким-то жестоким, недовольным выражением. Наверное, еврей, подумал Стефан и обомлел, потому что это было его собственное отражение в большом зеркале, достигающем пола». Стефан начинает ощущать, что все смотрят на него с подозрением, и даже после бритья он был недостаточно похож на арийца.

Наконец, за пятнадцать минут до комендантского часа он добирается до квартиры отца и тут узнаёт, что тот уехал на два дня. Он проводит ночь на вокзале и на следующий день ещё сильней напоминает скрывающегося еврея. Он снова завтракает в следующем кафе – так же плохо, как и прошлый раз. Он ищет парикмахера. Но все прохожие выглядели так, словно спали или, что хуже, внезапно просыпались и начинали внимательно рассматривать Стефана и его истощённое, заросшее лицо.

Стефан пытается не впадать в панику. Он останавливает кого-то на улице, вежливо поднимая шляпу. «Я очень извиняюсь, – говорит, – вы не знаете, где тут есть открытая парикмахерская?» Отвечают ему только подозрительным взглядом. Потом внезапно кто-то бежит по улице, предостерегая его: «Убегай! Там, за углом!» Стефан знает, что речь идёт об облаве на евреев, но отвечает бормотанием, «растерянный и перепуганный одновременно: «Но я же не еврей». Напрасно. Группка играющих на улице подростков начинает указывать на него пальцами, раскрывая его происхождение. Сначала один из них «делает еврея», что автор описывает так: «Он минуту пялился на него, потом внезапно скосил глаза, вытянул губы, поворачивая их влево, и со всей силы зажал пальцами нос. Другие дети сначала шипели «Шш», а потом кричали: «Жииид! Еврей! Юда! Юда убегает! Юдааа!»

Его схватили немцы. Оценка уличных подростков для них важней, чем арийское удостоверение личности, которое перепуганный Стефан им показывает. Немец реагирует на него ироничным: «Du bist also kein Jude, was? Sehr schön!» («Ты не еврей? Ну и прекрасно!») Стефан попал на площадь, с которой их вывозили в Белжец, и описывает страх людей, ожидающих смерти:

> «*Несколько подростков проталкивали в щели между досками яд в маленьких конвертиках. Цена одной дозы цианистого калия была высокой. Евреи, однако, были недоверчивыми: в конвертах преимущественно находился мел*».

Стефан вышел из всего этого живым, что на самом деле было бы нереально. Ведь Белжец не был концлагерем, он был лагерем смерти, в нём нельзя было делать то, что описывается в романе: вступить в разговор с немцами и благодаря этому быть отделённым от группы, предназначенной на смерть, и переведённым в группу для работы. Можно было получить дополнительные пару месяцев жизни на работе в зондеркоманде, обслуживающей газовые камеры. Однако я думаю, что описание ужаса улиц Львова стопроцентно реалистическое.

Последнюю публичную казнь – уже не евреев, а поляков и украинцев – немцы провели в феврале 1944 года, а последнюю непубличную (на Пясках – там, где раньше убивали евреев) в конце апреля 1944 года[87]. Потом уже у немцев было слишком много проблем в связи с приближением Восточного фронта.

Русские подошли к городу летом, но долго отказывались от наступления. Наконец они решились на манёвр окружения – с севера город обошла 60-я армия в направлении Жолквы, с юга – 68-я армия на Городок Ягеллонский.

Повторилась ситуация 1941 года, когда русские то покидали Львов, то возвращались в него. Большинство немецких сил отступили 18 июля. Остатки воинских частей забаррикадировались в Цитадели в центре города. Красная армия окружила город, но не вступала в него, давая немцам несколько дней на уничтожение польского восстания, проводившегося в рамках операции «Буря».

Для Лема это тоже стало временем ужаса. В какой-то момент до него дошёл слух, что отступающая дивизия СС «Галиция» собственноручно совершает погромы. Он в панике убежал в район Погулянки, что тянулся вблизи улицы Зелёной. Он с юмором рассказывает Фиалковскому, что потом его смешили вещи, которые он с собой захватил: «несколько кусков сахара, какие-то носки, один сапог».

Большинство боёв во Львове жители дома на Зелёной пережидали в подвале. В этом случае «большинство боёв» означает несколько дней, даже неделю (речь идёт про период с 18 по 27 июля). Они слышали, как последний немецкий патруль стучался в ворота каменицы. Они лихорадочно совещались, открывать или нет. Они решили не открывать, вероятно, правильно.

Лем описывал Фиалковскому, что дважды за это время совершал поступки, равные самоубийству. В какой-то момент в подвале он вспомнил, что на кухне осталась кастрюля холодного борща. Он поднялся наверх, чтобы поесть, но как только зачерпнул из кастрюли – бабахнуло, а когда он пришёл в себя, то

держал в руке только ручку от кастрюли, которую уничтожил взрыв, вместе с другим кухонным инвентарём. «Если бы я встал на метр дальше, то погиб бы», – вспоминает Лем, добавляя, что «несколько дней назад» (!) он выскользнул из этого подвала, чтобы наконец помыться, но услышал, как взрывы звучат всё ближе, «закончил купание со сверхъестественной скоростью». Этот взрыв, скорее всего, стал причиной его проблем со слухом, которые мучили писателя всю жизнь.

Когда выстрелы стихли, он отправился в центр города, чтобы наконец увидеть родителей. Это было где-то 22 июля – Львов оказался занят тем же львовско-сандомирским наступлением, которое привело к взятию Хелма и Люблина, а также к символической дате основания ПНР. Лем вспоминал Фиалковскому:

> «*По мере продвижения к центру города, я встречал всё меньше людей. А когда дошёл до Иерусалимского сада, не было вообще никого. Однако я шёл дальше и вдруг услышал характерный звук мотора «Пантеры» и грохот гусениц по мостовой. Я обернулся и, естественно, увидел, что, правда вдалеке, ко мне приближается немецкая «Пантера» […]. Я хотел забежать в какой-то подъезд, но все двери были закрыты. Я мог только забиться в нишу и ждать, что будет дальше. От танка не убежишь*».

К счастью для Лема, прежде чем экипаж «Пантеры» успел подстрелить его, сам уже полыхал живьём из-за меткого выстрела замаскированного русского противотанкового отряда. «Я слышал страшные крики людей, горящих внутри», – вспоминает Лем. И это был последний крик немецкого оккупанта, который он слышал.

Через короткое время Львов оказался ничьим, то есть польским, и это было опасное время. Лем вспоминал, что своего отца, который хотел присоединиться к операции «Буря», в последний момент он задержал на ступенях, когда тот решил выйти на улицу с бело-красной повязкой «Военный врач Армии Крайовой». Это было бы самоубийством. Русские приняли помощь Армии Крайовой при захвате города, потому что у них не было пехоты. В скором времени после взятия Львова они схватили несколько тысяч своих «союзников» с бело-красными повязками. Часть из них убили, часть сослали в лагеря, часть стала служить в Красной армии.

Судьба Самюэля Лема, если бы его схватили с такой повязкой, была бы, несомненно, страшной. Русские некоторых участников Армии Крайовой убили сразу, без суда, других

отправили в лагерь, где больной пожилой человек не смог бы выжить.

В жизни Станислава Лема началась третья оккупация, о которой известно меньше всего. Лемы должны были в советском Львове вести очень осторожную игру. Выжившие в холокост, к сожалению, не могли в СССР рассчитывать на то, что кто-то им скажет: «Вы пережили холокост! Это замечательно! Вот медаль за победу, а это вознаграждение за терпение!» Во время немецкой оккупации спасение обычно требовало сотрудничества с неоднозначными моральными субъектами, такими как Кремин или Долянец. Требовалось давать взятки за фальшивые документы и щедро платить смельчакам, готовым прятать евреев в своих домах или квартирах. Взяточничество, фальсификация и владение валютой было запрещено в СССР, поэтому те, кто скрывался, и те, кто скрывал, после войны не хотели, чтобы их спрашивали, что стало с золотыми монетами, которыми евреи платили за спасение.

При тоталитарном режиме не нужно было совершать преступление, чтобы попасть в тюрьму. Достаточно было подозрения. Упомянутая уже семья Кимельманов была в шаге от серьёзных проблем – информатор НКВД подслушал в 1945 году Макса Кимельмана, который говорил по-немецки, и принял его за шпиона. Кимельман провёл пять месяцев в киевской тюрьме без какого-либо приговора, к счастью, семье удалось его вытащить, а позднее выехать из СССР.

Новым оккупантам Лем не мог признаться ни в своей работе в *Rohstofferfassung*, ни в том, что использовал фальшивые документы. Если Армия Крайова действительно имела что-то общее со спасением Самюэля и Сабины Лемов с улицы Бернштайна или прямо из гетто – это также должно было остаться в тайне. На всё это у нового оккупанта было только три ответа: пять лет лагеря, десять лет лагеря или расстрел (приговоры того времени ужасно однообразны, советские судьи словно из принципа не выдавали других приговоров, чем пять лет, десять лет или смерть, и неясно, чем они при этом руководствовались).

Прежде чем мы бросим камень в тогдашних россиян, вспомним поразительное равнодушие, которое современные поляки проявляют по отношению к разным «старикам вермахта». Ведь кашубы[88] или силезцы также оказывались перед выбором: служба немцам или смерть.

В любом случае я предполагаю, что в этом, по-видимому, кроется объяснение сенсационного документа, недавно опубликованного Виктором Язневичем, в советских архивах он нашёл написанное, скорее всего, рукой Лема в октябре 1944 года

заявление о поступлении в политехнику с обоснованием, что мечтает строить танки для Советского Союза[89]. Сам Язневич интерпретирует это так: вряд ли Лем решил загубить два года трудного обучения на медицинском, скорее всего, хотел иметь какую-то бумагу, которая свидетельствовала бы о его лояльности в случае возможного судебного процесса по делу о его работе в *Rohstofferfassung*[90].

До суда, к счастью, не дошло. Лем возобновил обучение на медицинском. Раздел о военном кошмаре закончим грустным воспоминанием, рассказанным Фиалковскому. Сразу после того, как немцы ушли, во Львове начался «грохот и стук, как в Клондайке». Это новые жители еврейских камениц (также и той, что на Браеровской, 4) разбивали кирками стены подвалов в поисках еврейского золота. Такова голая правда об этом своеобразном виде, который наблюдался «Граммплюссом в самом тёмном закоулке нашей Галактики, – *Monstroteratum Furiosum* (тошняк-полоумник), называющийся *Homo Sapiens*»[91].

# III
# Выход на орбиту

В каком году, собственно, Лемы переехали в Краков? Этот на первый взгляд простой вопрос был на протяжении многих лет предметом очередной лемовской игры подобия правды, которой поддавались даже величайшие специалисты. На протяжении длительного времени, например, на официальной странице *Lem.pl* висела ошибочная информация (1946), которая появилась из дословной трактовки ответов Лема, что приехали они «одним из последних транспортов», потому что отец слишком долго откладывал переезд[92].

Когда я пишу эти слова, ошибочный год также указан в статье про Лема в польской Википедии. То же самое в российской биографии Лема, написанной Прашкевичем и Борисовым[93]. Авторы собрали книгу из публичных высказываний Лема и попали в западню. Там вообще не появляется, например, вопрос происхождения Лема, не согласуются некоторые даты, в том числе и дата репатриации.

Обратите внимание на мастерство, с каким Лем умеет и не соврать и правду не сказать. «Одним из последних транспортов» – что это, собственно, означает? Всё является «одним из последних». Это одна из последних страниц этой книги, а вы её читаете в один из последних дней своей жизни. Естественно, перед вами ещё много дней и много страниц. Но с чисто логической точки зрения – я не соврал.

Посмотрим на эти два соседних предложения в разговоре с Бересем: *«Те, кто выехал в 1945 году, могли забрать с собой мебель. Мы, после того как оформили документы в Главном репатриационном управлении, выехали из Львова с мизерным скарбом»*. Каждый читающий это непроизвольно заметит тут противопоставление ситуации «нас» (Лемов) и «тех, кто выехал в 1945 году». И поэтому можно подумать, что Лемы выехали в следующем году.

Впрочем, много поляков во Львове задержали выезд по патриотическим причинам. Они надеялись, что если в городе останется польское население, то это будет способствовать будущему возврату Львова. Эта позиция была наивной, потому что для Сталина принудительное выселение десятков тысяч жителей не было проблемой, а в Польшу или в Сибирь, это уже было второстепенным вопросом. Поведение этой группы хорошо описывает в своих мемуарах Ришард Гансинец, который ещё в

1945 году утверждал, что «только евреи перелетали за Сан[94]. Но в конце и он выехал 11 июня 1946 года, через год после Лемов[95].

Лемы переехали в Краков летом 1945 года. Я сказал бы, что они уехали одним из первых транспортов. Они опередили большинство известных «институциональных» эшелонов, которыми на Возвращённые территории эвакуировали кадры польских учреждений, таких как театры, учебные заведения или Оссолинеум. Так называемый университетский эшелон отправился, например, во Вроцлав 28 сентября 1945 года. Когда он приехал, Самюэль Лем уже работал в краковском госпитале[96].

Зачем Станислав Лем петлял в этом безобидном вопросе? Он делал это систематически, поэтому нельзя списать это на счёт обычного недопонимания. Он использовал это даже для дезинформации друзей в личной переписке. Когда в начале семидесятых профессор Владислав Капущинский, первый самопровозглашённый лемолог[97], попросил писателя прислать жизнеописание, Лем написал ему, что семья переехала в Краков «в 46»[98]. Мог ли он в таком деле ошибиться? Такие даты запоминаются обычно на всю жизнь.

Лем при использовании очередного шифра что-то хочет спрятать, а что-то говорит между строчками. Постоянным элементом его рассказа на эту тему была обида на отца, что тот не решился на переезд раньше и ждал слишком долго, а в результате этого Лемы утратили почти всё имущество, за исключением кое-каких мелочей, и, что важнее всего для Станислава Лема, немецкую пишущую машинку и «пару книг».

Имущество Лемы потеряли не потому, что долго тянули, а только потому, что были евреями. Немцы конфисковали имущество евреев, доверяя его «поверенным», например Кремину. Единственным шансом на спасение, по крайней мере части имущества, было заключить соглашения с тёмными личностями, такими как герои второго плана в «Среди мёртвых» (Лем смоделировал их из аутентичных гиен, с которыми столкнулся во Львове)[99].

Очень интересной личностью является некая Мария Хуцько – украинка, которая перед войной была экономкой каменицы «адвоката Гельдблюма». Когда пришли немцы, Гельдблюм переписал на неё свой дом в обмен на обещание, что женщина сохранит хотя бы мебель и картины. Лем описывает её довольно язвительно. Хуцько занималась тайно проституцией, хотя у неё не было ноги. Ей все платили, но больше «не возвращались». Язвительность не пощадила и адвоката, который «с облегчением» перебирается в гетто. Всезнающий рассказчик «Среди мёртвых»

пишет:

> «*Гельдблюмы оставили дом, в котором жили восемнадцать лет. Адвокат был даже рад, потому что соседи в последнее время не жалели для него унижений. Он думал, что в гетто евреям будет спокойней. В доме осталась Мария Хуцько*».

Гельдблюм, безусловно, не является *alter ego* Самюэля Лема, который, очевидно, никогда не надеялся, что «в гетто евреям будет спокойней». Но сам механизм потери имущества работал точно так же – сначала находили того, на кого фиктивно переписывали недвижимость с устным обещанием, что «после войны» как-то всё урегулируется. И чем больше боялся еврей, тем сильней изменялись предполагаемые условия.

Мария Хуцько – это выдуманный персонаж, хотя взят из реальности, как и большинство героев из «Среди мёртвых». Немного напоминает ту аутентичную особу, описанную двенадцатилетней Хешелес, у которой не было причин играть в какие-то литературные игры. Она пряталась (и попалась) вместе с мамой у некой Кордыбовой, которой было «шестьдесят, а она притворялась, что 35, а на мужа говорила, что это её отец».

Можно понять ужас, скрывающийся в неосторожном заявлении, которое Лем сделал Фиалковскому, – после вторжения россиян Лемы уже не могли вернуться в каменицу на Браеровской, «потому что там жил уже кто-то другой». Кто? Я этого не знаю, но, наверное, кто-то типа Марии Хуцько, если не Долянца.

Откуда тогда настойчиво возвращающаяся обида на отца, что Лемы не уехали из Львова раньше? Если бы речь шла об обычной репатриации в рамках главного репатриационного управления, отъезд можно было бы ускорить только на месяц. Это не много бы изменило в ситуации Лемов и точно не помогло бы сохранить имущество. Я допускаю, что предложение переезда в Краков появилось раньше – во время немецкой оккупации. Давайте подумаем над важным в этом контексте вопросом: почему именно Краков? Ведь львовян переселяли на Возвращённые территории, обещая им недвижимость немцев.

Поезда из Львова шли во Вроцлав через Ополе, Катовицы и Бытом. И там в результате оказывалось большинство репатриантов, хотя условия на этих станциях были ужасными. Поезд теоретически мог ехать во Вроцлав, но, бывало, уже в Бытоме советский персонал говорил репатриантам: выгружайтесь[100].

И они «выгружались», а потом месяцами перебивались на

вокзальных руинах. «*Если будет регистрация на выезд в Польшу, не соглашайся. Лучше сиди дома. Те, кто приезжает, сидят на станции два месяца голодные и холодные. Никто о них не беспокоится*», – писал своей жене летом 1945 года какой-то солдат, процитированный Марцином Зарембой в «Большой тревоге». Неизвестно, что сделала жена, потому что это письмо задержала военная цензура (и потому, собственно, Заремба мог его процитировать).

Лем не рассказывал своим собеседникам про такие неприятности, хотя Бересь пытался из него их выудить. Он вспоминал, что от Пшемысля персонал поезда был уже «точно польским» (хотя неизвестно, откуда он может это знать, если на протяжении всего путешествия не видел этот персонал в глаза – в этом вопросе уверенность Лема разминулась с мнением историков).

Почему горемыки, перебивающиеся на вокзале в Бытоме, не сделали то же, что и Лемы, – не вышли раньше в Кракове? Потому что надеялись на немецкие квартиры, на которые не могли рассчитывать в перенаселённом Кракове. В то же время Лемов уже ждал дом на улице Силезской, 3.

Откуда взялась эта квартира? Лем описывает её как квартиру «мужа нашей подруги» (Фиалковскому), «пани Оли[101] – бывшей «белой» русской, нашей близкой подруги. По-польски говорила с русским акцентом», а Лемы встретили её в поезде (Бересь). Я предполагаю, что было всё наоборот: эта пани Оля была «женой их друга», а конкретно – друга Самюэля Лема.

Вот поэтому в этой истории снова появляется семья Колодзеев, о которой я писал в предыдущем разделе. Эта пани Ольга, вероятно, была арийской пассажиркой дрожек, когда они спасали Лемов с улицы Бернштайна. Знакомство Лемов с Колодзеями произошло раньше, чем обе мировые войны, как мне это описывал Витольд Колодзей. Его дед Кароль родом из городка Стрый под Львовом. Он был ларингологом так же, как и Самюэль Лем, и так же, как и он, попал в русский плен после капитуляции Пшемысля.

Судьба Кароля Колодзея сложилась иначе. Если Самюэль Лем оставил во Львове невесту и после революции сразу же отправился через всю страну, охваченную гражданской войной, чтобы жениться на ней, – то Колодзей влюбился в россиянку, именно в пани Олю. Он осел в Орске и отложил возвращение в страну. Между Орском и Львовом пролёг польско-большевистский фронт, поэтому он вернулся (вместе с женой) лишь в 1922 году.

Лемы и Колодзеи подружились во Львове. Глав обеих семей объединяло общее военное прошлое и страсть к бриджу и другим

карточным играм. Колодзеи принадлежали[102] к кругу знакомых, с которыми родители Лема ездили в воскресенье «за город – платили пошлину за шлагбаум», чтобы «за шлагбаумом в направлении Стрыя, при Стрыйском шоссе» остановиться в саду «ресторации пана Руцкого», чтобы «резаться в картишки»[103].

Мечислав Колодзей (сын Кароля, отец Витольда) был ненамного старше Станислава Лема. Небольшой разницы в возрасте хватило, чтобы их военные судьбы оказались совершенно разными. В 1938 году его зачислили в военное училище. Он должен был вернуться летом 1939 года, но ввиду надвигающейся войны отменили все увольнения.

Пакт Молотова – Риббентропа, хотя для Польши как страны он был драматическим несчастьем, в каком-то смысле спас жизнь Мечиславу. Из подобных ему курсантов резерва поспешно был сформирован отряд, который не имел никакой реальной боевой ценности – на роту солдат приходился один автомат. Если бы немцы оказались с ними на поле боя, то перестреляли бы их, как уток. Однако немцы прекратили наступление, прежде чем подошли к их позициям. После 17 сентября уже стало известно почему. Военному подразделению Мечислава Колодзея осталось только пересечь венгерскую границу, где их интернировали. В Венгрии он провёл остаток войны[104].

Кароль Колодзей в Краков переселился в начале войны и успел там неплохо устроиться, про что Лем рассказывал Бересю (постоянно избегая имён и фамилий). «*Он стал работать на фабрике конских скребков и каждое воскресенье ходил на скачки. Он вёл достаточно роскошную жизнь. Это он приготовил нам помещение на Силезской, дом 3, квартира 2*».

Эта квартира, как я думаю, ждала Лемов давно. Военные друзья поддерживали между собой связь. Поэтому это не было случайной встречей Лемов с «пани Ольгой с дочерью» в поезде, а всё наоборот: это давно спланированная с её мужем совместная операция.

Если бы Лемы переехали в Краков раньше, то им не нужно было бы оплачивать разных хозяев львовских конспиративных квартир, типа «семьи Подлуских». Может быть, им удалось бы сохранить больше денег. В чужом городе им не нужно было скрываться – они могли со своими фальшивыми документами спокойно гулять на Плантах, без страха, что их узнает случайный вымогатель.

Моя гипотеза такова, что настойчиво возвращающаяся обида на отца о позднем отъезде связана на самом деле с отказом от предыдущих приглашений Колодзеев. Замечу, что это только гипотеза: когда я её представил Витольду Колодзею, он сказал,

что не может её ни подтвердить, ни опровергнуть. Такое приглашение могло появиться раньше, но мы никогда не узнаем, так ли это было.

В любом случае эта гипотеза объясняет несколько загадок, прежде всего вопрос обиды за «позднюю репатриацию». И не было бы разговоров о том, как много людей неправильно поняли, что Лемы выехали лишь в 1946 году, а только о том, почему не выехали, например, уже в 1941 году. Это бы тоже сразу прояснило причины, по которым Станислав Лем скрывал эту проблему за какой-то странной полуправдой. Честно говоря, это раскрыло бы роль, которую семья Колодзеев сыграла в спасении семьи Лемов.

В конце концов, лишь с недавних пор мы можем в Польше открыто говорить о том, что польские «Праведники народов мира» предпочитают не раскрывать своего героизма. Если бы пани Ольга публично рассказала о своей смелой поездке на дрожках, то могла бы привлечь к своей семье интерес «искателей еврейского золота», о которых Лем с горечью рассказывал Фиалковскому. Ведь тогда сразу бы кто-то подумал: «интересно, сколько ей за это заплатили». А кто-то: «интересно, где она это прячет». А в ПНР, как вспоминает Борис Ланкош в гротескном фильме «Реверс», сокрытие хотя бы одной золотой монеты считалось преступлением.

Придерживаясь этой нумизматической метафоры: всё время в ПНР мы не могли искренне говорить ни об аверсе, ни об реверсе укрывательства евреев – ни о подлости шпионов, ни о благородстве «Праведников». Раньше или позже эти разговоры завёл бы в тупик вопрос о проклятом еврейском золоте.

У меня снова нет сильных аргументов в пользу своей гипотезы. Есть только сильное предчувствие, что обида Лема на отца за поздний переезд должна была иметь какие-то основания, о которых Станислав Лем не хотел говорить публично. А ведь у него не было причин для такой обиды – по сути, все решения Самюэля Лема оказались верными. На каждом этапе этой беспощадной игры, которую евреям навязали немцы, отец выбирал лучшие из возможных стратегий. Он доверял правильным людям, избегая фальшивых надежд. Летом 1941 года недостаточно было иметь деньги и связи, много богатых и влиятельных евреев погибло либо в погромах, либо в последних операциях. Не все взяточники имели эту своеобразную этику, которой руководствовался Кремин, – если ему платили за охрану, то он, по крайней мере, охранял. В конце концов, самым простым сценарием для действительно деморализованного человека было взять деньги с еврея и тут же убить или сдать его. И, к сожалению, таких людей хватало.

В здравом рассудке Станислав Лем должен был восхищаться решениями отца. Я, например, восхищаюсь, воссоздавая их спустя много лет. И он мог бы это восхищение высказать Бересю или Фиалковскому, как-то по-своему кружить в полуправде, не касаясь еврейской проблемы. Вместо этого мы слышим жалобы, что отец слишком долго ждал. Как это объяснить? Возможно, на это накладывается другая семейная ссора. Лем ещё раньше повторял, что ему не нравится медицина. Он выбрал её из-за настояний отца (который сам стал врачом под напором своей семьи). А Гитлер и Сталин как-то сговорились, чтобы Львов захватить летом, из-за чего Лему не удалось избежать ни одной экзаменационной сессии.

Отъезд из Львова удалось бы ускорить на месяц или два, но это означало бы для Лема пропуск летней сессии. Как он вспоминал Фиалковскому, она была исключительно сложной, потому что по какой-то неизвестной причине украинские преподаватели намеренно хотели «завалить» его.

Будучи амбициозным студентом, Лем не мог такого допустить, поэтому эта сессия стала для него вызовом. Преподаватель химии, некий доцент Собчук, так долго спрашивал Лема, пока не нашёл какой-то пробел в его знаниях и с удовольствием поставил ему четвёрку вместо пятёрки, несмотря на то что он выучил «толстый учебник органической химии Абдергальдена почти наизусть». Однако он не помнил что-то про «вещества, вырабатывающиеся в мозгу определённого вида китов».

В тот самый период Лем написал работу «Теория функции мозга». Я держал в руках эту рукопись и, честно говоря, ужаснулся. Работа выглядела как псевдонаучный трактат самозваного гения, который хотел написать научный текст, но имел только призрачное понятие о том, как такая работа должна выглядеть. Например, он знал, что в работе должен появляться время от времени какой-то график, поэтому украшал свои выводы кривыми, в которых неизвестно было, что на какой оси находится.

После прибытия в Краков Лем продолжил изучать медицину, только искал какого-то настоящего учёного, который оценил бы его гениальную работу. Так он попал к доктору Мечиславу Хойновскому (1909–2001), что было для нас чрезвычайно удачным стечением обстоятельств.

Лем описывает Хойновского как человека компульсивного, который всегда говорил всю правду в лоб, неспособный или просто не желающий ходить вокруг да около условностей, – «правдолюб», как Лем лаконично это обозначил. Доктор оценил

«Теорию функции мозга» как полную чушь, но, видя запал и образованность двадцатидвухлетнего студента, пригласил его сотрудничать в возглавляемых им науковедческих лекториях, в рамках которых молодые ассистенты Ягеллонского университета навёрстывали отсталость от мировой науки.

«Хойновский оказал влияние на всю мою жизнь», – вспоминал Лем Бересю, а Фиалковскому добавлял: «Хойновскому я обязан своим самым важным научным образованием». Благодаря участию в лекториях Лем понял, как работает наука, – это знание отличало его как писателя *science fiction* от большинства его коллег по цеху и дало нам такие шедевры, как «Солярис» или «Глас Господа». Хойновский отругал Лема за незнание английского, объясняя ему, что это лишает его возможности читать важнейшие публикации. Что он блестяще наверстал, прогрызаясь со словарём в руках через рекомендованные книги. Как самоучка Лем обычно произносил английские слова на польский манер (например, «Прин-ци-тон», вместо Принстон), он овладел языком зрительно, а не на слух.

Хотя Лем формально был студентом третьего курса, Хойновский взял его на полставки как сотрудника издаваемого при лекториях ежемесячника «*Życie Nauki*». Заданием Лема было вести обзор научной прессы, которую по просьбе Хойновского присылали американские и канадские учебные заведения. Лем получал за это пятьсот злотых в месяц, что имело большое значение для семейного бюджета. Лемы сначала жили бедно. Даже несмотря на то, что Самюэль Лем должен был уйти на заслуженную пенсию ещё десять лет назад, он всё ещё продолжал работать в больнице.

Наверняка Лемам лучше было в квартире на Силезской, чем на вокзале в Бытоме, но и в Кракове условия оставляли желать лучшего – особенно в свете сегодняшних критериев. Эта квартира была (а собственно, и сейчас есть) двухкомнатной. Что, правда, у неё очень хорошая локализация в центре Кракова, везде оттуда близко, но кроме этого у неё мало преимуществ. Первый этаж, окна выходят на задний двор-колодец, и ужасно тесно, в таких условиях ютились Лемы и Колодзеи. У Станислава Лема не было собственной спальни, не говоря уже о кабинете. Он занимал так называемую нишу, или что-то, что сейчас назвали бы пристройкой, немного большей, чем шкаф, но решительно меньше, чем комната. В той нише ночами он продирался через «Кибернетику» Винера или «Теорию информации» Шеннона с английско-польским словарём, чтобы составить краткий обзор для «*Życia Nauki*».

Сама возможность зарабатывания таким образом пятисот

злотых ежемесячно привела к тому, что Лем окончательно оставил мечты о какой-либо другой карьере, которую он начал ещё во Львове. В *Rohstofferfassung* он научился сварочному делу и резке ацетиленом.

В послевоенной Польше это позволило бы ему зарабатывать сразу две тысячи злотых, без каких-либо обучений и сидения над книгами по ночам. Если бы Лем взялся за это с такой же энергией, с какой он сотрудничал с Хойновским, то быстро бы стал начальником цеха и на какое-то время улучшил бы финансовое положение.

Родители были расстроены его планами бросить медицину. Мама до конца жизни, когда Лем уже стал писателем, которого издавали во всех уголках земли, укоряла его из-за этого решения. Как бы она отреагировала на его выбор стать сварщиком? К счастью, это неизвестно, благодаря Хойновскому.

Лекторий проводился в частной квартире доктора, на улице Словацкого, «меньше чем в минуте ходьбы с Силезской». В своей предыдущей книге про Лема[105] я выдвинул гипотезу, что Хойновский является образцом большинства гениально-безумных учёных в прозе Лема. Тарантога, Донда, Троттельрайнер, Коркоран, Сарториус, Зазуль и Влипердиус имеют много общих черт. По правде, это один и тот же герой под разными фамилиями, властный и правдолюбивый, склонный к языковым архаизмам. На фоне других гипотез, которые представлены в этой книге, эта мне кажется достаточно обоснованной.

Каким-то чудом Лему удалось совмещать сотрудничество с Хойновским не только с обучением, но также с литературным увлечением. На самом деле это было не чудо, а только бессонные ночи. Творческие стремления привели его к встрече с другим человеком, о котором он говорил, что тот его «направил, сформировал»[106], – Ежи Турович, легендарный редактор еженедельника «*Tygodnik Powszechny*».

Хойновский помог Лему понять науку. Турович – всё остальное. В погружённой в сталинское безумие стране Лем нашёл двух учителей, которые направили его интеллект в сторону независимых поисков на свой страх и риск.

Почему Лем сильно отличался как от других писателей *science fiction* в мире, так и от писателей в Польше *en masse*? Потому что его сформировали другие книги. Он читал то, что рекомендовали ему Турович и Хойновский, и поэтому он был лучше, чем обычный польский писатель, ориентирован в мировой науке, а также в гуманитарных науках в отличие от писателей *science fiction*.

Как хорошо, что Лемы перебрались в Краков, а не в Катовице или во Вроцлав! Во Вроцлаве, возможно, Лем и встретил бы кого-то такого, как Хойновский, но вряд ли бы он нашёл там среду, что напоминала редакцию «*Tygodnik Powszechny*».

Этот еженедельник был уникальной аномалией, единственным в своём роде журналом на восток от «железного занавеса». Он появляется под эгидой краковской курии, что позволяло редакции смотреть на мир не с антикоммунистической точки зрения, этого бы не позволила цензура, но, однако, с некоммунистической. Уже само это составляло вызов самой сути тоталитарной системы, которая по определению пытается всё подчинить одной идеологии.

Почему Лем, который до конца жизни утверждал, что является атеистом, так сильно привязался к католическому журналу? «Всё решил случай», – объяснял он Бересю. «Я заболел стихами, потому что это похоже на болезнь, и начал с ними ходить в разные места. Так и попал в редакцию "*Tygodnik Powszechny*", – писал он позже[107].

«Разными местами» стали редакции «*Odrodzenie*», «*Twórczość*», «*Kuźnica*» и даже «*ŻŻołnierza Polskiego*», в которые Лем носил образцы своего творчества. Иногда что-то печатали, и он получал гонорар. Он также сотрудничал с выпускаемыми в Силезии коммерческими журналами, которые хорошо платили, такими, как журнал «*Nowy świat przygód*», которому он продал в 1946 году «Человека с Марса», с еженедельником «*Co tydzień powieść*» и сатирическим журналом «*Kocynder*», работу с которым ему порекомендовала сама Шимборская, которая тоже писала туда для заработка.

Фиалковскому Лем продекламировал одно из своих тогдашних стихотворений:

> *«Жил да был один маньяк –*
> *Без покойника никак.*
> *Был увертлив и неглуп:*
> *Что ни вечер – новый труп»*[108].

Из всех тех редакций Лем лучше всего чувствовал себя именно в «*Tygodnik Powszechny*». Даже если фактически он попал туда случайно, потому что его стихи не взяли в других местах (Пшибось якобы «спустил его с лестницы» и «объяснил, что ему не стоит рифмовать»), то там чувствовал он себя как дома. Ритуал регулярных визитов в редакцию на улице Висльной продолжался так долго, пока позволяло здоровье, даже когда он вынужден был приостановить сотрудничество с «*Tygodnik*» по тактическим

причинам, о чём ниже.

Вернёмся в 1946 год. Лему двадцать пять, и он чувствует типичные для того возраста сомнения. Кем стать? Врачом? Писателем? Сварщиком? В этом прекрасном возрасте молодому человеку кажется, что всё зависит от него, в то время как дают о себе знать жизненные процессы, которые ведут его к его судьбе. Лему посчастливилось встретить хороших авторитетов и хороших друзей, поэтому всё пошло в хорошем для него направлении. В другом городе было бы всё иначе.

Его воспоминания о Львове – это воспоминания об одиночестве. Сначала одиночество ребёнка, которому не с кем играть, поэтому разговаривает со своей лошадкой и строит манекены из одежды отца, чтобы хотя бы они составляли ему компанию. Потом одиночество человека, вынужденного скрываться от оккупантов.

В Кракове, однако, Лем внезапно становится душой компании. Завязывает дружбу, которая будет длиться десятилетиями, среди прочих с коллегами Хойновского, такими, как юрист Ежи Врублевский, позже ректор университета в Лодзи. Он подружился также с краковскими писателями своего возраста, например с уже упомянутой Шимборской. Но прежде всего он знакомится с художественной богемой – Романом Хуссарским и его невестой Хеленой Буртан, которая происходила из семьи довоенных собственников известной фабрики в Цмелёве.

«Нам было тогда по двадцать пять, энергия кипела, и мы не осознавали ещё того, какую упряжь и подпругу начинает навязывать нам новый режим»[109], – писал Лем, вспоминая Хуссарского, умершего в 2004 году. Насколько воспоминания из Львова преимущественно меланхолические, даже когда касаются счастливого, но одинокого детства, настолько краковские, связанные с Хуссарским и Буртан, по крайней мере, светлые, хотя и страшные: однажды в связи с расследованием против сожителя Хуссарских управление безопасности устроило в квартире «котёл», из которого никто не мог выйти.

Лем описывал это таким весёлым тоном, словно речь шла о пикнике. Он попросил маму, чтобы та сварила ему кофе, потому что он уходит только на пять минут к Ромеку и вернётся, как кофе будет готов. Вернулся он через месяц, но в момент задержания ему удалось выкинуть через окно листок, адресованный отцу. «В то время человеческая солидарность была велика, он получил его через полчаса», – вспоминает Лем, добавляя, что потребовал от убэшников справку для учебного заведения, потому что из-за «котла» он завалил первый экзамен по гинекологии и акушерству. «Никаких справок мы не выдаём», –

ответили удивлённые убэшники[110].

Все тогда было игрой, даже работа. Хуссарский и Буртан профессионально занимались сакральной скульптурой. Однажды Хуссарский изготовил в своей мастерской огромного гипсового Христа, и лишь когда скульптура была готова, понял, что она слишком большая, чтобы её вытащить из мастерской. Лем попытался ему помочь, но закончилось это тем, что они упали с лестницы с Христом, который разбился на мелкие осколки. «Это было не смешно, но ситуация была такой гротескной, что мы смеялись до упада».

Хеля Буртан подарила тогда Лему его первую собаку, овчарку по имени Раджа: «Люди менее образованные не знали, что речь шла об индийском радже». Лем прошёл с Раджой «все Татры», он очень его любил. Овчарка трагически погибла, отравленная вакциной против бешенства низкого качества («естественно, советского производства», – добавил Лем Фиалковскому).

В этой атмосфере продолжающегося веселья Лем сделал что-то чрезвычайно безрассудное. Он написал гротескное произведение под названием «Низкопоклонство. Дррама не одноактная», которое было безжалостной насмешкой над сталинской идеологией. Главный герой – Дементий Психов, которого партия отправила в Америку, с целью подглядывания за тамошним методом производства «квашеной соды» (чем бы это ни было).

В Америке Дементий потерял глаз (империалисты пронзили его, когда он подглядывал через замочную скважину), а что хуже – идейную чистоту. Он пришёл к выводу, что «это так прекрасно иметь настоящее авто и холодильник». «Муж, брось это», – кричит ему товарищ-жена, Авдотья Недоногина. «Зачем тебе холодильник? Что ты там будешь держать, кальсоны?» До него пытается достучаться партийный секретарь, товарищ Вамья Этонессоветидзе[111] (скорее всего, грузин). В конце, к счастью, появляется генералиссимус *ex machina*, сам товарищ Сталин, и заявляет товарищу Психову, что он прощает его («голосом ужасно дружелюбным»).

Лем написал эти дерзости для круга знакомых Хуссарского и Буртан, довольно широкого, потому что туда входят также писатели (например, Ян Юзеф Щепаньский)[112]. Он сам играл все роли, больше всего было смеха, когда он читал женским голосом изречения Авдотьи Недоногиной. Это было очень рискованно, потому что среди зрителей были особы, которых Лем видел впервые[113]. Если бы в этой компании нашёлся хотя бы один доносчик, тогда это была бы последняя страница этой биографии.

Доносчика не было, зато была студентка медицины Барбара Лесьняк, младше Станислава Лема на девять лет. Они познакомились в 1949 или 1950 году[114], поженились в 1953-м и 1954-м (сначала венчание в костёле в сентябре, потом регистрация в феврале) и провели вместе пятьдесят счастливых лет.

В интервью Лем отчаивался, что ему не удалось сохранить «Низкопоклонство». Он записал своё исполнение на магнитофонную плёнку, которая растянулась и размагнитилась, поэтому её нельзя восстановить. А машинописная запись пропала, хотя Лем вместе с женой дважды обыскивали дом.

Уже после смерти писателя машинописную рукопись нашёл его секретарь Войцех Земек в папке с надписью «Испорченный детектив». Оказалось, что писатель нашёл достойный тайник для рукописи, то есть другую машинопись, а потом об этом забыл. Во время поиска он многократно держал в руках папку «Испорченный детектив», но ему даже не пришло в голову её перелистать. Незаконченный детектив вместе с «Низкопоклонством» появился в 2009 году в собрании произведений Лема издательства «Агора»[115].

Запись на магнитофонной ленте также удалось прочитать и перенести на цифровой носитель, благодаря экспертам Национального Аудиовизуального Института (фрагмент оригинального голоса тридцатилетнего Станислава Лема, играющего Дементия и Авдотью, можно услышать в документальном фильме «Автор “Солярис”»[116]). Кстати, можно увидеть, что Лем импровизирует во время исполнения этого произведения, потому что заметна разница между магнитофонной записью и машинописью.

Ещё интересно сравнивать «Низкопоклонство» с соцреалистической пьесой «Яхта “Парадиз”», поставленной 17 апреля 1951 года в Государственном Театре Опольской земли режиссёром Витольдом Ковешкой. Лем написал её вместе с Хуссарским, как обычно, для денег.

Эта пьеса всерьёз представляет соцреалистическую идеологию, но современный читатель, столкнувшись с фрагментами «Яхты…» и «Низкопоклонства», очевидно, не смог бы отличить пародию от оригинала. Лем и Хуссарский, когда писали «Яхту…», должно быть, и правда умирали со смеху, да и на премьере трудно было удержаться от хихиканья, когда, например, слуга нёс империалистам цитрусовые на подносе и споткнулся, фрукты упали на сцену, и раздался звук, напоминающий катание шаров в кегельбане. Фрукты были деревянной имитацией, потому что откуда в сталинской Польше

взяться настоящим апельсинам?

Мне кажется, что в отличие от большинства своих ровесников, пишущих в тот период соцреалистические произведения с пылкой убеждённостью, Лем никогда в эту идеологию не верил до конца, хотя сначала имел, по крайней мере, надежду на какую-то модернизацию страны. После 1989 года стало модным разыскивать произведения известных писателей, чтобы из их творчества вытаскивать разнообразные компрометирующие цветочки, но в случае Лема эти цветочки достаточно ненадёжны.

Кроме «Яхты “Парадиз”» и попытки написания типичного «рассказика», например «Истории о высоком напряжении», соцреалистическое творчество Лема сводилось главным образом к идеологическим вставкам в романах «Астронавты» и «Магелланово облако». Действие в этих романах происходит во времена, когда глобальная победа коммунистической партии открыла перед человечеством эру межпланетных («Астронавты») и межзвёздных путешествий («Магелланово облако»).

Самой коммунистической партии в этих романах, однако, мы не видим. Лем умело тут спрятался за марксистской доктриной, согласно которой конечной целью коммунистической партии должно быть сделать саму себя лишней. Это была, конечно же, уловка, потому что ортодоксальный марксистский критик сказал бы в таком случае, что обязанностью Лема было описание того процесса. Его тем временем больше интересовало воображение космического полёта, чем построение социализма. Лаконичные заметки, что это всё происходит после триумфа коммунизма, Лем добавил, чтобы к нему не приставали, на что ему пытливые критики и указывали. А кто говорит, что в «Магеллановом облаке» есть соцреалистический раздел под названием «Коммунисты», то это лишь доказывает, что он прочёл только содержание. Прочитайте остальное!

Также есть томик «Сезам и другие рассказы», в котором есть рассказ «Топольный и Чвартек». Сам Лем назвал его «наиболее соцреалистической гадостью, какую когда-либо писал». Но если честно, тут снова не так много идеологии, а больше оптимистического видения будущего, в котором рыночная экономика – как и в «Стар Треке» – уже является нелогичным пережитком прошлого. В Варшаве «над берегом заселённой Вислы мчит набережными бульварами автострада», и на фоне видны «стройные небоскрёбы с центральным силуэтом Дворца Науки» (что интересно: уже без «Культуры»)[117]. Что ж, я часто вспоминаю это описание, глядя на перспективы варшавского *skyline* с велосипедной дорожки вдоль моста Сикерковского.

Лем всю жизнь критиковал милитаризм и гонку вооружения, которую вели сверхдержавы, чтобы доказать, у кого выше оверкил[118]. Когда он мог свободно критиковать милитаризм как таковой, не глядя на флаг на водородной боеголовке, он это делал, например, в романе «Мир на Земле». Когда он мог свободно критиковать только американский милитаризм, ни словом не упоминая о советском, то критиковал. Но советский милитаризм никогда не хвалил, он просто не писал о нём.

Я встречался с аргументом, что соцреалистическим акцентом можно считать появляющиеся в ранних произведениях Лема персонажи харизматичных работников, таких как мастер Вох в «Больнице Преображения». Если самого противопоставления «харизматичный работник против антипатичного буржуа» должно быть достаточно, чтобы классифицировать это как соцреализм, то фильм «Moderato cantabile» Питера Брука является соцреалистическим, потому что работник там не только харизматичный, кроме того, его играет убийственно красивый, молодой Жан-Поль Бельмондо.

Думаю, работая физически в *Rohstofferfassung*, Лем просто стал с уважением относиться к людям, работающим физически, потому что понял, что их работа тоже требует долгого усовершенствования мастерства. Совсем не так, что каждый дурак сможет взяться за сварку, например, Лем никогда этому толком не научился.

Лем написал «Больницу Преображения» в 1948 году[119], из-за внезапно нахлынувшего вдохновения, или так называемого *furor scribendi*. Должно быть, это феноменальное явление. Насколько рассказы, опубликованные в 1946–1948 годах, были скорее слабыми и немногие из них говорили о будущем гении (некоторые из них Лем не позволял переиздать), настолько «Больница Преображения» была выдающимся романом. Она вырвалась из головы начинающего писателя, которому ещё не было тридцати, хотя его львовские переживания, к сожалению, принесли ему горькую привилегию ускоренного взросления. Вместе с тем свою настоящую травму Лем описал так тонко, что на первый взгляд мы не видим, что это роман автобиографический.

Главному герою, Стефану Тшинецкому, столько же лет, сколько и Лему на момент написания «Больницы Преображения». За исключением того, что события, показанные в романе, происходят на несколько лет раньше, в 1939 или 1940 годах, когда Стефан закончил обучение и начал работать в больнице для психически больных.

Но если действие книги разыгрывается до 1941 года, то что

на стороне немцев делает украинское вспомогательное подразделение? И где, собственно, это всё происходит? В несуществующей местности под названием Бежинец, что немного напоминает проблемы львовских «беженцев». Львовских акцентов тут больше, Агнешка Гаевская заметила, что характерное здание в центре больницы, «турецкая башня» неизвестного предназначения, вызывает ассоциации с львовским еврейским госпиталем, в котором есть такая синагога в мавританском стиле, благодаря проекту Казимира Мокловского[120].

Психиатрическая больница – это очередной лемовский шифр. Операция «Т4», то есть ликвидация психически больных, была для немцев прелюдией к последнему решению еврейской проблемы. Это именно в психиатрических больницах немцы испытали стационарную газовую камеру, которая потом использовалась в лагерях смерти, в таких как Белжец, где погибли дальние родственники Лема.

Лем не хотел открыто писать про холокост. Потому придумал литературный персонаж, который имеет еврейские черты, и если он не выспится, не побреется и не будет нормально питаться, то станет выглядеть, как скрывающийся еврей.

Кроме этого, автору удалось пристроить тут разные свои тогдашние увлечения – от Конрада до своей «Теории функции мозга», от «Волшебной горы» до Достоевского. Поднятые в романе философские, этические и когнитивные вопросы, такие как «этично ли пожертвовать одним человеком, чтобы спасти много людей?» или «как отличить рациональность от безумства?», и сейчас актуальны.

Лем отправил машинопись в издательство «*Gebethner i Wolff*» в 1949 году. Это был плохой год для польской литературы. На Щецинском IV конгрессе союза польских литераторов тогда был признан социалистический реализм как что-то обязательное для всех польских писателей. Не сильно было понятно, что это конкретно означает, но одновременно для исполнения этой доктрины начата ликвидация независимых издательств, чтобы показать, что соцреализм в данный момент принимается властью. Рукопись попала в Варшаву, в издательство «*Książka i Wiedza*», которое завладело «*Gebethner i Wolff*». И тут начались проблемы. «Каждые несколько недель ночным поездом, в самом дешёвом сидячем классе, ездил в Варшаву на бесконечные конференции в издательство», – рассказывал Лем Бересю. Ему говорили, что роман ущербен идеологически, и в связи с этим нужен противовес. И тогда из него выдавили следующие два тома: «Среди мёртвых» (1949) и «Возвращение» (1950).

Выступая в роли адвоката дьявола, скажу, что те обвинения были справедливыми. Роман не имеет ничего общего с соцреализмом, уж скорее с гуманистическим персонализмом, которым Лем заразился в редакции «*Tygodnik Powszechny*». «Больница Преображения» решительно осуждает таких героев, как Каутерс, – врачей или учёных, которые в людях видят безличностные случаи. Каутерс коллекционирует новорожденных уродцев в формалине, инструментально трактуя пациентов, а когда приходят немцы, он оказывается явным нацистом.

Проблема инструментальной трактовки человеческой личности не касалась только нацизма, это общая черта тоталитарных режимов. С той же системой ценностей Каутерс мог спокойно быть коммунистом. И, вероятно, им бы и оказался, если бы в больницу пришли не немцы, а русские.

Противовес фактически был нужен, не столько идейный, сколько композиционный: Лем закончил книгу мощной захватывающей концовкой. Читатель требует продолжения. Мы хотим знать, пережил Стефан войну или нет!

Лем, очевидно, не думал о читателях, только о себе. Он хотел представить собственную ситуацию: выпускник медицины, который потерял призвание к профессии. И человек, который чудом выбрался из-под горы трупов, поэтому переживает глубокие сомнения в человечности как таковой.

Роман понравился Самюэлю Лему, который пытался помочь в его публикации через своих знакомых в мире издательств. Трилогия вышла лишь в 1955 году во время хрущёвской оттепели, до которой отец Лема не дожил.

В 1949 году Лем окончил медицинский, но сознательно не сдавал последних экзаменов, потому что не желал быть врачом (похоже, это была непроизвольная польза от этого «котла у Хуссарского», потому из высказываний Лема выходит, что «хвосты» у него были по гинекологии и акушерству). В интервью он подаёт конкретную причину: он узнал, что его курс отправляют на пожизненную военную службу. Я отношусь к этому объяснению с долей скептицизма.

Я сам из докторской семьи, потому более-менее знаю, кем был в ПНР врач с офицерским званием. Это означало, что он работает, как и другие врачи, в обычной больнице или поликлинике. Только у него есть разрешение на оружие, талон на машину дорогой марки, несколько медалей в тумбочке и, наконец, ранняя и большая пенсия – одни преимущества! Периодические призывы на военные учения тоже не были слишком обременительны, потому что в армии врач даже лучше, чем интендант, – каждый хочет с ним жить в мире.

Думаю, что просто в 1949 году Лем уже знал, что не хочет быть врачом, а хочет быть писателем. Вопрос его службы в армии был скорее предлогом, чтобы объяснить всё родителям. Скорее матери, потому что отец, который был неудавшимся писателем, отнёсся к его решению с пониманием.

Выбор, перед которым стоял Лем, выглядел драматичнее, чем аналогичные дилеммы сегодняшнего времени. Сегодня можно быть одновременно врачом и писателем. Во времена ПНР профессия была чем-то, что фиксировалось в паспорте как описание внешнего вида или местожительства. Отсутствие записи о месте работы сигнализировало бы, что это человек из числа общественных отбросов – Лему грозила бы ситуация «Станислав Л., безработный».

Профессиональный писатель получал запись от Союза польских писателей, но, чтобы быть принятым в него, Лем должен был предоставить книгу. Рассказов и стихов, опубликованных в журналах, не хватало – на их основании можно было получить как максимум звание кандидата, но только на какое-то время, которое у Лема как раз заканчивалось.

Помочь могла бы работа в науковедческих лекториях, но это тоже закончилось. Официальной доктриной советской биологии должен был быть лысенкизм – сочетание абсолютно бредовых выводов, выдуманных шарлатаном Трофимом Лысенко, которому удалось убедить власти, что он репрезентует «прогрессивную» биологию, а учёные, критикующие его открытия, «оттягивают» прогресс, потому заслуживают смерть в лагерях.

Не говоря уже о том, что у Лысенко была кровь на руках, его работы были так же далеки от научного метода, как лемовская «Теория функции мозга». Лем, знающий этот метод благодаря Хойновскому, прекрасно понимал это и потому в своих анонимных аннотациях научных работ делал акцент на спасении польской биологии от лысенкизма.

В конце концов власти это заметили, и в 1950 году забрали у Хойновского журнал. Лекторий ликвидировали. Лем вместе с Врублевским в последний момент вынесли иностранные книги, потому что в этой ситуации они бы были просто уничтожены. Позже он рассказал об этом Бересю, после чего выслал книгу Хойновскому. Того, однако, это не растрогало, совсем наоборот – он потребовал от своего воспитанника публичных извинений за такой гнусный поступок (о чём Лем рассказывает в переиздании «Разговоров…» с Бересем, а также Фиалковскому).

Редакцию ежемесячника перенесли в Варшаву. Лем потерял даже свои полставки. «Я стал никем», – рассказывает он Бересю. Он не был ни студентом, ни писателем, ни редактором, ни

журналистом, ни учёным, ни врачом.

И снова его спас Краков. Лем, может, формально и не принадлежал к Союзу писателей, но имел достаточно неформальных контактов с краковскими писателями, чтобы ездить в закопанский дом творческого труда Союза писателей, обустроенный в довоенной вилле «Астория».

Частично это произошло по причинам здоровья: Краков уже тогда был знаменит плохим воздухом. Сейчас ничего не изменилось, и, вероятно, даже Лем, хоть и предвидел всё, не смог угадать полвека назад, что это будет проблемой даже во второй декаде XXI века. Проживание в Кракове в любом случае усугубляло аллергию, и Лем старался ездить в горы в период цветения, а также зимой. Да и вообще, при каждом удобном случае.

В 1950 году в «Астории» он познакомился с одним «толстяком», с которым пошёл на прогулку к озеру Чёрный Став Гонсеницовы. Об этой прогулке Лем рассказывал в нескольких интервью, которые отличаются весьма существенными деталями (в одних версиях Лем сразу знал, кто это, а в других – узнал позже). Они разговаривали о польских и мировых литературных традициях фантастики – о Грабинском, Уминском, Верне, Уэллсе.

«Толстяк» спросил Лема, если бы он получил заказ, то написал бы что-то подобное? Лем без сомнений сказал «да» (у него ведь уже был готов «Человек с Марса»). Две недели спустя ему пришёл издательский договор, так как «толстяк» оказался Ежи Панским, влиятельным редактором из издательства «*Czytelnik*». В договоре было оставлено пустое место для названия – Лем вслепую вписал «Астронавты», не имея даже понятия, о чём будет писать, но догадывался, что такое название зацепит.

Роман вышел в следующем году и решил для Лема сразу много проблем. Прежде всего он мог быть принят в Союз писателей на законных основаниях. Кроме того, со дня на день он станет пионером польского *science fiction*. В издании «Астронавтов» на обложке была отметка «научно-фантастический роман» (через дефис). Вероятно, это было первое в Польше издание, которое обозначалось калькой с английского *science fiction*, обретшего в США популярность благодаря стараниям упоминавшегося уже Хьюго Гернсбека.

С литературной стороны «Астронавты» были намного слабее, чем «Больница Преображения». Даже сложно поверить, что это один и тот же автор, к тому же старше на несколько лет. Однако на фоне общей нудной и серой соцреалистической литературы 1951 года роман засветился, как тунгусский метеорит, которому

был посвящён (Лем в поисках темы, вероятно, просто схватился за объявленную как раз в 1950 году гипотезу советских учёных Ляпунова[121] и Казанцева, что, возможно, это был не метеорит, а катастрофа внеземного летающего аппарата). Роман принёс Лему первые переводы: в 1954 году книга вышла в ГДР, фурор она произвела и в СССР.

В Польше роман пробудил злость многих рецензентов. Евстахий Белоборский и Анджей Трепка, которые сами пробовали писать книги о космических путешествиях, злились на Лема, что он увёл у них из-под носа пальму первенства, атаковали его с двух сторон.

Белоборский в «Проблемах» указывал Лему на научно-технические ошибки в описании космического корабля «Космократор», которым герои летят на Венеру, откуда (как оказалось) прилетел тунгусский болид. Он обвинял «Астронавтов» (скорее всего, справедливо), что роман нарушает «второй закон Циолковского».

Трепка в «*Ilustrowany Kurier Polski*» обвинял Лема в нарушении этикета марксизма-ленинизма. В польском тексте герои обращаются друг к другу на «пан»: «Там никто не говорит «вы». Слово «товарищ» – такое дорогое для нас сейчас – по мнению автора, уже не находит себе место через 50 лет», – комментировал Трепка.

На то же обратила внимание и Софья Старовейская-Морстинова в «*Tygodnik Powszechny*», но по другой причине: «Люди, замкнутые в межпланетном корабле, должны называть друг друга по имени, – писала она, иронизируя, – уважаемый, обратите внимание, за нами гонятся метеориты!» От лица «всех переводчиков» она выразила надежду, что формула «пан» пропадёт в польском до 2000 года. «И кто из вас был прав, уважаемая пани?» – так и хочется мне спросить с высоты нашего 2017 года.

Идеологические обвинения случались часто. На страницах «*Nowa Kultura*» было напечатано и мнение Людвика Гженевского и Софьи Возьницкой. Это не были голоса «за» или «против», как в сегодняшних медиа, это была скорее дискуссия, кто с более принципиальных позиций сможет обвинить Лема. Гженевский критиковал его за «неописание человека эры коммунизма». Возьницкая – за «недостаточно сильные идеологические фундаменты». Оба в каком-то смысле были правы, но Лем влез с ними в бессмысленную полемику.

Хоть в интервью много лет спустя он любил вспоминать эти критичные отзывы, нужно справедливости ради сказать, что было много и положительных рецензий. Роман хвалили, в том числе

Лешек Хердеген, Адам Холланек (парадоксально, но именно за «отображение коммунизма») и Анджей Киёвский, который справедливо назвал роман «книгой в честь человека». Даже в том двухголосье из «*Nowa Kultura*» Людвик Гженевский похвалил автора за захватывающее описание пейзажей Венеры, которые, по его мнению, были действительно самой сильной стороной романа.

Судя по тому, что говорил Лем, его отец не был в восторге от «Астронавтов» – и трудно этому удивляться. С точки зрения литературного мастерства это очевидный шаг назад по сравнению с «Больницей Преображения». Роман, однако, сигнализирует о начале ожидаемого улучшения материального состояния семьи Лемов. После успеха «Астронавтов» Лем уже мог быть разборчивым в издательских заказах.

В 1953 году «*Iskry*» заказали у него сборник рассказов (он вышел в следующем году). Старые произведения из «*Nowy Świat Pryzgód*» не могли быть напечатаны в новых обстоятельствах – были недостаточно соцреалистические[122]. Лем был вынужден писать новые произведения, более адаптированные к обязательной тогда доктрине соцреализма, как, например, «Топольный и Чвартек». Туда вошли также рассказы о Ийоне Тихом. Следы работы над ними заметны в дневнике Яна Юзефа Щепаньского – Лем читал ему фрагменты из них 29 октября 1953 года. Щепаньский отметил, что они были «прекрасно сделаны». В свою очередь, он прочёл Лему отрывки из собственной прозы, и ему стало стыдно, потому что в сравнении они выглядели «старосветски и примитивно». В январе 1954 года Щепаньский был на собрании секции прозы краковского Союза писателей, где Лем снова читал свои рассказы. 31 января Щепаньский записал в дневнике:

«Было несколько молодых критиков из «*Życie*». Они долго смеялись, пока в один момент не стали переглядываться между собой, всё более серьезно и сурово. В дискуссии они в один голос нападали на Лема, что такой беспредметный юмор – это общественно опасное явление. Где прогрессивная дидактика? Мы тут смеёмся, конечно, но что с этого? Однако это факт, что смех рождает подозрения в контрреволюционности».

Приоритетом в этот период для Лема было «Магелланово облако» – «эпопея космической эры», попытка представить себе первую межзвёздную космическую экспедицию. Он тоже читал Щепаньскому фрагменты из него, пробуждая его восхищение и зависть (запись от 21 октября 1952 года: «Я не видел ни у одного польского современного писателя такой пластики и точности и такого чувства драматичности человечества. Я вижу, как я сам

анемичен в собственных виденьях и чувствах, в желаниях и протестах»).

Вот в XXXII веке к альфе Центавра отправляется космический корабль «Гея», неизвестно почему везущий на борту аж двести двадцать семь человек. Это происходит сразу после триумфа коммунизма, но в таком далёком будущем, что мало кто помнит коммунистов. Потому, как ни парадоксально, раздел с названием «Коммунисты» совсем не о коммунистах, а о таинственном приступе безумия, который переживает экипаж. От этого приступа их спасает некий Тер Хаар (там у всех очень странные имена), который единственный помнит, что когда-то существовали какие-то коммунисты. Он удерживает космонавтов от безумия, обращаясь к памяти мучеников, которые когда-то страдали в застенках гестапо, борясь за светлое будущее (то есть настоящее для героев романа).

Основной амбицией Лема было представить технологии будущего, и моментами это получается у него просто гениально. В «Магеллановом облаке» появляется описание чего-то вроде интернета. Это называется Библиотекой Трионов (в будущем люди сконструируют «кристаллы кварца модифицированной структуры», называемые трионами – Лем, вероятно, читал что-то о первых транзисторах, потому что именно их напоминают его описания).

Библиотека Трионов накапливает «все без исключения плоды умственной деятельности людей», и каждый человек может с нею соединиться «при помощи простого радиотелевизионного устройства»[123].

> «*Мы сегодня, пользуясь этой невидимой сетью, опоясывающей мир, совершенно не думаем о гигантских масштабах и чёткости её работы. Как часто каждый из нас в своём рабочем кабинете в Австралии, в обсерватории на Луне или в самолёте доставал карманный приёмник, вызывал Центральную трионовую библиотеку, заказывал нужное ему произведение и через секунду видел его на экране своего цветного, объёмного телевизора. Каждым трионом может одновременно пользоваться, совершенно не мешая друг другу, любое количество людей*».

Здесь Лем как будто бы просто заглянул в хрустальный шар и увидел нас, обменивающихся с помощью карманных «радиотелевизионных устройств» разными фотками-селфи, *GIF*-ами с котиками, слухами о звёздах и другими «плодами умственной деятельности человека»!

«Я получил от Гориз.[онтов] Техники и Молод.[ёжного] Отд.[ела] «*Czytelnik*» два предложения на фантастические книги – на это сейчас большой спрос, к сожалению, слишком большой как на мои возможности», – писал он в июле в письме к Александру Сцибору-Рыльскому. (Прилагая к письму «смиренное виляние от Раджи»[124].) Лем тогда уже был по уши в работе над новым космическим романом. «Меня сжирает нездоровая амбиция, чтобы «Магелланово облако» – так должно то, что я пишу, называться – было хорошей вещью», – признавался он. А раз уж я процитировал это письмо, то добавлю ещё приведённое там описание того, чем в то время для Лема были Татры:

> «*…я довёл до совершенства траверс по грани Гьевонта, взял Тыльковые Комины, Иваняцкий перевал и плюс ко всему сделал весь Орля Перць от Заврата до Козьих Верхов, Змарлый перевал и Гранаты – так далеко, как только смог. И на следующий день в прекрасной форме танцевал на губаловском дансинге*».

И прекрасное описание лета в Кракове:

> «*Погода страшная: жара стекает липким потом со лба, замшелые ноги плетутся по брусчатке, отвыкшие от её знойного смрада, душа […] рыдает в пучине грусти. Но всё это не мешает потреблять мороженое и вишни в огромных количествах. Последствия – трагичны, особенно в жару. Трудно даже говорить: жизнь, как говаривал Ижиковский, состоит как раз в том, что жить невозможно*».

Прежде чем «Магелланово облако» вышло в форме книги, его громкая премьера произошла на страницах новогоднего номера краковского еженедельника «*Przekrój*». Лем был тогда ещё малоизвестным писателем, и редакция решила необходимым начать первый фрагмент романа рамкой, в которой объясняла, кто он. Указывалось, что Станислав Лем «является автором романа «Астронавты» о путешествии на Венеру». Это, похоже, был последний случай, когда Лема нужно было представлять польским читателям.

Последний фрагмент вышел в августе 1954 года. Лем уже на тот момент был мужем Барбары Лесьняк, потому книга была посвящена «Басе». Сначала молодожены не жили вместе, потому что для этого не было соответствующих условий – в каморке на Силезской едва помещался один человек, а Барбара Лесьняк жила в одной комнате с сестрой. Лем ездил к жене трамваем на улицу

Сарого.

Но это тоже вскоре изменилось к лучшему. Лемам и Колодзеям в 1954 году удалось закончить трудную формальную задачу замены двухкомнатной квартиры на Силезской на четырёхкомнатную квартиру на Бонеровской, 5. Обе квартиры были коммунальные, и нужно было организовать переезд двух семей сразу. Это происходило многоэтапно, потому что самым важным было то, чтобы администрация не подселила к ним кого-то ещё. До этого, к сожалению, не дожил Самюэль Лем, который в 1954 году пошёл на почту на ул. Словацкого и там внезапно умер от инфаркта, которого он боялся на протяжении девятнадцати лет[125].

В новой квартире на ул. Бонеровской, 5, они жили в весьма неплохих условиях – как на то время. Молодая семья заняла элегантную комнату с балконом. Сабина Лем жила в проходной комнате и прожила на Бонеровской до конца жизни, то есть до 1979 года. Сын регулярно наведывался к ней туда, хотя из разных воспоминаний, в том числе Томаша Лема, мы знаем, что отношения между матерью и сыном всегда были натянутыми.

Вторая половина квартиры была отдана Колодзеям. Витольд Колодзей помнил «дядю Сташека», приятного, непосредственного и весёлого мужчину, который всегда приветствовал его, подавая руку и выкрикивая с энтузиазмом слово «лопата!». Он с детства знал, что живёт с семьёй известного писателя, потому что должен был сидеть тихо, когда дядя Сташек работал.

В новой квартире «дядя Сташек» действительно работал как сумасшедший. Он перестал писать в «*Tygodnik Powszechny*», потому что его предупреждали, что, сотрудничая с этим изданием, он сам снижает шансы на издание «Неутраченного времени»[126]. Он заменил это сотрудничеством с «*Przekrój*», «*Życie Literackie*» и «*Echo Krakowa*». Нехудожественные произведения вышли в 1962 году в первой нехудожественной книге Лема, «Выход на орбиту». Художественная проза – в «Звёздных дневниках», потому что как раз в этой квартире родился Ийон Тихий.

Если, дорогой читатель, у вас появилось желание провести ночь в бывшей спальне Станислава и Барбары Лемов, то нет ничего более простого. Большинство коммунальных квартир на Бонеровской недавно выкупил частный инвестор и создал там посуточную аренду комфортных апартаментов. Бывшая квартира 4 А, где жили Лемы, сегодня находится под номером 15. В комнате Станислава и Барбары Лемов сейчас сделана спальня, а проходная комната Сабины Лем переделана в салон-кухню.

Задание биографа с этого момента становится проще, потому что на Бонеровской Лем становится компульсивным

корреспондентом. Здесь заканчиваются шарады и отгадывания, что Лем хотел сказать между строк Бересю или Фиалковскому. Здесь заканчиваются события, которые имели несколько дат, и герои, которые порой имеют несколько имён. С этого момента почти каждый день Лема описан в каком-то письме или сохранённом документе.

Я хочу закончить этот раздел двумя документами, которые, кажется, передают настроение этого периода – последние минуты сталинизма. Первым является свидетельство, выданное Лему Краковским Союзом польских писателей от 21 сентября 1953 года:

> *«Настоящим удостоверяется, что гр. Станислав Лем, проживающий в Кракове, по адресу ул. Силезская, 3, является членом Правления Союза польских писателей. Он является писателем, автором научно-фантастических романов, драматургом и публицистом, популяризирующим научные темы. Специфика его творческой деятельности, связывающая его с краковской литературной и научной средой, требует его постоянного пребывания в г. Кракове.*
>
> *Свидетельство выдано его жене Барбаре с целью предоставить Комиссии по Трудоустройству.*
>
> */Адам Полевка/*
>
> *директор».*

Так как в *Rohstofferfassung* Лем на основе любительских водительских прав стал *Automechaniker und Autoelektriker*, так осенью 1953 года, немного с натяжкой, он сделал из себя драматурга (хотя он написал только «Яхту *”Парадиз”*») и автора научно-фантастических романов (во множественном числе), хотя на тот момент написал только «Астронавтов» и хотел браться за «Магелланово облако». В тот момент самым важным, однако, было защитить жену от распределения на работу куда-то за границы Кракова. Барбара как раз окончила медицинский университет. А то, чего молодой врач в ПНР мог бояться больше всего, было принудительной ссылкой в провинцию.

Аргументация, представленная в свидетельстве, по правде говоря, немного натянута. Я знаю много писателей *science fiction*, которые никогда не согласятся, что литературу можно создавать исключительно с условием «постоянного пребывания в г. Кракове». Важнее всего здесь была подпись Адама Полевки, коммунистического деятеля со стажем, начиная с 1932 года,

депутата сейма, редактора «*Echo Krakowa*».

5 марта 1953 года умер Сталин. Польша, как и остальные страны советского лагеря, замерла в скорби. Заводы перестали работать, школы прекратили учить, пассажиры выходили из обездвиженных трамваев и автобусов, прохожие останавливались на улицах и все коллективно плакали. Сложно сказать, кто рыдал искренне, а кто – боясь репрессий за недостаточный уровень скорби. Угроза преследований была более чем реальна. Сталинизм пережил своего основателя на несколько лет (в Польше), десять лет (в Чехословакии) или даже несколько десятков (в Румынии, где длился до конца режима Чаушеску в декабре 1989 года).

«*Tygodnik Powszechny*» в марте 1953 года был закрыт в рамках репрессий за попытку издать обычный номер вместе скорбного, так как скорбь должна была соединить весь народ. Только в декабре 1956 года издание удалось возобновить в старом виде (в 1953–1956 годах выходил так называемый паксовский[127] еженедельник, с тем же графическим оформлением, незаконно позаимствованным другой редакцией).

Как Лем отреагировал на смерть Сталина? Тогда он был в Закопане вместе с друзьями, краковскими писателями. Новость о смерти Генералиссимуса инициировала импровизированное собрание актива Союза писателей. Литераторы имели выкупленные билеты на подъёмник на лыжный спуск. Вот только стоит ли кататься на лыжах в такой момент? Может, однако, стоит присоединиться к «спонтанной скорби»? Лем решил спор: «Едем!» И они поехали, и никто их не репрессировал[128].

Двумя неделями позже он описывал Ежи Врублевскому начало оттепели (в этом случае – только в метеорологическом значении… а может, не только?):

> «*Дорогой Юрек, ты поймёшь моё долгое молчание, вызванное отсутствием машинки в Татрах. Ах, как было потрясающе! Но ударение, полное горести и сожалений, нужно сделать на слове «было», а из-за него в онтологической последовательности уже становится всё равно почти что – было или не было, потому что суть, что сейчас уже снега вокруг меня нет, и горный ветер не дует (последние слова читай как фрагмент Поэмы, а с этой целью ударение в слове «дует» поставь на последний слог!).*
>
> […]
>
> *Я должен тебе некоторые данные на тему моего Лыжного Класса. Что ж, скажу скромно: ездится как-то*

*[…]. Говорю тебе, дорогой Ежи, с сегодняшнего дня до последнего вздоха – только Горычкова. Котёл, Гонсеницова, лыжестрада на Кузнице, на Ящуровке (виды) = пожалуй, это всё МОЖЕТ БЫТЬ. Но Горычкова – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Она, что правда, представляется Ужасной Проблемой, потому что съезд кошмарно короткий […]. Что ещё? Надо сразу иметь следующие билеты, а их ой как трудно достать! […] Ежедневные практики – эта езда может разорить миллионера (за 10 дней – 300 злотых только на подъёмник!!!)*[129].

Как трудно было достать билеты, Лем описал в фельетоне, в котором рассекретил несколько методов: с помощью выносливости (прийти до 5 утра), с помощью коллектива («заехать так очень легко, но только вместе со всем коллективом») и внаглую («иметь какой угодно билет – просроченный, недействительный и так далее, и пинать, ругаться, толкаться, биться палками, и при должной красноречивости и физической силе – точно попадёшь наверх»)[130].

Еремий Пшибора вспоминает Лема как гения смешанного метода, который объединял в себе «выносливость» и «коллектив». На рассвете он звонил в кассу подъёмника в Кузницах и говорил: «Алло, это Дом писателей «Астория», посылаем к вам гонца за билетами для группы писателей». После чего сам мчал в Кузницы якобы как гонец…[131].

Что ж, если билеты на «подъёмник» было «Так Безумно Трудно» достать, то можно понять, почему Лему удалось так легко уговорить остальных писателей съехать на лыжах вместо того, чтобы оплакивать Солнце Наций.

# IV
# Диалоги

В середине пятидесятых удача наконец улыбнулась Станиславу Лему. Его перестали мучить дилеммы десятилетней давности, когда наперекор себе он изучал медицину, но мечтал о литературе. После успеха «Магелланова облака» перед ним уже была открыта дорога писателя, чьи научно-фантастические произведения издатели будут покупать ещё до их появления. Редакции журналов из Кракова и Варшавы охотно брали его фельетоны и эссе.

После смерти отца Лем вынужден стать единственным кормильцем семьи – но это происходит как раз в тот момент, когда семейный бюджет получает солидное пополнение, вероятно, впервые за более чем десять лет. Это пополнение позволило Лему вернуться к любимому хобби – коллекционированию странных машин – и к регулярным выездам на лыжные прогулки в Закопане. Судя по корреспонденции, зима была любимым временем года Станислава Лема. Так он писал Александру Сцибору-Рыльскому в январе 1956 года в ответ на предложение о сотрудничестве с еженедельником «*Nowa Kultura*»:

> «*Грагов*[132], 11.1.1956
>
> *My Dear,*
> *[…]*
> *Предложения Ваши, дорогой писатель, пощекотали алчность нашей Мамоны*[133]. *Я недавно купил себе заводную птичку, которая весьма долго клюет крошки, и английского котёнка в рамках сосуществования, который, если завести, как сумасшедший гоняется за мотыльком (тоже искусственным). Это стоило мне одну треть гонорара за «Облако», если считать вместе с механической конструкцией с моторчиком «Эректор» (не путать с Эрекцией!!!) из Нью-Йорка. У вас в Варшаве есть комиссионка с загран.[ичными] игрушками? Если нет – Ужасно Сочувствую! Ты, Бугай, сюда никогда не приедешь и не увидишь ни Птичку, ни Котёнка, ни Эректор. Потому, в нужде на новые игрушки, я вынужден писать для вас – думаю, лучше всего будет стряпать небольшие фельетоны о Делах Мира Науки, Бытия, Онтологии, Культуры, Цивилизации и всякую прочую белиберду о*

*будущем. А когда? Может, пришлю то, что Сцибору Нашему Любимому слал до Татр, но сомнительно – литературно у меня сейчас запор (думаю о книге). Ну а ты?*

*Сциборек наш, лети и пой,*
*От восторга. Ой!*
*Скрывая стыд, ты сделай «Бом»*
*Лодке дорогой!*

*ИЛИ:*
*Хлам!*
*Мы бросили*
*Литературный срам*
*Всё хлам, всё хлам (бом-бади-бам!!!)*

*Граглов, январь 56 гога*[134].

«*Nowa Kultura*» была официальным изданием Союза польских писателей. Именно благодаря этому Союзу писатели подружились друг с другом. Журнал сыграл важную роль во времена оттепели, которая у всех ассоциировалась с октябрём 1956 года, хотя эта ассоциация вводит в заблуждение.

Октябрьский парад на площади Парадов, где первый секретарь Владислав Гомулка говорил об «искажении идей социализма», не положил начало демократическим переменам. Наоборот – выход Гомулки из тюрьмы (13 декабря 1954 года), тайный доклад Хрущёва о сталинских преступлениях (произнесённый в Москве в феврале 1956 года и распространяемый в Польше с марта 1956 года), митинги на заводах, которые начались с варшавского ЗЛА[135] (апрель 1956) и знаменитые познаньские протесты (июнь 1956) – всё это было рядом событий, которые в октябре 1956 года начали затормаживаться.

Бересю Лем сказал, что «первое дуновение оттепели» он начал чувствовать между 1953 и 1954 годами. Вероятно, на это накладывается эйфория автора, связанная с неполитическими хорошими новостями в его жизни. Тогда он женился, тогда же заметны первые успехи «Астронавтов».

Однако, прежде всего насколько для многих его ровесников конец сталинизма оказался интеллектуальным шоком, настолько для Лема это первый его прогноз, который сбылся. В 1952 году он начал писать «Диалоги»[136] – странную не то философскую, не то фантастическую книгу, в которой были приведены разговоры

между Филонусом и Гиласом, мудрецами из греческой Агоры или с другой планеты, а быть может, из мира воображений епископа Беркли (от которого Лем взял эти имена).

«Диалоги» были сюжетной версией аутентичных споров, которые Лем вёл в рамках лектория Хойновского несколькими годами ранее (главным образом, как позже рассказывал Лем Бересю, – с неким «магистром Освенцимским»[137]). Их главной темой была кибернетика, новая теория науки, которая в сороковых годах прошлого века, казалось, имела неограниченное поле применения – от теории функции зенитных установок до теории литературы и социальной философии. По крайней мере, так обещал основоположник Норберт Винер в опубликованной в 1950 году работе «*The Human Use Of Human Beings*»[138], которую Лем прочёл в оригинале, а потом наблюдал за осуждением коммунистической пропагандой этой книги за отступление от правды и веры, а потом её изданием в 1960 году под названием «Кибернетика и общество» (с огромным вступлением советского учёного, который объяснял, в чём автор прав, а в чём ошибается).

Кибернетика на самом деле не оправдала возложенных на неё надежд на сведение гуманитарных наук к отдельному виду точных (об истории таких и прочих неисполненных надежд, от позитивизма до меметики, можно бы написать отдельную книгу), для тогдашнего Лема она была тем не менее очень ценной, потому что из неё чёрным по белому было ясно, что тоталитаризм не может нормально функционировать.

С кибернетической точки зрения важным элементом управления чем-либо – государством или зенитными установками – является обратная связь: что-то, что информирует власть или стрелка об исправности машины, чтобы он смог сделать нужные поправки. В тоталитаризме цензура и пропаганда работают на блокировку обратной связи. Несмотря на то, принимают ли власти правильные решения или неправильные, до неё доходят только положительные сигналы. Такая машина должна вести себя как паровой двигатель без предохранительного клапана – доказывает Филонус Гиласу. Он никогда не дойдёт до оптимальных параметров работы, потому будет работать малопродуктивно, конвульсивно, метаясь от одного кризиса к другому. Таких кризисов Лем видел в ПНР несколько, но ведь книга была написана до того, как наступил первый из них.

Климат поздней оттепели хорошо заметен в фрагменте письма Лема к Ежи Врублевскому:

«*Es herrst grösste Unruhe, Smutek und Prostation (sic!) in unseren Kreisen, jeder versucht einen kleinen Weg zu finden, wo er was zu verdienen hätte, ohne aus sich eine Hure zu machen*»[139], в переводе:

«В наших кругах царит беспокойство, печаль и прострация, каждый пытается найти для себя какой-то приём, чтобы удалось заработать, не продаваясь, как шлюха». В другом фрагменте этого же письма Лем описывает варшавское литературное сообщество как «*ein Bild von Hosenscheissen*» («картина дерьма в трусах»).

Быстро оказалось, что полученные из разных журналов предложения о сотрудничестве, которые посыпались на Лема на волне популярности между 1955 и 1956 годами, оказались по большей мере воздушными замками. Проблемы начинались с того, что тексты, которые много редакций взяли бы, отрывая с руками, – такую себе «белиберду о будущем», как он выразился, – Лем совсем не хотел писать. Он хотел более серьёзно присматриваться к «культуре и цивилизации», а это вводило его в противоречия с цензурой (понимаемой здесь одновременно и как институция, и как склонность разных редакторов к перестраховке).

Сотрудничество с «*Nowa Kultura*» Лем, например, неформально разорвал уже в июне 1956 года. Причиной был отказ редактора Леона Пшемского издать два его текста. С крайней нелюбовью – как «хасида коммунизма с лицом несчастного онаниста» – его описывает в «Дневнике 1954» и Леопольд Тырманд. Пшемский отклонил полемику Тырманда с Калужинским по делу Хемингуэя, а из произведений Лема – статью «Человек и власть» и фрагмент «Диалогов». «Вероятно, он хотел держать меня на правах научно-технического информатора, а не парня, который добавляет головной боли ГлавРеду своими опасными *ФОРМУЛИРОВКАМИ*[140]», – писал Лем в письме к Сцибору-Рыльскому[141].

Потом появилась надежда на сотрудничество с другим изданием. Возможно, в какой-то альтернативной Вселенной польский литературный мир до сих пор живёт легендой самого лучшего культурного издания в истории Польши, которым должна была стать краковская газета «*ŻŻycie Literackie»*, если бы увенчался успехом заговор, устроенный краковскими писателями осенью 1956 года. Вся интрига длилась около недели. Весьма подробно в своём дневнике её описал Ян Юзеф Щепаньский. Группа заговорщиков сформировалась 21 ноября. Кроме Лема, Щепаньского и Блоньского, в неё входили историк искусства Януш Богуцкий и театральный критик (а позже директор Старого Театра) Ян Гавлик. Можно только представить себе, какой бы журнал сделали вместе эти люди!

«*Życie Literackie*» начиная с 1952 года руководил Владислав Махеек, твердолобый сталинист, который в 1956 году состоял в так называемой фракции натолинцев, которые противились

демократизации режима. «Он не такой уж плохой… просто хитрый и тупой», – так охарактеризовал его Лем в письме к Сцибору-Рыльскому[142]. Варшавская «*Nowa Kultura*», в свою очередь, состояла при реформаторской фракции так называемых пулавян. Оба названия происходят от двух варшавских адресов. Натолинцы собирались в презентабельном правительственном дворце в натолинском парке (сегодня в нём размещается Фонд «Европейский Центр Натолин»), а пулавяне проживали главным образом в элегантных довоенных каменицах на ул. Пулавской, где во времена сталинизма получили свои квартиры (что не давало покоя варшавянам, которые жили в куда худших условиях).

Интрига в «*Życie Literackie*» оказалась ловушкой Махеека, который в какой-то момент запаниковал – на фоне антикоммунистического восстания в Венгрии, которое напугало многих сталинистов над Вислой: ему вдруг резко понадобилось какое-то доказательство собственной либеральности. Когда он почувствовал, что в Польше в этот раз всё обойдётся без восстания, просто перестал приходить на назначенные встречи с группой «заговорщиков», которая в итоге тоже распалась – Щепаньский пишет (28 ноября 1956 года): «на последнюю встречу пришёл только Лем, Махеек не появился».

Лем был очень далёк от натолинцев, но во многом не соглашался и с пулавянами. Прежде всего – не верил в смысл улучшения существующего режима. Он так объясняет это в письме к Сцибору-Рыльскому (в этом же письме он, к слову, разрывает сотрудничество с «*Nowa Kultura*», хотя не прошло и года с момента приглашения его к этому сотрудничеству, которое ещё в январе так приятно «пощекотало алчность нашей Мамоны»):

> «*Дорогой Лешек,*
>
> *шлю Глас Рассудка на твой адрес, очень неспокойный за судьбу Родины, Новой Культуры и Твою личную.*
>
> *Позавчера я отправил письмо Ворош.[ильскому], в к.[отором] объясняю, почему самоустраняюсь из сотрудничества с журналом, а именно в связи с его речью и нашим с тобой разговором, который в некоторой мере очертил для меня программно-идейно-политическую линию журнала в будущем, которую я считаю в наивысшей степени вредительствующей, фальшивой, а что хуже – объективно враждебной, как говорилось в былые времена.*
>
> *Продолжая линию политизации литературных журналов и превращения их в трибуну для полемик и атак со всеми сталинскими партиями, станете или*

*становитесь объективными союзниками Натолина.*

*[…]*

*1. Социалистический эксперимент после без малого 40 лет своего существования показывает, что НЕ ТАК. Иными словами, опыт в евразийской лаборатории показал ложность допущений, а конкретнее – конструкторского плана, по которому строилась модель. Поддержание этой модели в действии требует:*

*a) страшных материально-моральных жертв;*

*b) постоянного прибегания к насилию, террору, политической полиции и так далее;*

*c) аннигиляции спонтанно развивающейся культуры, духовной жизни, научного творчества […].*

*2. Правление большинства лабораторий НЕ ХОЧЕТ признать, что эксперимент не удался и что конструкцию надо переделывать, менять некоторые СУЩЕСТВЕННЫЕ положения планов и, по-хорошему, начинать эксперимент ЗАНОВО.*

*3. Это нежелание вызывают самые разнообразные факторы: любовь правителей к власти […], интеллектуальное насилие – ОГРОМНОЕ – и риск – ОГРОМНЫЙ […].*

*4. Методологически правильное понимание проблемы состояло бы вот в чём: большинство социалистических стран дают зелёный свет экспериментам на польском и югосл.[авском] экспериментальном поле, помогая, а не препятствуя, когда очевидным есть то, что в. [озможный] успех был бы успехом коммунизма как концепции перестроения мира […], злостные нападения с разных сторон указывают лишь на то, что рационально-научно-методологический элемент, как и в марксизме XIX века, присутствует в немалом объёме […] [пророс мифами] и уже почти ничего не осталось, а в гробе марксизма, прогнившем мифическо-религиозной магмой, скукожились останки прекрасно спроектированных, хотя сейчас и несколько архаических мыслей Маркса […].*

*В этой ситуации содержательная дискуссия с управлением (ТАКИМ) есть, конечно же, разговор с пьяным, ошалевшим шакалом. Разговор с партиями – это тоже нонсенс, потому что эти партии держит в узде*

*не убеждение в правильности решений их руководства, а Политическая Полиция, дорогой Лешек […].*

*Подумай над этим, мой Драгоценный, потому что я тревожусь о тебе, и желаю для тебя только блага, ты знаешь это.*

*Пожимаю крепко твои лапищи.*

*Не будь идиотом.*

*Твой [Станислав Лем]»*[143].

И хотя письмо было озаглавлено словами «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ», три дня спустя Лем написал ещё одно, в котором чётко обосновал неверие в исправление партии извне:

«*…партия фактически состоит в большинстве своём из дрянных людей, потому что ТАКОЙ БЫЛ КРИТЕРИЙ ВЕРБОВКИ во времена сталинизма, что тот, кто Думал, Хотел Быть Честным, Нести Ответственность За Судьбы, тот получал пинок, а кто был Послушный, Менял Мнение 10 раз в сутки, если такие Веяния Шли с Верхушки, кто лез наверх и срал на массы, тот влезал в Аппарат и, как воздушный шар, шуровал вверх, сам это знаешь, так зачем мне тебе объяснять? Личностный состав партии […] нельзя сегодня поменять на 100 % […], это было бы то же самое, что попытаться заменить части автомобиля на новые ВО ВРЕМЯ ГОНКИ, на ходу…*»[144].

Несколько недель спустя Лем пишет так (приближались праздники):

«*Дорогой Сциборец, на последнее твоё письмо я отреагировал 4-страничной кулевриной, которой хотел смести с Мира Божьего все самосерско-бароподпсковские взгляды – твои и твоего Виктора [Ворошильского]. Однако, поостыв и подумав, я отложил это письмо в картотеку и считаю, что поступил правильно, поскольку политические веяния меняются, воззрения тоже, а дружба наша… хорошо бы, чтобы она выдержала всё, что будет, дай Боже, дальше. Аминь*»[145].

Дружба их действительно всё это выдержала. Однако, когда я читаю эти письма, то не перестаю удивляться проницательности Лема. И в очередной раз убеждаюсь, как наивны были надежды

пулавян и их секунданта – «*Nowa Kultura*». Пулавяне рассчитывали на то, что им удастся обосновать демократизацию системы путём обращения к работам Маркса и Ленина.

Годы спустя Лешек Колаковский с самоироничной меланхолией высмеивал эти надежды в «Основных направлениях марксизма». Долгие десять лет заняло у него понимание того, что Лем говорил ещё в пятидесятых годах – а именно, что дискуссии с властью на основании философских аргументов бессмысленны. С тем же успехом можно анализировать работы молодого Маркса в разговоре с «пьяным шакалом», потому что основа тоталитарной власти – никакая не идеология, а «Политическая Полиция». Если в один день коммунистическая партия примет капитализм, то послушная ей политическая полиция начнёт заставлять всех силой строить капитализм. Так, после 1989 года произошло в Китае и во Вьетнаме. Попытайтесь защитить пролетариев тех стран, ссылаясь на Маркса!

Дальнейшие события прошли точно по прогнозу Лема. Когда пулавяне искали философско-идейные аргументы, натолинцы углубляли влияние в управлениях внутренними делами и занимались – как мы бы сейчас это назвали – исторической политикой, по логике которой все ветераны антигитлеровского подполья должны были вдруг почувствовать себя «борцами за свободу и демократию» и присоединиться к одной организации «ОБоСиД». Таким же образом строилась и поддержка правящей власти и среди бывших членов АК и варшавских повстанцев. Это привело в 1968 году к окончательному перелому, который положил конец золотой эре культуры ПНР.

Тогда же закончилась и золотая эра творчества Станислава Лема. Однако вернёмся к её началу. В 1956 году Лему было тридцать пять лет, и у него было полностью сформированное художественное, мировоззренческое и политическое кредо. Насколько мне известно, тогда он ещё не был знаком с критическими работами Карла Поппера и Исайи Берлина о марксизме, но его собственная критика выглядела похожим образом. Он высоко ценит роль Маркса как одного из многих философов XIX века, но не верит в его воплощение XX столетия – Ленина, которого Лем считал чем-то вроде неудачного научного эксперимента со страшными побочными эффектами.

Он также отбрасывал марксистскую категорию «исторической необходимости». Лем считал, что если и существуют какие-то «объективные законы истории», то человечество их никогда не узнает, поэтому из них нельзя создавать фундамент политической программы, как сделали марксисты. В 1953 году он писал в письме к Врублевскому:

> *«Почему «скипетр цивилизации» переходит в течение веков от одного народа к другому – на этот вопрос в марксизме я не нашёл конкретного ответа, только в общих чертах […], объективные законы общественного развития это не что иное, как СЛУЧАЙНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ […], СЛУЧАЙНЫЕ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ, а скорее НЕПРЕДВИДЕННЫЕ»*[146].

Если бы Лем мог в середине пятидесятых написать эссе, в котором прямо высказывался бы на эту тему, возможно, тогда родилось бы произведение, по которому сегодня бы учились студенты социологии. Что-то наподобие «Нищеты историцизма» Поппера или биографического эссе о Марксе Берлина[147]. Из писем и текстов, которые он высылал для «*Nowa Kultura*» (но их не принимали), видно, что он хотел об этом писать и даже подписал бы договор на целую книгу. Но польские редакции были заинтересованы только в его фантастике.

В середине пятидесятых годов Лем, кажется, соглашается на это. Это вторая часть его программы: поскольку у него не остаётся сомнений по поводу природы этой системы, он не хочет писать идейно-политические манифесты. Поппер и Берлин тоже были бы бессильны в дискуссии с пьяным шакалом, вооружённым политической полицией. Однако пока этот шакал позволяет писателям где-то на стороне, в стороне от системы «заниматься своими делами» – писать фантастику или эссе о старой польской поэзии, или авангардные пьесы для театра, или сценарии для Анджея Вайды, – почему бы и нет? Эта позиция объединяет Лема со многими его литературными друзьями: Блоньским, Щепаньским, Сцибором-Рыльским, Мрожеком.

В результате к нему присоединятся и другие авторы, которые в 1956 году ещё лелеяли иллюзии касательно шансов реформировать режим. «*Nowa Kultura*» была ликвидирована в 1963-м, а Ворошильский де-факто получил запрет издаваться. Ему разрешали писать только книги для молодёжи (кстати, прекрасные, позволю себе заявить как представитель тогдашней молодёжи).

Много лет спустя Лем будет тяжело переживать то, что его замкнули в *science fiction*, но в письмах второй половины пятидесятых годов этого ещё не видно. И это понятно. Он только что боролся, чтобы издали хоть что-нибудь, а в 1955 году предложения уже сами сыпались. И речь не только о предложении написать новые научно-фантастические романы, а также на

переводы и адаптации для фильмов.

Эпопея под названием «экранизации Лема», которая (как мы знаем) принесёт писателю одни разочарования, начинается между 1955 и 1956 годами, когда от имени Творческого объединения «Кадр» к нему обратился Кшиштоф Теодор Тёплиц с предложением написать сценарий, объединяющий мотивы «Астронавтов» и «Магелланова облака». Это предложение, судя по письмам, рассердило писателя. «Спинным мозгом чувствую, что из этого деЛьмо выйдет», – писал он в одном из них[148], «потому что как борщ, сделанный только из грибов, вызывает срачку, так и фильм, слишком густой и переполненный, не принесёт удовольствия зрителю», – объясняет он в другом[149]. На предложение он ответил, что предпочёл бы обратную операцию – сосредоточиться на одном выбранном мотиве одного из своих романов – и начал работать над сценарием «Астронавтов».

Из предложения Творческого объединения «Кадр» вышло действительно «деЛьмо», но не по художественной причине, а по политической. Между декабрём 1955-го и апрелем 1956 года Лем переписывался с Кшиштофом Теодором Тёплицем по вопросу экранизации «Астронавтов», которую должен был режиссировать Ежи Кавалерович с киностудией «Кадр». Из этой корреспонденции появилась концепция, которая удовлетворила писателя – и, собственно, тогда дирекция кинематографии забрала их проект. Лем писал в письме к Сцибору-Рыльскому, что это решение принял лично Глава комиссии оценки сценариев Тадеуш Карповский[150], но, вероятно, настоящее решение было принято кем-то ещё выше. Написание сценария отдали Людвику Старскому из киностудии «Иллюзион» с намерением снять фильм в сотрудничество с гэдээровской студией «*DEFA*».

И снова: можно только вздыхать по тому, какая версия «Астронавтов» вышла бы в альтернативной реальности, в которой фильм разрешили снимать объединению «Кадр». Они создавали смелые картины, ведущие киноискусство далеко вперёд: «Канал», «Эроика», «Поезд», «Фараон». С этой студией Лем постоянно хотел что-то реализовать: то «Вторжение с Альдебарана», то «Рукопись, найденную в ванне», то «Возвращение со звёзд».

Можно только сожалеть, воображая себе, как эти фильмы сняли бы Кавалерович или Вайда в сотрудничестве с Алланом Старским, Яном Юзефом Щепаньским или Александром Сцибором-Рыльским (ведь были уже готовы сценарии!). Гений Вайда сделал для Польского телевидения в 1968 году маленькую жемчужину на основе менее удачного рассказа Лема «Существуете ли Вы, мистер Джонс?» – то есть фильм «Слоёный пирог», но объединение «Кадр» тогда уже было ликвидировано в

рамках послемартовского закручивания гаек интеллигенции (четыре года спустя власти милосердно разрешили возобновить его, но уже как киностудию «Кадр»).

Что касается «Астронавтов» – то уже сама передача проекта создателям «Приключения на Мариенштадте» означала, что будет создано что-то, быть может, приятное глазу, но лишённое амбиций. Формула сотрудничества с ГДР практически гарантировала, что после долгих мук из этого получится какая-то ерунда.

Для Лема это всё имело только одну положительную сторону: с этим было связано его первое заграничное путешествие (не считая, конечно, репатриации в 1945 году, а также трёхразового пересечения границы без выезда из Львова). В июне 1956 года восточно-немецкие власти пригласили его в Берлин и разместили в отеле «Нева» – «в таком, самом что ни на есть…» – и устроили традиционный социалистический ритуал приёма важного гостя:

> *«Ужасно утомительные a la longue, потом между прочими «Фауст» – 4,5 часа, «Фиесто из Генуи» – 4 часа, Моцарта «Дон Жуан в опере» – три спектакля у Брехта […]. Я выступал по радио, на телевидении (со страхом, потому что в прямом эфире) […], ещё у меня было 2 пресс-конференции, визит в замок Сан-Суси в Потсдаме, Трептов-парк с Сов.[етским] памятником (ты видел когда-то этот Оч. Большой Кошмар на фотографии?) […] ещё я ездил на разговоры с Дефой в Бабельсберг. Помимо этого, шлялся по магазинам […]»*[151].

…и тут рассказ только начинается. Лем, который ещё полгода до того вершиной разврата считал покупки в краковской «комиссионке с иностранными игрушками», сейчас вдруг мог отправиться покорять магазины Восточного и Западного Берлина. Это, очевидно, интересовало его больше, чем театры и концерты (в «Приключениях на фоне всемирного тяготения» Томаш Лем пишет, что отец порой засыпал в театральном зале, что очень смущало Барбару Лем).

В этом же отеле появилась и делегация польских юристов, что Лем описал Врублевскому – преподавателю права в Лодзинском университете! – с особым ехидством: «Сплошные курдупли[152], толстопузые коротыши, из восьмерых на немецком один, и тот еле-еле, остальные – ни бэ, ни мэ, ужас! Меня принимали за немца, поскольку [при мне] свободно болтали [на польском], и я это слышал, ехать ли в Западный Берлин: хотели, но боялись. Вот такие Фиши выезжают […]. Сброд какой-то, хамы и дамочки –

говорю тебе – такие вот жирные задницы – это наш экспортный товар, если говорить о юриспруденции. Их принимало тамошнее *Justizministerium*»[153].

Лем тоже немного побаивался поездки «на Запад». Тогда ещё не было Берлинской стены (её возвели в 1961 году), потому, чтобы выехать за железный занавес, достаточно было сесть в метро и проехать несколько станций. Теоретически это было легально, потому что Западный Берлин формально был ничейной территорией. Его власть никому не могла запретить въезжать на свою территорию, а в свою очередь власти ГДР не могли запретить пересекать границу никому, кроме собственных граждан. Но, разумеется, у гражданина ПНР были свои поводы для страха. Лем решил эту проблему по-своему. Как рассказывал Фиалковскому, он надевал русскую шапку-ушанку и в метро делал вид, что читает «Правду». Он рассчитывал, что таким образом все будут думать, что он россиянин, и потому гэдээровские пограничники не отважатся его зацепить. Трудно сказать, по какой причине – то ли из-за таких средств безопасности, то ли просто из-за того, что бояться было нечего, но Лему удалось впервые с 1939 года снова увидеть капитализм вблизи.

«Жизнь там ужасно дорогая, – писал он в том же письме к Врублевскому, – 200 западных марок за 4-комнатную квартиру в месяц, а западная марка стоит в 4 раза больше, чем восточная. […] на Востоке таких зарплат нет, да и на Западе тоже низкие (относительно), вот и получается, что люди там тратят от 20 до 40 процентов дохода на жильё – вот тебе капитализм!» Однако в отличие от комедии Бареи, эти минусы капитализма не заслоняли Лему его плюсов: «машин МАССА, товаров МАССА, бананов на прилавках ГОРЫ. […] Невероятно практичная вещь этот *U-Bahn*, у них там вообще нет транспортных проблем».

С первого заграничного путешествия Лем привёз машинку для бритья (которая «щипала и выла, но не брила»), «пару женских украшений Барбаре, которые там очень дешевые», «себе: электрическую железную дорогу, три локомотива, пассажирские вагоны, товарняки, семафоры, стрелки, перекрёстки рельс и пути», а также «электрическую машинку для заварки кофе для роты [солдат]: огромную, на 2 литра кофе, по глупости её купил», экспонометр, бинокль и «чемоданный магнитофон, самая дорогая покупка, почти 700 марок с микрофоном, лентами и всеми причиндалами» (на этот магнитофон Лем записывал что-то, что шутя называл в письмах «визгами и глупостями». Однако записал он также и «Низкопоклонство» в собственном исполнении).

Тем временем его ожидала ещё одна поездка – первая чисто

туристическая экскурсия. В июне 1956 года Лемы поехали в первое общее путешествие: рейс по Дании и Норвегии только что спущенным на воду теплоходом «Мазовия» (будет в эксплуатации до 1983 года). Корабль отправила в плавание речная верфь в Будапеште на Дунае, потому путешествие было не слишком комфортным. «Мы жили в каютах, словно в ящиках, БЕЗ ОКОН, ниже ватерлинии», – жаловался Лем в письме Ежи Врублевскому[154].

Характерно, что при таком режиме для всего, даже для туристической поездки, надо было иметь специальные связи. Как узнаём из того же письма, Лем получил путёвки на эту экскурсию через Союз польских писателей, но они были настолько малопривлекательными, что, хотя для писателей и предназначалось 4 места, согласились только Лемы.

Вернулись они «ужасно невыспавшиеся, измученные и полуживые, хоть и полные впечатлений и очень загорелые», и квалифицировали поездку как «10-дневный оздоровительный отпуск». К самым важным впечатлениям Лем причисляет виды норвежских фьордов и «Дневную и Ночную Жизнь Капитализма», а в особенности копенгагенского парка Тиволи. На две недели Лемам выдали валюту, которая была равнозначна семнадцати тогдашним долларам на человека (сегодня это около ста пятидесяти долларов). «Оказалось, что этого было совсем немного, и сделать покупки почти не удалось», – писал он Сцибору-Рыльскому 2 августа 1956 года, добавляя, что он смог купить журналы «*Life*» и «*Time*».

Даже в самые чёрные годы сталинизма Лем делал всё, чтобы иметь доступ к мировой прессе. Он всё ещё поддерживал контакт с Хойновским – как раз для того, чтобы тот присылал ему западные научно-популярные журналы (как оказывается из высказываний Лема, это было непросто, так как Хойновский обиделся неизвестно за что и отрезал Лема от прессы. Тогда писатель от досады читал советскую «Технику – Молодёжи»)[155].

Для Лема «*Nature*» или «*Scientific American*» были добываемым с трудом запретным плодом, в то время как его западные коллеги – скажем, Артур Кларк или Айзек Азимов – могли легко купить эти издания в любом киоске вместе с пачкой сигарет. Может, именно потому Лем читал эту прессу внимательнее. Это видно из его корреспонденции с Ежи Врублевским, с которым Лем охотно дискутировал о новинках из мира науки и техники.

Обратите внимание на фрагмент из его письма 1954 года:

*«Экономика выдержит распространённость*

*авиаперевозок, не достигающих скорости звука, но сверхзвуковые могут оказаться с точки зрения технологии узким местом, предметом дефицита, и только элита сможет так путешествовать, а если не элита, то группа, избранная по принципу «знакомств», или «происхождения», или же «статуса», или «позиции в аппарате власти»*[156].

Лем рассматривает здесь в футурологической манере что-то, что сегодня составляет часть нашего ежедневного быта. В том самом 1954 году «Боинг» испытал самолёт, который три года спустя войдёт в массовое производство как «Боинг-707», прадед летающих вплоть до сегодня пассажирских самолётов. Много авиалиний, однако, не воспринимали всерьёз реактивные самолёты, оставаясь уверенными, что большинство сообщений удастся и в дальнейшем обслуживать более дешёвыми, проверенными пропеллерными самолётами, как *Lockheed Constellation*.

Если бы руководители авиалиний спросили Лема, то, возможно, избежали бы такой ошибки – равно как избежали бы позже и излишнего оптимизма по поводу сверхзвукового транспорта. Несмотря на «экономику транспорта», много денег было потрачено на бессмысленные и невыгодные проекты, как *Concorde*, «Ту-144» или *Boeing-2707*. Последний из них так и не был запущен в производство, но под конец шестидесятых несколько больших авиалиний успели его заказать – отмена проекта связывалась с увольнением нескольких десятков тысяч сотрудников и ударом для Сиэтла, который ещё долгие десятилетия чувствовал на себе последствия этого решения.

Это лишь один из многих примеров того, что Лем своим пониманием науки и техники возвышался не только над другими писателями *science fiction*, но и над менеджерами и политиками (с обеих сторон от железного занавеса). Есть такое русское выражение «я не читатель, я писатель», далёким родственником которого является английское «executive summary», то есть «сводки для начальства».

Итак, Лем, во-первых, всегда был «читателем», а не только «писателем», во-вторых, он читал не сводки, а целостность. Заграничные поездки были для него поводом попробовать кока-колу и вкусить ночную жизнь капиталистического города, но прежде всего читать прессу, которая не проходит цензуру. Многие американские корпорации – в особенности *Boeing* – нуждались в ком-то таком, как Лем, компульсивном «читателе», который внимательно следит за новинками научно-технической прессы, не

ограничиваясь «*executive summary*».

Как «писатель» в 1956 году Лем наконец добился двух важных успехов: за границей и внутри страны. Гэдээровское издание «Астронавтов» вышло в 1954 году (как *Der Planet des Todes*, «Планета смерти»), в 1956 году было издано также «Магелланово облако» (*Gast im Weltraum*, «Гость в космическом пространстве»), а также планировались переводы на русский, чехословацкий и голландский. Хотя Лем в письмах жаловался, что не имеет с этого ни гроша, потому что социалистические страны не заключили между собой договор о признании авторского права, однако статус «экспортного товара польской литературы», разумеется, был связан с выгодой нематериального характера.

Успех, который трудно переоценить, принёс ему также выход номера журнала «*Przekrój*» от 29 июля 1956 года. Там опубликован рассказ «Из звёздных дневников Ийона Тихого» (позднее «Четырнадцатое путешествие»). Ранее на страницах еженедельника был опубликован рассказ «Существуете ли вы, мистер Джонс?» и «Крыса в лабиринте» (январь – февраль 1956), но только эта июльская публикация прославила Лема на всю Польшу.

Это был знаменитый юмористический рассказ о сепульках, которые являют собой основу культурной и общественной жизни ардритов с планеты Энтеропии (реклама и литературные произведения беспрестанно рассказывают о сепульках и сепулении, но о них нельзя говорить публично, и само лишь упоминание об этом вслух в обществе грозило скандалом, а когда Ийон Тихий опрометчиво признался, что хотел бы попробовать сепуление без жены…). Летом 1956 года это произведение прославилось на всю Польшу. Зачитанные до дыр экземпляры «*Przekrój*» передавались из рук в руки. О рассказе дискутировали и в других медиа.

Адам Влодек, бывший муж Шимборской, назвал «Сепулькой» прирученного ежа. Часть из звёздных дневников Ийона Тихого адаптирована для сатирического радиоспектакля (его режиссёром стал Юзеф Гротовский, который реализовал также адаптацию «Солярис» и «Возвращения со звёзд»). Рассказ читают и цитируют даже сегодня. Если задуматься, в какой конкретно момент Лем – ремесленник пера становится Лемом-гением, то можно сделать вывод, что произошло это в середине 1956 года. Можно спорить о «Больнице Преображения» и «Диалогах», но «Четырнадцатое путешествие», вне всяких сомнений, является произведением феноменального ума.

Гением Лем становится в год оттепели. Это кажется невероятным, что важнейшие даты польской истории XX века –

1939, 1945, 1956, 1968, 1981 – также являются самыми важными датами его биографии. Одновременно, если присмотреться ближе, также невероятным кажется и то, что эти великие социально-политические события являются лишь фоном событий, которые для Лема в каждый из этих лет были намного важнее. Это хорошо видно на примере 1956 года.

Разумеется, его беспокоят такие события, как июнь, октябрь или тайный доклад Хрущёва о преступлениях Сталина, прочитанный на закрытом заседании XX съезда КПСС в ночь с 24 на 25 февраля 1956 года. В Польше коммунистические власти самовольно рассекретили текст доклада, и потому в марте 1956 года его содержание Лем описывал Врублевскому – по пересказам, но весьма правдиво:

> «*Я уже знаю, что там говорится, как наше Солнышко сам приказывал применять «физические действа» во время следствия, как устраивал игру с врачами [кремлёвскими, осуждёнными в 1952 году умирающим сатрапом за антисталинский заговор. – Прим. авт.], как приказывал этого бить, того заковать, как сказал Орджоникидзе, выбирать между самоубийством и смертью […], как Сокол наш собственноручно в редакции своих биографий и других произведений о себе дописывал, что является Гениальным Корифеем, […] говняность революционного дела, плюс два Спокойных океана крови. Уже никто не имеет права ошибаться, что так должно было быть и что история проливает кровь. Ни одна история, кроме Нашего Любимого Солнышка!*»[157].

Лем собственными глазами увидел доклад не позднее чем в начале апреля, потому что 4 апреля 1956 года доклад уже был у Яна Юзефа Щепаньского (которому его принёс Марек Пастушко – его сожитель). Он записал в дневнике, что на следующий день его посетил Лем и они дискутировали на эту тему. Лем предвидел «притормаживание оттепели»[158].

Эхо этого всего находим в корреспонденции того периода, но если собрать это воедино в количественном выражении, то в 1956 году Лем больше внимания посвящал езде на лыжах, первым заграничным поездкам, игрушкам, покупаемым в Кракове и Берлине, переводам своих книг и более приземлённым издательско-финансовым делам. «Алчность Мамоны», о которой он писал Сцибору-Рыльскому, толкала его к подписанию очередных издательских договоров, хоть он не был уверен, что у него будет время и возможность, чтобы все их выполнить. «И так уже близок день, в котором на пресс-конференции в Гл.[авном]

Отд.[елении] Гражданской полиции в Варшаве я расскажу представителям прессы о том великом шарлатане Леме, который подписывал массу договоров с издательствами, массу деньжат присваивал, а потом духовно иссяк в окончательной невозможности, и нужно будет переписать расходы на Счёт Государственной Казны», – переживал Лем в январе 1956 года. Этот страх – «подписываю слишком много договоров, а мне даже некогда этого писать»[159] – не покинет его до самого конца карьеры.

В переломный 1956 год Лем уже стал известным писателем, хотя оставался до сих пор второстепенным. Популярность «Астронавтов» и «Магелланова облака» принесла ему определённое признание и гарантию заинтересованности издателей, однако это была заинтересованность молодёжных изданий или в лучшем случае – научно-технических. «Неутраченное время» было издано слишком поздно. Если бы «Больница Преображения» вышла сразу после войны, Лема упоминали бы вместе с Тадеушом Боровским или Софьей Налковской. В свою очередь, если бы трилогия с соцреалистическим финалом вышла немного быстрее, например в 1953 году, то вошла бы в историю как предвестник оттепели. Однако в 1955 году её поэтика была уже запоздалой.

На это указывали в рецензиях идейно близкие Лему критики и писатели, такие как Людвик Фляшен или Александр Сцибор-Рыльский. Они мстили неназванным «цензорам, редакторам, издателям и всякого рода секретарям»[160], чьими стараниями книга, законченная в 1950 году, была издана только в 1955-м. Они якобы принимали в этих текстах сторону писателя, однако между строк была видна мысль, что в результате книга состарилась ещё до собственной премьеры.

Соцреалистические акценты, которые читатель с 1952 до 1953 года мог бы признать лишь необходимым сервитутом, таким себе условием публикации, в 1955-м уже отвращали. «Поэма для взрослых» Важика, напечатанная в августе 1955-го, уже не прибегала к этим сервитутам вовсе. Однако и так пробудила скандал, Павла Хоффмана отозвали с должности главного редактора «*Nowa Kultura*» – но именно это произведение определило новые стандарты искренности написания о послевоенной Польше, на фоне которых третий том «Неутраченного времени» уже отдавал анахронизмом.

Лем же в 1955 году уже тешился статусом писателя, которого читали, любили, хорошо рецензировали, расхватывали издатели, однако он всё ещё был второстепенным. Это изменит именно 1956 год.

Что считать меркой писательского успеха? Что является решающим для перевода из второстепенности в первые ряды? Во времена ПНР критерии были немного другими, хотя и не сильно отличались от нынешних. Сегодня, в эпоху сравнительно дешёвых и популярных путешествий, немного меньше значения уделяют заграничным командировкам, но и писатель, которого приглашают в Берлин и поселяют в «самом что ни на есть» отеле, имел бы чем похвастаться в «Фейсбуке».

Ведь каждый писатель хотел бы пережить хотя бы один такой момент, когда читатели вырывают из рук зачитанные до дыр экземпляры еженедельника или хотя бы ежеквартальника с его рассказом или эссе. Он хотел бы стать кем-то, о ком американцы говорят «*the talk of the town*». В Штатах *«the town»* в этом контексте имеет обычно лишь одно значение – Нью-Йорк (в конце концов, в журнале «New Yorker» есть знаменитая рубрика именно с таким названием), в Польше это Варшава и Краков.

Лем впервые достигает такого успеха летом 1956 года именно благодаря рассказу о сепульках. Это даёт ему статус, какой сегодня есть у Витковского, Масловской, Пильха или знаменитых авторов нон-фикшн, как Филипп Спрингер или Магдалена Гржебалковская. Каждый интеллигент должен иметь собственное мнение об их новой книге.

«Магелланово облако» было популярным, но его чтение в кругах интеллигентов не было *de rigueur*. Наоборот – они воспринимали это как вид стыдливого удовольствия, как чтение романов или детективов. Тот же Адам Влодек, который теперь восхищался сепульками, ещё не так давно написал фельетон под названием «Почему я не читал «Магелланова облака»[161]. Во второй половине 1956 года Лем становится не только писателем, которого все охотно читают, – он становится писателем, которого нельзя не читать.

И, наконец, тогда – так, как и сегодня, – мечтой прозаика было существование в мире кино. Известно – там самые большие деньги и самый большой размах. Что такое все литературные награды на фоне прохода по красной дорожке в обществе звёздной команды и знаменитого режиссёра!

И тут снова наступает перелом в 1956 году. Лем вошёл в этот год, ведя корреспонденцию с Кшиштофом Теодором Тёплицем на тему сотрудничества с объединением «Кадр». Ничего из этого, как известно, не вышло, что не меняет однако факта, что тот год Лем закончит уже как автор, у которого есть конкретный договор на киноадаптацию. Наверное, он бы очень разозлился, если бы кто-то сказал ему, что это затянется на целых три года, а результат выльется скорее в разочарование. Но в мире кино так бывает.

1956 год в польской литературе обычно ассоциируется с Гласко, Бурсой, Стахурой, Хербертом или Белошевским. Отличник в школе, пишущий сочинение на заданную тему, наверное, вспомнил бы об изданиях «*Współczesność*» и «*Po Prostu*», может быть, о поколении Колумбов. Однако, вероятно, не назвал бы Станислава Лема, который, рождённый в 1921 году, к этому поколению, безусловно, принадлежал.

Если бы Лему, Блоньскому и Щепаньскому удалось провернуть ту операцию по завоеванию краковского отделения Союза польских писателей и вырвать из рук Владислава Махеека его еженедельник, возможно, сегодня мы бы говорили о поколении «*Życie Literackie*» так, как говорим о «*Współczesność*». Однако у них не получилось, а в политику существующих тогда журналов Лем не вписывался.

Он никогда не познает «укуса Гегеля», его не захватит соцреалистический «романтизм больших коробок», он никогда не поверит в эту систему настолько, чтобы пережить шок после доклада Хрущёва. Из писем видно, что он более или менее ехидно посмеивался над потрясениями, которые тогда переживали его ровесники – Ворошильский, Врублевский или Сцибор-Рыльский.

Такой же ехидный подход к оттепельной эйфории был, кажется, и у Славомира Мрожека, с которым Лем близко подружится в следующем году. И так же, как и Мрожек, Лем окажется на окраине феномена 1956 года. Он переживёт этот перелом по-своему, сохранив свою обособленность. Что, в свою очередь, приведёт к тому, что шестьдесят лет спустя книги Лема, как и книги Мрожека, пройдут испытание временем намного лучше, чем многие тузы из «*Współczesność*» и «*Po Prostu*».

# V
# Эдем

В 1956 году Лем обрёл литературную славу. Но лучшее было у него ещё впереди.

Предположим, что в 1957 году случилось бы что-то, что отняло бы у него желание творить – скажем, сбылась бы мечта о наследстве от таинственного родственника из Америки. (Предполагаю, что создание образа кого-то, кто пишет ради «алчности Мамоны», было лишь элементом лемовского «самовымысла», ведь если бы это было действительно так, он бы, вероятно, выбирал более простые темы. Однако призываю помнить, что мы лишь проводим мыслительный эксперимент.) Что из его произведений шестьдесят лет спустя пережило испытание временем? «Больница Преображения» и горсть рассказов. Мы бы вспоминали сегодня Лема как автора реалистических романов о Второй мировой, который, помимо этого, написал ещё пару фантастических юморесок для «*Przekrój*». Тогда мы бы не вспоминали Лема как короля польской и мировой фантастики. Романы «Астронавты» и «Магелланово облако» принесли ему славу и деньги, но не прошли испытание временем. А одной «Больницы Преображения» было бы мало, чтобы попасть в пантеон бессмертных. Мы бы просто вспоминали Лема как ещё один метеорит, который на миг вспыхнул на литературном небосводе в этом необычном 1956 году.

Произведения, которые сделали его литературным событием века, будут написаны в течение следующих нескольких лет, и это будет, разумеется, прежде всего фантастика. В 1957 году Лем, однако, входит как автор с большими амбициями, выходящими за пределы *science fiction*. Он несколько лет работает над «Диалогами» – книгой более философской, чем беллетристической[162]. И ему постоянно не везло с ней. Как я уже писал, кибернетика долго была в ПНР проклятой наукой и даже «Магелланово облако» не хотели издавать, потому что там де-факто описывалась кибернетика, но под другим названием («механоэвристика»), как дисциплина, которую изучает главный герой. Фиалковскому он потом рассказывал, что внутренний рецензент издательства, Игнаций Злотовский, по этой причине задержал рукопись почти на год.

Цифровые машины не могли появиться в фантастической литературе в советском лагере, например в «Туманности Андромеды» Ефремова всё механическое и аналоговое. Лем

обходил это ограничение, описывая какие-то «автоматы» или «трионы», не вникая в механизмы их работы. Однако «Диалоги» были серьёзной попыткой популяризации кибернетики.

Первые диалоги Лем начал писать в стол, не надеясь на то, что это будет когда-либо опубликовано. В 1956 году такая надежда появилась, отчасти из-за смягчения запретов цензуры, а отчасти из-за возрастающей популярности Лема. Издатели засыпали его предложениями. В ответ он говорил, что у него есть почти готовая книга о кибернетике. Не роман, но эссе. Можно представить себе разочарование издателей, которые искали что-то развлекательное, для молодёжи, о ракетах и космосе!

Заинтересованность проявило только «*Wydawnictwo Literackie*», которое опубликовало (после долгих перипетий) «Неутраченное время». В период оттепели издательство стало любимцем Люциана Мотыки, связанного с пулавянами деятеля ПОРП из довоенной ПСП. Мотыка в правительстве занимался культурой (сперва физической, но потом его перевели в культуру и искусство). Он был важной фигурой в краковском воеводском комитете. В 1957 году он стал его первым секретарём. Благодаря его протекции издательство могло провести через цензуру то, что задержали бы в других местах[163]. А то, что с «Диалогами» будут проблемы, было известно с самого начала. Лем безуспешно пытался опубликовать фрагменты в «*Nowa Kultura*» и «*Życie Literackie*». Он ещё больше усложнил свою ситуацию, создавая на переломе 1956 и 1957 годов диалоги VII и VIII, в которых открытым текстом говорит о том, что тоталитарный режим не может в перспективе функционировать стабильно.

Когда именно он закончил работу над книгой? В ней странная приписка: «Краков, 1954–1955 – ноябрь 1956». Как это часто бывает у Лема, не стоит верить тем датам, которые он пишет. Я уже говорил, что начал он её, вероятно, до 1954 года, а закончил только в начале 1957 года. Об этом свидетельствует корреспонденция с Ежи Врублевским. В декабре 1956 года Лем выслал Врублевскому рукопись «Диалогов» – книга родилась из лекториев, в которых они оба принимали участие и где началась их многолетняя дружба. В письме Лем объясняет, что в последнем диалоге апеллирует к социологической марксистской терминологии не потому, что верит в марксизм, а потому, что «люди у нас привыкли к этой терминологии», а выдумывая собственные понятийные конструкции *ad hoc,* он бы стал «шарлатаном»[164]. Это описание подходит к диалогу, который вышел в окончательном варианте книги как диалог VII – предпоследний.

В январе 1957 года Лем извиняется за задержки в

корреспонденции и объясняет, что был занят написанием ещё одного диалога, посвящённого «вопросам расслаивающей селекции в конкретных общественных системах». Это диалог VIII – действительно последний. «В конечном итоге увеличенную до 233 страниц книжицу я послал в издательство, не думая вносить дальнейшие изменения, что бы ни происходило», – писал он Врублевскому[165].

То есть похоже на то, что конечная дата в приписке (ноябрь 1956) появилась потому, что Лем считал рукопись готовой, но очень быстро поменял своё мнение и дописал ещё один раздел.

Потом у него не было времени редактировать текст, потому что следующие несколько месяцев прошли под знаком борьбы с цензурой. Существовал риск, что «Диалоги» опубликуют без двух последних разделов или вообще не опубликуют. В мае 1957 года он писал Сцибору-Рыльскому, что на самом деле он уже получил вёрстку с корректурой – но «последние страницы ещё не прошли цензуру и я немного обеспокоен»[166].

Почему эта книга вообще прошла цензуру – я понятия не имею. Моя гипотеза такова, что Люциан Мотыка (который, собственно, возглавил краковский воеводский комитет) использовал своё влияние, чтобы привлечь краковского автора в краковское издательство. Сегодня Лем однозначно ассоциируется с «*Wydawnictwo Literackie*», но в середине 1957 года это ещё не было так очевидно. «*WL*» на самом деле издало «Неутраченное время», но уже «Астронавты», как помним, вышли в варшавском издательстве «*Czytelnik*». Более того, Лем оказался верным молодёжному издательству «*Iskry*» (тоже варшавскому). Оно издало следующее: «Сезам и другие рассказы» (1954), «Магелланово облако» (1955) и «Звёздные дневники», которые впервые под этим названием вышли в марте 1957 года.

Самого Лема многократно спрашивали о том, как он справляется с цензурой, и он привык как-то отшучиваться на этот вопрос – что может означать, что Лем не хотел врать и одновременно не хотел рассказывать правду. Фиалковскому, например, он объяснил, что секрет кроется в том, что в то время никто в Польше не смог понять эту книгу, что, разумеется, неправда, о чём свидетельствует тогдашняя рецензия Дануты Кемпчинской из «*Nowe Książki*»:

> «*Результатом этих размышлений являются не столько возможности, приписываемые будущим векам, сколько диагнозы, выставленные нынешним болячкам общественной жизни. Почему в нашей системе так популярно было явление «решений сверху»? Почему за*

*двенадцать лет вырос целый словарь выражений, искажающих смысл всех существенных недомоганий системы? Когда «план» выступает против произведений науки, искусства, культуры и почему – вот несколько вопросов, на которые Филонус пытается ответить с кардинально новой точки зрения, удивительно отличающейся от формулировок печатной публицистики»*[167].

Из двух книг Лема, опубликованных в 1957 году, важнейшими с сегодняшней точки зрения были, конечно, «Звёздные дневники», хоть, собственно, там было немного «премьерного» материала. К пяти рассказам о Ийоне Тихом, опубликованным ранее в «Сезаме» (путешествия двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвёртое, двадцать пятое и антиамериканское «двадцать шестое и последнее», которое было напечатано в этом томе во второй и последний раз), было дописано три новых: двенадцатое (о том, как благодаря изобретённой Тарантогой машине для растягивания времени Тихий наблюдает разные фазы развития общественной цивилизации «микроцефалов»; это очевидная сатира на оттепель), тринадцатое (о Мастере Ох, бальдурах и бадубинах – к этому мы ещё вернёмся) и четырнадцатое (о сепульках, курдлях и осьмиолах, уже известное из «*Przekrój*»).

Этих рассказов было бы мало даже для тоненькой книги, потому были добавлены другие рассказы, написанные ранее для «*Przekrój*», и даже для «*Nowy Świat Przygód*» («Конец света в восемь часов»). В отличие от «Диалогов», это издание «Звёздных дневников Ийона Тихого» не принесло Лему творческих мук, достойных обсуждения в корреспонденции. В марте Врублевскому он писал, что «присылает свою последнюю книжечку», и сразу переходит к вопросам куда важнее: что в Закопане погода была прекрасна, так что он успел загореть, что «теперь его принимают за негра из Камеруна»[168], а также к переживаниям о «Диалогах». Тогда ещё не было известно, не отбросит ли цензура всей книги полностью.

В апреле он начал писать «Расследование» и с самого начала жаловался, что идёт тяжело[169]. Это была вторая попытка Лема соединить форму детектива с фантастикой. Первым был «Испорченный детектив», который Лем начал писать где-то с 1955 года, после чего отказался от этой идеи и навсегда закрыл рукопись в папке с тем же названием (по причине отсутствия лучших идей, «Агора» издала незаконченный роман именно под этим названием в собрании произведений Лема в 2009 году).

«Испорченный детектив» повествовал о миллионере Мейстерсе, который нанимает детектива Кавиша, чтобы тот разгадал загадку его смерти. Мейстерс передал своё поручение в письме, отправленном Кавишу в последние дни своей жизни, которые он провёл в необычной клинике, что использовала новаторскую терапию, связанную с радиоактивным облучением. События происходят в 1960 году, то есть в близком будущем. Лем, вероятно, не знал, как закончить роман. Та же проблема была и во время работы над «Расследованием» (делаю такой вывод, так как концовка «Расследования» похожа на Гомбровича: «Конец – вот дела! Кто прочёл, тот труба»). Удачное сочетание этих двух жанров поп-культуры – «Насморк» – будет написан лишь в 70-х, хотя «Расследование» тоже причисляют к лемовскому канону.

«Расследование» прежде всего оправдывает прекрасно созданная атмосфера, словно из ужастика. Лейтенант Грегори из Скотланд-Ярда ведёт следствие по одному мрачному делу. В типично английском тумане ночью исчезают останки из лондонских склепов. Похоже на то, что мёртвые оживают и просто выходят. Вымышленный Лондон (настоящего Лем не знал) напоминает сценографию телевизионного Театра Сенсаций «Кобра». Грегори постоянно пьёт виски в баре (не в пабе, потому что пабов в Лондоне просто нет). Носит он, разумеется, плащ. Бывает в «Ритце» (куда можно доехать трамваем – верно, Лондон ведь знаменит трамваями!..). Но все подобные неувязки парадоксально изображают в книге дух времени, пробуждают ностальгию по пээнэровской простоватой поп-культуре. Если бы это хотя бы как-то хорошо закончилось! В 1974 году Лем писал своему русскому переводчику, что после стольких лет наконец придумал хороший конец для «Расследования» – вместо того чтобы объяснить всё простой случайностью, он должен был выдумать серию независимых факторов, которые подействовали лишь в такой комбинации[170]. Так что он написал «Расследование» ещё раз, но уже как «Насморк».

Лем в письмах много жалуется, что по ходу написания «Расследования» его мучил творческий кризис. Скорее всего, его самого мучило понимание того, что он понятия не имеет, как это закончить. Тогда ему мстил тот факт, что он был писателем-самоучкой, потому у него не было типичного для профессионала инстинкта, чтобы перед тем, как взяться за написание очередного текста, обдумать весь конспект или хотя бы структурную схему сюжета. Роман для него развивался по ходу написания – как для читателя по ходу прочтения. Порой это шло быстро и хорошо, как в случае «Больницы Преображения», а порой медленно и

болезненно – как в том же «Расследовании».

Другое дело – что Лему в 1957 году просто некогда было писать. Он занимался многими делами сразу. Адам Холланек уговорил его сотрудничать с иллюстрированным еженедельником «*Zdarzenia*». Лем несколько лет писал туда постоянную рубрику – фельетоны. Сперва это очень его радовало, потому что до того он жаловался, что негде печататься – для «*Nowa Kultura*» он был недостаточно марксистским, а для «*Tygodnik Powszechny*» – недостаточно католическим. Собственный постоянный фельетон в рубрике – это уже что-то. Из корреспонденции, однако, видно, что это занимало у него немало времени. А всё предприятие было не слишком серьёзным. «*Zdarzenia*» печатались низким тиражом, который к тому же постоянно падал. Платили они нерегулярно, на что Лем регулярно жаловался в письмах. Окончательно они прекратили своё существование в 1960 году.

Хорошая новость пришла к нему в мае. Станислав Лем получил литературную награду за «Неутраченное время». Это была Награда города Кракова, основанная альтернативой тогдашних местных органов самоуправления, то есть городским национальным советом. В письме к Сцибору-Рыльскому Лем писал, что переживает из-за того, что получил награду благодаря «нелитературным факторам в ГНС», потому что писатели хотели дать награду Ханне Морткович-Ольчак, дочери довоенных издателей Мортковичей, матери Йоанны Ольчак-Роникер. В письме заметно, что Лем боится перейти дорогу такой влиятельной литературной династии. Он задаётся вопросом (хоть и якобы в шутку): «Коллеги сильно меня за это костерят?»[171].

Кем могли быть эти таинственные «нелитературные факторы в ГНС»? Если эти слухи правдивы (подчёркиваю: не могу утверждать этого с полной уверенностью, Лем пишет в письме, что услышал это от таинственных «доброжелателей»), то это вполне соответствует моей предыдущей гипотезе: первый секретарь воеводского комитета Люциан Мотыка (чьё желание для ГНС было законом!) давал Лему понять, что из его сотрудничества с «*WL*» получаются одни плюсы. Ведь награду он получил именно за книгу «*Wydawnictwo Literackie*», а не «*Czytelnik*» или «*Iskry*»…

Кроме этой, положительных новостей было немного. Экранизация тянулась ещё год – и всё ещё ничего не получалось. Польза была по крайней мере в том, что это давало Лему повод ещё несколько раз съездить в Берлин. Благодаря этому гонорары за свои тамошние переводы он мог получать в восточных марках и, меняя их нелегально на западные, покупать в Западном Берлине товар, которым потом торговал в Польше. Эту идею Лему

предложил Марцель Рейх-Раницкий (так Лем рассказывал Бересю), человек очень противоречивый – работник службы разведки Польской Военной Миссии в Западном Берлине, а в 1958 году он эмигрировал в ФРГ, где сделал блестящую карьеру литературного критика. Лем пишет о нём без тени симпатии, но его валютные советы, безусловно, оказались для Лема полезны.

За переводы на русский и чешский Лем не получал и этого. Советский издатель не отвечал на письма, а чехословацкий прикрывался отсутствием межгосударственного договора о взаимной оплате за авторское право. Лем пригрозил ему описать ситуацию в открытом письме в «*Nowa Kultura*», и лишь тогда ему пообещали гонорар (но с тем же условием – не может быть и речи ни о каком переводе денег, нужно было приехать лично и забрать в издательстве кроны).

Тем времени деньги становились всё больше нужны Лему. В том же письме (в мае 1957 года) появляется первое воспоминание о том, что вскоре станет бездонным колодцем, поглощающим пачки банкнот: Лем рассказывает Сцибору-Рыльскому, что его приятель Ян Блоньский, собственно, «переехал из Кракова в Борк Фаленцкий, где ему построили домик».

Формально, это не был переезд из Кракова. Просто этот посёлок, существующий с XIV века, ввёл в административные границы Кракова генеральный губернатор Ганс Франк в 1941 году.

Из стратегических соображений немцы построили дорогу, соединяющую Краков с Закопане. Послевоенные власти Кракова начали создавать вдоль неё хаотические предместья, основным плюсом которых был хороший, быстрый доступ к центру города. А точнее – должен был быть, так как в 1957 году «закопанка» была однополосной с бетонными плитами. Без трамваев, автобусов, канализации, магазинов и даже без каких-либо других укатанных дорог поблизости.

И всё же – шанс жить так, как показывают в американских фильмах, – в домике в пригороде и с машиной в гараже – действует на Лема как магнит. Жизнь на Бонеровской удобна, по стандартам ранней ПНР, но Лемы успели увидеть, как живут люди на Западе. У них нет желания бесконечно ютиться в коммуналке, хоть и с друзьями-соседями Колодзеями. Барбара Лем к тому же хочет перевезти в Краков и свою мать.

Её муж – тесть Станислава Лема – до войны был управляющим земских поместий, то есть так называемым экономом. До войны он работал у графини Лянцкоронской в её поместье подо Львовом. Лесьняки знали, что сталинская оккупация означала для них верную смерть, потому ещё в

1939 году переехали под Краков. Лянцкоронская тоже погибла бы, если бы не воспользовалась в последний момент обменом населения в мае 1940 года.

Во время оккупации Лесьняки жили у своей семьи в районе Добчиц (сегодня это поселение находится на дне Добчицкого озера, возникшего после того, как на реке Раба была поставлена дамба). После войны они переехали в ГСХ неподалёку от города Бытом. После смерти мужа мать Барбары не знала, что делать. Она охотно бы переехала к дочери и зятю, но на Бонеровской было бы слишком тесно для них, да и в Кракове не так-то просто было легально доселить кого-то в коммунальную квартиру.

Блоньский в то время прельщал тем, что в районе Клины, где он сам жил, выставлен на продажу один дом. Своего покупателя ждал он долго – и не без причины: дом стоял ниже всего, потому был больше, чем остальные, подвержен разного рода подтоплениям.

Этот район не стоит представлять себе по примеру картинок из рекламы современных застройщиков. Формально это был жилищный кооператив, созданный на разделённом на участки сельскохозяйственном поле. Сегодня этот район выглядит красиво благодаря многолетней зелени, но на фотографиях полувековой давности это просто ряд кирпичных домов в чистом поле.

Томаш Лем пишет в «Приключениях…», что его отец даже слышать не хотел о переезде в подобное место. Но его уговаривал Блоньский. Уговаривала жена. Соблазняла мечта, жить так, как живут писатели в Америке. Судя из писем – больше всего Станислава Лема соблазняло то, что одним из элементов всего этого набора будет собственный автомобиль. Он мечтал о машине ещё с 1939 года, когда получил свои первые водительские права – ещё довоенные (в ПНР они были недействительными). Оккупация, конечно, перечеркнула эти мечты, но Лем вернулся к ним после войны. Фиалковскому он говорил, что они с Хуссарским планировали строить машину сами, с нуля. В итоге ничего из этого не вышло – к счастью, – так как Лему тогда совсем не оставалось бы времени на творчество. Но это подтверждает, что мечта всё ещё жила в нём.

Только в ПНР мечта о собственном доме и собственном автомобиле была мало реальна даже для очень старательного писателя. Новую машину можно было купить только за валюту в государственном банке РКО[172], который – что может быть малопонятно современному человеку – продавал уголь, водку, станки для бритья, джинсы и детские игрушки в рамках «внутреннего экспорта» (то есть продажа велась для своих

граждан, которые имели в собственности заграничную валюту).

Флагманской машиной в предложении РКО-банка в 1958 году была «Симка Аронде», которую в Польше чаще называли «рондель»[173] (хотя на самом деле её оригинальное название апеллировало к старофранцузскому слову «ласточка»). Рондель стоил 1950 долларов – сумма, которая в переводе на сегодняшние деньги была бы около 16 тысяч. Сегодняшнего поляка эта цена за новую машину уже не шокирует, но тогда Лем даже не имел права владеть такой суммой долларов.

Происхождение валюты надо было задокументировать. Магазины РКО были предназначены прежде всего для тех, у кого были легальные источники валютного заработка – например, с какого-то контракта в так называемом «представительстве». Лем мог бы ещё как-то подтвердить заработки в рублях, чехословацких кронах или восточно-немецких марках, но все его западно-немецкие марки были с чёрного рынка, потому он не мог декларировать владение ими.

В письме к Сцибору-Рыльскому в августе 1957 года Лем выдвигает утопичные планы. Банк РКО официально считает советские рубли валютой столь же привлекательной, как и американские доллары (а даже куда более привлекательной!). Может, удастся купить у них «рондель» или хотя бы «Москвич» за рубли?[174]. Ясное дело, ничего из этого не вышло. Так же как и из ещё более отчаянного плана купить довоенный «Фиат 500» в хорошем состоянии. Такое предложение подвернулось ему в июне 1958 года[175], но, прежде чем Лем успел принять решение, машина нашла своего покупателя[176] («другого фраера»), утешался Лем, так как это действительно была бы не лучшая его покупка.

В результате выбор пал на самый дешёвый из доступных для поляка автомобилей – гэдээровский «AWZ P70 Цвикау». Немного экземпляров этой машины дожило до наших дней – они были ужасно аварийные и крайне плохой сборки. Как и у его преемника «Трабанта», у «P70» был корпус из стекловолокна на деревянном каркасе. В этом можно было бы найти даже положительные стороны, так как ремонт «парковочной аварии» стоил далеко не столько, сколько стоит у сегодняшних автомобилей, которые зачем-то выкрашены со всех сторон в металлик, и каждое небольшое столкновение выливается в тысячи.

Кузов «P70» ремонтировал не автомеханик, а… слесарь! Какое-то время спустя эти машины буквально разлетались на куски, когда деревянный скелет прогнивал (такую деконструкцию «P70» показали в сериале «Альтернативы-4»).

Двигатель был двухтактный, потому «P70» был оборудован специальным нововведением, которое и сегодня помнят те, кто успел поездить «Сиренкой» или «Вартбургом», – муфта свободного хода, специфический вариант сцепления, которое должно было защищать двигатель от трения на высоких оборотах (в отличие от четырёхтактного двигателя, при двухтактном отсутствует возможность торможения двигателем). В практике муфту свободного хода часто не получалось включить, когда водителю это было нужно, или выключить, когда этого уже не требовалось. Тронуться с места на этой машине было не так просто. Недостаточно было повернуть ключик и сразу ехать – нужно было ещё помучиться с муфтой свободного хода. Помучиться в прямом, физическом, смысле этого слова – никакого усилителя руля там не было. Лем сравнивал этот жест с «вырыванием доски из деревянного забора»[177].

Однако отмечу, что другие водители двухтактных двигателей не отзывались о них так плохо – возможно, Лем преувеличивал? В любом случае, если верить писателю, езда на длительные расстояния тоже не была простой – смена передач требовала «изящных операций» (газ с выжатым сцеплением, старт на полусцеплении, раскачивание кузова)[178]. Езда на этой машине на дальние трассы была рискованная также потому, что инструкция предполагала техосмотр и смену масла каждую тысячу километров. В Польше нетрудно столько проехать в течение одного отпуска, даже не выезжая за границу.

Поскольку у Лема не было долларов, чтобы купить «Симку» в РКО, ему оставалось взять «P70» за злотые в «Motozbyt»[179], что он и сделал в середине сентября 1958 года. Вот только не представляйте себе этого так, что он вошёл в один из краковских салонов «Motozbyt» и просто так купил машину. О нет! Прежде всего нужна была протекция – и в этот раз Лем уже открытым текстом пишет Сцибору-Рыльскому, что протекция вышла из краковского воеводского комитета ПОРП (что только доказывает прежние гипотезы по поводу «Диалогов» и награды):

> *«На прошлой неделе я поехал в Катовице, поскольку только там можно было достать «P70», и то – лишь при сильной поддержке со стороны ВК (краковского). Машину я выбрал из десяти голубых (других не было) после коротенькой пробной езды, а весь следующий день прошёл в лихорадочном сборе мамоны. Всю наличку я сунул в штаны и назавтра отправился с Барбарой в катовицкий «Motozbyt». Мы счастливо транспортировали любимый драндулет в Краков и остановились в Борке, в нашем*

*гараже, причём машину за умеренную оплату довёз шофёр директора катовицкого «Motozbyt». С тех пор мы наняли инструктора, с которым я езжу, сколько могу, прикрепив на свой «P70» табличку «учебный», – таким образом я сделал уже первые 200 км. Благодаря прошениям, протекции и финансовому кумовству мне удалось записаться сразу на экзамен по вождению, который будет в ближайшую среду. До этого момента я не могу, к сожалению, ездить сам*».

На водительском экзамене его больше всего раздражала необходимость знать наизусть теорию строения двигателя внутреннего сгорания, в которой он и так прекрасно разбирался, но экзамен можно было провалить, используя терминологию не так, как в ответах. «Зачем нужно масло? – Для снижения трения при скольжении, для охлаждения, для смазывания, для гидроизоляции, равно как и для консервации. А если забудешь про РАВНОКАКИ, можешь не сдать!»[180] – иронизировал он в письме к Сцибору-Рыльскому, который сам в то время планировал покупку машины и по этому поводу его, вероятно, очень интересовали все эти переживания Лема.

Лишь перспектива покупки автомобиля склонила Лема переехать в дом в пригороде. Однако формальности, связанные с покупкой и ремонтом, были зоной ответственности жены. Это заняло у Лемов весь конец 1957 года и почти весь 1958 год. Дом был сырой, неотремонтированный. Например, даже крыша была перекрыта плохо. Когда в январе 1958 года Лемы пробились через не очищенную от снега дорогу к своей недвижимости, то с ужасом увидели, что снег просыпался через дыры в крыше и внутри лежало «четыре тонны снега».

«*Более того, огромные подтёки на потолках, грязь, гниль, полный бардак и так называемое Прогрессирующее Небытие. Барбара, бедная, сильно расстраивалась, что всё, что должны были сделать в феврале [?], который был таким тёплым, оказалось Ложью, а меня это ничуть не удивило. Под снежным сугробом мы откопали двух замерших в позе сущих мух чиновников, которые жгли тайные акты кооператива, грели чай и руки над трубой печи. Те чиновники, которые Ничего Не Знали и вместо того, чтобы что-то сказать, только тихонько бубнили. После чего мы отправились в обратный путь, и уже час спустя выбрались в более населённую местность, поближе к дому на Бонеровской*»[181].

Было похоже, что кооператив отказался закончить ремонт дома, потому что из-за халтуры строителей, которые не сделали дренаж окружающей территории и изоляцию фундамента, дом был на самом деле одной большой строительной катастрофой и подходил только для демонтажа. Лишь кто-то отчаянный или сумасшедший мог согласиться ремонтировать его за свой счет.

«Если бы я знал, то сперва купил бы цианистый калий, а сейчас и на него не хватит», – писал Лем в письме в июне 1958 года[182]. В этот момент у него уже даже не хватает сил на то, чтобы пошутить над ситуацией, которую ещё несколько месяцев назад описывал с юмором:

> «*В нашем доме, в который мы ещё не переехали, было сделано открытие большого масштаба – вода гейзером залила весь подвал и гараж. При ближайшем осмотре оказалось, что речь идёт о внутреннем бассейне глубиной около 30 сантиметров воды подкожно-грунтового происхождения, вызванном отсутствием отлива грунтовых вод, а также нарушением кооперативом элементарных строительных правил изоляции фундамента и дренажа, а также отсутствием геологического анализа и так далее. Огромные наши усилия и денежные траты привели к частичному отводу воды в течение всего десяти дней! Однако некоторое её количество охотно возвращается, бьёт из источника, который тихо, умиротворённо бурлит у нас в подвале.*
>
> *В данный момент мы приглашаем сюда специалистов за большие деньги, и они делают выводы касательно того, как дом должен развалиться, например из-за грибка, который, словно пальма, выстрелит, милые братья, вверх из стоящей в подвале Глубокой Воды. Они советуют сбагрить этот дом, но некому, и купить себе кооперативную квартиру, но не за что*»[183].

Расходы, связанные с этим домом, были куда выше, чем тогдашние возможности Лема. Из сумм, которые он время от времени указывает в письмах, видно, что книга могла принести ему около 10 или 20 тысяч злотых, а расходы на дом выливались в сотни тысяч. Кстати говоря, сегодня эти отношения выглядят подобным образом.

В одном только 1957 году он был вынужден заплатить кооперативу сто сорок тысяч, а это был только первый транш[184]. Тогдашняя польская налоговая инспекция заинтересовалась этими огромными суммами и высчитала так называемый добавочный налог, то есть доплату в размере трёх тысяч злотых.

Заработки Лема в 1957 году по расчёту налоговой составили около двухсот тысяч злотых. Я не могу сказать, правдива ли эта сумма, но нужно помнить, что Лемы действительно имели ещё нелегальный доход. Во всю эту афёру с домом они могли войти только благодаря помощи тёщи Лема. Она продавала на чёрном рынке бижутерию, которую ей удалось спрятать с довоенных времён. Лем пытался также торговать товарами, купленными во время поездок в Берлин, но из него вышел не очень хороший торговец. В письмах он с юмором описывает свои «купеческие» поражения:

> «*Дорогой мой, я торгую чем могу. Заместитель главного редактора «Краковской газеты» за 630 злотых согласился купить божественные чёрные слипперы, которые я купил себе, но что поделать. 78 марок стоили, а он 10 дней спустя дал мне 500 злотых, а остальную сумму просил «подождать пару дней». До сегодня жду. Холланек из «Zdarzenia», как я уже говорил, не платит за рассказ, только каждый раз присылает Гарантийные письма с печатями «Gazeta Krakowska» или выставляет другие обещания, подписанные редколлективом, чтобы успокоить меня, но эти талоны несъедобны, и когда я вижу его, то только выть начинаю […]. Вот и выходит, что я только какие-то залежи непотребные привожу. Вообще ничего не получается. Не хочу повторяться, но восхитительное голубое платье Баси спустя 2 дня носки обвисло на попе, как торба для конского корма, и растянулось, что ужас, теперь висит в шкафу – не продашь и носить нельзя. Так вот и идут наши дела.*
>
> *Как видишь, дорогой Лешек, голова у меня уже раскалывается от этой Торговли и Сделок, а удача мне благоволит как погибшему под дорожным катком во время укладки трассы для бега на длинные дистанции. Я отдал одному доверенному молодому человеку на продажу фотоаппарат, так он ушёл и пропал без вести вместе с моим фотоаппаратом. Чтоб я сдох, если увижу ещё раз свой фотоаппарат или деньги […]. То кольцо, которое стоило 3041 марку, когда мы были у оценщика, оказалось, что стоит около 3000 злотых, потому что немодная огранка и вообще оно некрасивое. Так что Бася носит – ей хотя бы нравится. Неплохо, да?*»[185].

Под знаком ремонта дома, высушивания фундаментов, смены окон, перекрытия крыши и монтажа желобов для семьи Лемов прошёл весь 1958 год. Мало того – у обоих Лемов начинает

сбоить здоровье – скорее всего, причиной этого были усталость и стресс. Барбару начинает ещё больше беспокоить печень, об этом появляются упоминания в письмах ещё в 1956 году. Сейчас же она страдает от печёночных колик, которые практически парализуют её. Станислава подобным образом беспокоят почки – такой же парализующей болью.

В таких условиях кто-то из них ежедневно должен бывать на стройке. Пока они не купили машину, но вынуждены были брать такси, которые стоили им «сорок злотых ежедневно»[186], то есть более-менее столько, сколько стоили бы сегодня.

К проблемам с домом добавились также проблемы с фильмом. Из корреспонденции видно, что в постоянных стычках с немцами он чувствовал себя брошенным польской стороной команды киношников, то есть Людвиком Старским, главой группы «Иллюзион». Он называл его словами, которые не пристало цитировать приличному биографу, к тому же, имея доступ только к одной стороне ситуации, я не знаю, насколько эти ругательства были обоснованны.

Версия Лема выглядела так, что у него были замечания к немецкому сценарию, но немцы не хотели разговаривать с Лемом и отсылали его постоянно к Старскому, который, в свою очередь, признавал, что Лем прав, но не собирался вести переговоры с немецкими партнёрами: говорил, что таким образом можно только прекратить сотрудничество и вытащить штепсель из всего проекта[187].

Я не хочу здесь вникать в то, кто из них был прав в этом споре. Поправки Лема кажутся толковыми, например, по поводу экспозиции (речь идёт о необходимом в *science fiction* объяснении зрителю, почему он видит мир не таким, каким знает его из каждодневной реальности; часто это решается простым пояснением в виде субтитров или комментарием диктора), хотел решить проблему подобным образом, как несколькими годами позже сделали в «Космической Одиссее» Кубрика: обо всём узнаём, наблюдая за космическим путешествием на космодром члена экспедиции, который, прощаясь с семьёй через видеофон, поглядывает на какие-то информационные программы – таким образом необходимая информация представляется зрителю естественным языком фильма[188].

Однако могло быть так, что если немцы взяли на себя бóльшую часть кинопроизводства и выбрали режиссёра, Старский просто не мог ничего им навязывать. Лем злился, что Старский не сделал невозможного – польская сторона, вероятно, могла только прервать сотрудничество, но не имела возможности настаивать на изменениях в сценарии. В любом случае в середине 1958 года

действительно было похоже на то, что фильм не будет снят, что для Лема стало бы финансовой руиной – с очередным траншем гонорара из Германии он связывал надежду оплатить очередной транш кооперативу.

Из-за всего происходящего ему не хватало времени даже на чтение: «Я 10 дней уже не читал никаких литературных журналов! Впервые в жизни!» – с ужасом признаётся писатель[189]. Удивительно, что ему хватало времени писать.

В письмах к Врублевскому и Сцибору-Рыльскому он страшно гневался на издательство MON, которое вернуло ему рукопись «Расследования», требуя разных исправлений. Между маем и июнем 1958 года Лем выехал в Закопане, где вносил правки. Книга в конце концов вышла, но уже в следующем году (хотя в самом тексте Лем указывает дату окончания «январь 1958»).

В апреле 1958 года, когда его будущий дом был ещё плантацией грибка, не покрытым крышей и с внутренним бассейном, Лем начал работать над будущей книжной новинкой следующего года. Он отчитывается Врублевскому, что написал рассказ о сумасшедшем, который дружит с «большим электронным компьютером» (разумеется, это «Друг»), и как раз начал новый – «мрачный рассказ о смысле бытия человека». Это, скорее всего, «Молот», который вместе с «Другом» (а также тремя первыми рассказами о Пирксе – «Испытание», «Патруль» и «Альбатрос») выйдет в сборнике «Вторжение с Альдебарана»[190].

Рассказы, входящие в этот том, весьма реалистичные. Легко себе представить их события (в отличие от гротескных «Звёздных дневников», где Лем с самого начала играет с воображением читателя, описывая, например, первые прогулки в космосе). Это может быть связано с фактом, что Лем в этот период постоянно переписывался с Объединением «Кадр». Высшие чины в управлении кинематографией, что правда, приняли решение, что «Астронавтов» снимут немцы, но «Кадр» (в первую очередь в лице Кшиштофа Теодора Тёплица) всё ещё был заинтересован в сотрудничестве с Лемом.

Пиркс, вероятно, был выдуман специально для фильма, потому что в переписке сразу появляются разные идеи касательно сценария с участием этого персонажа. В рассказе «Молот» не названа фамилия главного героя – астронавта, который входит с бортовым электронным мозгом в контакт, что вновь напоминает «Космическую Одиссею», но это, скорее всего, Пиркс уже в конце карьеры. Среди разных идей для фильмов была и такая, в которой этот рассказ составлял главную сюжетную линию, а остальные (например, «Испытание» или «Альбатрос») показывались как ретроспектива[191].

В этих письмах попадается также много интересных фамилий молодых режиссёров, которые тоже хотели снять что-то на основе произведений Лема. Речь идёт между прочими и о Казимире Кутце и Станиславе Барее, которому очень нравился заглавный рассказ «Вторжение с Альдебарана», который сильно отличался от остальных произведений сборника, поскольку носил сатиричный характер.

Главными героями были Нгтркс и Пвгдрк, пришельцы с Альдебарана, которые прибыли с целью колонизировать Землю и сделать из землян своих рабов. К счастью для человечества, они приземлились в месте, которое оказалось для них смертельной ловушкой, – в деревне Нижние Мычиски под Краковом.

Как представители более прогрессивной цивилизации, Нгтркс и Пвгдрк располагали универсальными переводчиками, которые переводили для них все земные надписи и слова. Из обрывков газет они узнали, что земляне могут отправить в космос искусственный спутник (это было 4 октября 1957 года, Лем тогда был занят написанием «Диалогов» и как раз примерялся к покупке дома и машины). Сгнивший указатель «Нижние Мычиски – 5 км» указывает в небо. Пвгдрк предполагает, что это название искусственного спутника. «Нонсенс, как они могут строить спутники, если не умеют даже выстругать ровный кусок доски?» – парирует Нгтркс. Дискуссию прерывает появление представителя вида *homo sapiens*.

«Добрый вечер, пан», – приветствует его (через переводчик) Нгтркс, вежливо улыбаясь в человеческом костюме. «Это тоже была одна из дьявольских уловок альдебаранцев. Они достаточно поднаторели в покорении чужих планет»[192]. К удивлению пришельцев, *homo sapiens* неожиданно атаковал их завесой «паров этилового спирта» (или $C_2H_5OH$, химическая формула которого должна быть знакома каждому настоящему поляку), а потом вырвал указатель и «ударил по голове двуногую куклу», крича при этом: «А, мать вашу сучью, дышлом крещенную…»

«Предок по женской линии четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырёхколёсного экипажа в рамках религиозного обряда, основанного на…» – ещё успел сообщить переводчик, прежде чем и его настиг смертельный удар. Жители Мычиск на следующий день привязали к останкам пришельцев по камню – и в озеро, а их ракету переделали на самогонный аппарат.

Барея мог бы сделать из этого весьма неплохой фильм, но Лем (что логично) не поверил, что цензура когда-либо пропустила бы нечто подобное. Он писал к Сцибору-Рыльскому: «Концепция Бареи кажется мне политически абсолютно

нереальной. Этого (особенно такого конца!) никто не пропустит. Это грязно-интеллигентские насмешки над Нашим Народом»[193].

В конечном итоге единственным рассказом из этого сборника, который дождался киноадаптации, стал «Друг», рассказ о «безумце, дружащем с электронным мозгом». В 1965 году для «СеМа-Фора» Марек Новицкий и Ежи Ставицкий снимут по нему короткометражный фильм, который уже в момент своего создания выглядел устаревшим. Гораздо позднее снятый фильм «Дознание пилота Пиркса»[194] является, кстати говоря, адаптацией не рассказа «Испытание», а рассказа «Дознание», которое Лем написал добрые десять лет спустя.

Где-то в 1958 году был написан настоящий шедевр, классифицированный лемологами как начало лемовского канона[195], – «Эдем». Лем работал над ним параллельно с «Расследованием» и «Вторжением с Альдебарана», но если работу над этими произведениями описывал в корреспонденции с Врублевским и Сцибором-Рыльским, то «Эдем» он писал в полном молчании. Неохотно потом говорил о нём даже в интервью, а все вопросы Береся остановил одним утверждением, что «Эдем» – это второсортная фантастика, а когда тот, шокированный, начал оппонировать, то признался, что, возможно, на фоне всей второсортной фантастики эта книга выглядела не так уж плохо – это как на фоне горбатых поставить обычного человека и говорить, что он Аполлон.

Тем временем «Эдем» без сомнений является выдающимся произведением на всех уровнях. В развлекательном смысле это прекрасный роман *science fiction*. Сегодня, конечно, его сценография кажется устаревшей, но то же можно сказать и о произведениях Хайнлайна, Кларка или Дика. Сюжетный костяк, однако, прекрасно функционировал бы даже сегодня, и если бы кто-то хотел сделать из него сценарий современного фильма в жанре *space opera*, то автора сценария ожидало бы лишь не очень сложное задание замены лингвистических лемовских архаизмов (слово «калькулятор» на «компьютер», к примеру) и слишком вежливых форм в общении между астронавтами.

Но есть ещё второй слой, о котором Лем вообще не собирался говорить. «Эдем» – это история одноимённой планеты, на которой разбиваются земные астронавты, потому что – как говорит об этом первое предложение – «*В расчёты вкралась ошибка*»[196]. Ремонтируя повреждённую ракету, астронавты познают цивилизацию существ, населяющих Эдем, которых называли двутелами (потому что они как бы состоят из двух отдельных организмов), и даже входят в контакт с одним из жителей планеты, который в драматическом финале весьма подробно

объясняет, почему эта цивилизация выглядит так странно.

Для Лема «Эдем» является радикальным, решительным прощанием с чем-то, что ещё несколько лет до того было похоже на его литературную программу. «Астронавты» и «Магелланово облако» дали читателю надежду, что в конце будет произведён какой-то Контакт и мы познаем другую цивилизацию, но в обоих случаях эти ожидания заканчиваются разочарованием. Поскольку читатели и критики обвиняли Лема в этом, в 1954 году Лем сообщил им на страницах «*Przekrój*», что не собирается описывать контакт с инопланетной цивилизацией, поскольку это было бы литературным обманом – можно попытаться представить себе космическую ракету, потому что её форма более или менее вообразима ввиду её предназначения. Однако нельзя представить себе другое разумное существо, потому что, будучи людьми, всё равно будем пытаться создать его по своему образу и подобию. Вплоть до «Эдема» Лем нарушал это правило только в сатирических произведениях, написанных с целью создания карикатуры человеческих проблем в космической сценографии. В «Эдеме» же он провёл подобный эксперимент в серьёзном контексте. В финале дружественный представитель двутелов рассказывает героям, что сто лет назад на этой планете началось построение идеального общества и закончилось тем, чем заканчивались подобные эксперименты на планете Земля: братскими могилами.

На этот раз Лем не жаловался на проблемы с цензурой, вероятно, потому, что их не было. Цензор, который бы признал, что видит в этом аллюзию на строй ПНР в аллегорическом рассказе о злостном тоталитаризме на другой планете, сам бы подтвердил, что ему что-то не нравится в строе ПНР. И в их интересах было делать вид, что не поняли аллюзии, даже если прекрасно её понимали (тем более если её понимали).

Своим «Эдемом» Лем положил начало целому течению аллюзийной фантастики, описывающей реалии восточного блока, переодетые в инопланетный костюм. Так потом поступали Стругацкие и Булычёв. Почему Лем избегал этой темы и не хотел говорить об «Эдеме»? Те из вас, кто проигнорировал моё предупреждение и прочёл второй раздел этой книги, могут догадываться. А остальные сейчас могут поверить мне на слово, что целые фрагменты «Эдема» оказались не плодом фантазии писателя. Лем написал эту книгу быстро и легко (скорее всего, большинство было написано во время одной из поездок в Закопане летом 1958 года), так как он не должен был ничего придумывать – он записывал воспоминания, возвращающиеся к нему регулярно в кошмарах.

Ниже приведена страшная сцена, представляющая вынос каких-то зловонных, полуразложившихся останков из особого подвала, появившегося, когда ракета врезалась в планету Эдем. Если исключить фантастическую сценографию, это чистые воспоминания самого Лема. Только делать это его просил не какой-то Доктор извиняющимся тоном, а бандеровские боевики, которые подгоняли таким образом Докторов, Инженеров, Химиков, Адвокатов и Редакторов, чтобы потом большинство из них убить на месте, а некоторых – как Раппопорта в «Гласе Господа» или Станислава Лема 1 июля 1941 года – выпустить на свободу:

> *«Машинное отделение выглядит, увы, как бойня. Нужно немедленно выносить и закапывать всё, в ракете слишком тепло, и поспешность в самом деле необходима – особенно при такой жаре.*
>
> *[…]*
>
> *Доктор наконец вылез из туннеля. Поверх резинового халата на нём был надет второй, белый, снизу доверху в красных пятнах.*
>
> *– Мне очень неприятно, это действительно может вызвать тошноту. Но что делать? Иного выхода нет. Идёмте.*
>
> *Доктор повернулся и исчез. Остальные переглянулись и поочередно нырнули в туннель. Похоронные работы, как назвал это Химик, закончились только после полудня. Работали полуодетые, чтобы не перепачкать комбинезоны. Расчленённые останки закопали в двухстах шагах от ракеты, на вершине холма, и, несмотря на призывы Координатора экономить воду, истратили на мытье пять ведер».*

Следующее описание показывает, что увидели бы астронавты, приземлившись между 1942 и 1943 годами на Кортумовой горе под Львовом, с которой тогда вытекал ручей «водянистого сока», как в «Эдеме»:

> *«Громоздящийся над краем рва восковой вал показался им в первый момент монолитной вспухшей глыбой. Страшная вонь едва позволяла дышать. Взгляд с трудом выделял отдельные фигуры. Некоторые лежали горбами вверх, другие – на боку, из складок грудных мышц больших тел высовывались болезненные, бледные торсы с вывернутыми, сплющенными личиками. Огромные тела, сжатые, сдавленные, и худые ручки с узловатыми*

*пальцами, беспомощно свисающие вдоль раздувшихся боков, были покрыты большими жёлтыми потёками.*

*[…]*

*Постепенно они подходили всё ближе, не отрывая глаз от того, что наполняло ров, – он был огромен.*

*Большие капли водянистой жидкости, блестящей в солнечных лучах, стекали по восковым спинам, по бокам, собирались во впадинах безглазых лиц, – людям казалось, что они слышат звук мерно падающих капель».*

Лем не хотел в интервью говорить об «Эдеме» по тому самому поводу, почему и не хотел говорить о втором томе «Неутраченного времени». Он слишком открылся в этой книге. В лице двутела, который устанавливал контакт с земными астронавтами, он описал самого себя, фантазирующего во Львове 1943 года о пришельцах из космоса, чтобы не сойти с ума от страха и отчаянья.

«Эдем» – это как бы выворачивание ситуации из юношеского «Человека с Марса». Герой той книги узнаёт от членов какой-то таинственной организации о приземлении на Земле существа, которое является чистым, разрушительным злом и с которым невозможно договориться. Он верит им, хотя по-хорошему они ничем не заслуживают его доверия (всё ведь началось с того, что его выкрали просто с улицы в Нью-Йорке!). В «Эдеме» же преступная диктатура представлена в пропаганде землян как чудовищ с целью отбить охоту местным жителям искать контакта с землянами. В пропаганду, однако, не верит один из двутелов, хотя попытка установить контакт заканчивается для него смертельно. Земляне случайно подвергли его смертельной дозе излучения.

Разговор ведётся с помощью автоматического переводчика. Земляне предлагают двутелу, что вылечат его. Но он уже знает, что так или иначе для него не существует будущего. Он не может вернуться к своим, потому что его убьют. И не может полететь с людьми, потому что жизнь в изгнании станет для него мукой, сравнимой с ностальгией изгнанного львовянина в Кракове.

*«– Хочешь остаться с нами? Мы вылечим тебя. Смерти не будет, – медленно сказал Доктор.*

*– Нет, – ответил репродуктор.*

*– Хочешь уйти? Хочешь вернуться к своим?*

*– Возвращение – нет, – ответил репродуктор.*

*Люди переглянулись.*

*– Ты действительно не умрёшь! Мы тебя действительно вылечим! – воскликнул Доктор. – Скажи,*

*что ты хочешь сделать, когда будешь здоров?*

*Калькулятор заскрипел, двутел ответил одним звуком, таким коротким, что он был едва слышен.*

*– Нуль, – как бы колеблясь, сказал репродуктор.*

*И через мгновение добавил, словно неуверенный, что его правильно поняли:*

*– Нуль. Нуль».*

В это время Лем в роли чёрного юмора признался Сцибору-Рыльскому, что подумывает о цианистом калии. Может, это была не только мрачная шутка? «Эдем» выглядит как роман, написанный в состоянии глубокого угнетения, чтобы не сказать депрессии. Особенно если видеть, как глубоко он автобиографичен.

К счастью, во второй половине 1958 года настроение Лема существенно улучшается. Ремонт дома начинает давать видимые результаты, хоть и отнимает много денег. Откуда Лем их берёт?

Людям, живущим с творчества, знаком этот соблазн быстро улучшить своё финансовое положение, подписывая договоры с несколькими издательствами сразу и беря от каждого аванс. Лучше быть должным издателю книги (и потом что-то выдумывать, чтобы оправдать задержки по сдаче книги), чем быть должным кому-то деньги. Так поступал даже Достоевский, а в 1958 году так же поступил Лем.

В мае 1959 года он так описывал Сцибору-Рыльскому: «Я ведь должен (ха-ха) ТРИ книги в этом году (?) написать, поскольку в прошлом году столько подписал договоров. И это всё ужасно ТОЛСТЫЕ книги, так как тогда я был в беде и метался-метался, пока не выметался (интересная грамматическая форма, не считаешь?)»[197]. Как окажется, ни одной из этих книг Лем не сдаст вовремя. Но это будут «Рукопись, найденная в ванне», «Возвращение со звёзд» и «Солярис».

# VI
# Непобедимый

Под конец 1958 года из писем Лема окончательно пропадает интонация паники и депрессии, которая последний раз чувствуется во время ремонта дома. Появляется тон, который ещё, возможно, нельзя квалифицировать как *bon vivanta*, но в любом случае уже кого-то живущего на достойном уровне (по крайней мере, на таком, на каком можно было жить в коммунистическом режиме).

Случай Лема интересен тем, что писатель постоянно на собственной шкуре переживает то, что в ПНР – несмотря на то что ты можешь быть человеком карьерного успеха (например, автором популярным среди издателей и читателей в стране и за границей) – на самом деле ты мало что имеешь с этого успеха. Даже если исполняется американская мечта о домике и машине, то домик оказывается строительной катастрофой, а машина – гэдээровским «Эрзатцвагеном».

Свои приключения человека, который на самом деле имеет деньги, но не может их тратить, Лем не единожды с юмором описывал в прозе, публицистике и личной корреспонденции, не предназначенной для публикации. И похоже на то, что он не преувеличивал, так как подобные вещи описывали и его друзья. Например, Ян Юзеф Щепаньский, случайный свидетель попытки покупки телевизора Лемом в 1959 году (тогда ещё личный телеприёмник был большой редкостью), описал в своём дневнике такое событие:

«[Лемы] купили телевизор, а на следующий день он сломался. Я поехал с ними в магазин. Им сказали: «У нас каждый третий с дефектом, через две недели пришлём ремонтника».

Лемы со Щепаньскими дружили и раньше, но после 1958 года эта дружба становится ещё более тесной. Дом Лемов стоит при «закопанке», то есть по дороге между Краковом и Касинкой в Бескиде Высповом – дачном посёлке, где у Щепаньских был небольшой домик. Так что Щепаньский стал частым гостем у Лемов – гостем очень ценным для биографа, так как фиксировал в старательно ведшемся дневнике практически каждую встречу.

Поэтому нам известно, что началом дружбы было 4 сентября 1952 года, когда Лем завёл со Щепаньским долгую беседу в краковском отделе Союза польских писателей. Кстати говоря, эта первая запись принадлежит к немногим историческим

документам, представляющим какую-либо форму поддержки Лемом марксистской философии – Щепаньский ощущал в разговоре, как будущий приятель обращает его «может, не в сам марксизм, но хотя бы в поддержку марксизма»[198].

В свете того, что Лем писал в письмах к другим знакомым, а также написанной приблизительно в тот же период сатиры на сталинизм, названной «Низкопоклонство», думаю, что Щепаньский немного переборщил. Лем прежде всего называл себя материалистом. Из более поздних записей в дневнике видно, что Щепаньского это шокировало больше всего. Лем разбил в пух и прах все аргументы в пользу веры или мистицизма (такие, как феномен «чудесных исцелений», которые он свёл к сатирической игре) – Щепаньский с горечью, но всё же принимал эти аргументы.

Они также дружили семьями – новогоднюю ночь с 1954 на 1955 год Станислав и Барбара Лемы провели у Щепаньских. С тех пор они почти каждый праздник проводили вместе, хоть и в разных местах. На Новый год 1960/1961 Лемы впервые смогли выступить в роли хозяев – только тогда, в отремонтированном наконец доме, у них появилась такая возможность. До того, на Бонеровской, было слишком тесно. Щепаньский отметил в дневнике только три встречи в краковской квартире Лемов и более десятка визитов Лема у себя. Впервые он побывал у Лемов в новом доме в Клинах 10 мая 1959 года и с тех пор эти пропорции радикально меняются. В конце концов, этот визит был не слишком удачным. Лемы были «больные, усталые и если бы не агрессивный юмор Блоньского, мы все изнудились бы».

Блоньский был виновником всей суматохи, так как это именно он переехал в Клины первым. Именно он высмотрел дом, ожидающий покупателя, и склонял Станислава Лема к переезду, который был мечтой больше Барбары, чем Станислава. Лауреат награды Нике, главный представитель краковской школы литературной критики, влиятельный эссеист, чья статья «Бедные поляки смотрят на гетто» с 1987 года до сегодня формирует риторику высказываний о холокосте, – профессор Блоньский скорее не ассоциируется с «агрессивным юмором». Но глядя на него с точки зрения биографии Лема, мы видим другого Блоньского: эксцентрика, пытающегося обратить на себя внимание общества любой ценой.

Иногда это действительно спасало ситуацию – как в приведённой выше записи 1959 года. Порой это было обременительным для общества, но всегда сносным, как, например, во время новогоднего праздника 1959/1960 (организованного у Блоньских), когда Щепаньский лаконично

отметил: «Блоньский, как всегда, пытался удивить всех гротескными фантазиями». Но ровно через год, в следующую новогоднюю ночь, Щепаньский напрямую обвиняет Блоньского в том, что тот испортил атмосферу праздника: «Блоньский в ужасном настроении, обиженный на Лемов, страдающий от нашей неготовности восхищаться его блистательными выражениями», описал и диагностировал эксцентричное поведение приятеля так: «Феноменально способный, толстый и прожорливый парень, который создавал систему агрессивного блефа для самозащиты, и таким и остался».

Блоньский виделся с Лемами практически каждый день, когда их не разделяли заграничные поездки (которых будет с каждым годом всё больше). И почти каждая встреча заканчивалась скандалом. Михал Зых, племянник Лема, был свидетелем таких встреч в юном возрасте (когда болел – а болел он часто, – попадал под опеку бабушки, а потому проводил дни и ночи в доме в Клинах). Он рассказывал мне, что эти споры слушал со страхом, потому что двое мужчин вели себя так, как будто были в шаге от физической конфронтации[199].

Я спрашивал Барбару Лем, дошло ли когда-то до такой конфронтации. Она отрицала, но сказала, что тоже порой опасалась этого, а раз была абсолютно уверена, что они дерутся, потому что ругань, доносящаяся из кабинета её мужа на втором этаже, перешла в нечленораздельные крики и звук драки.

Она побежала наверх, и пред ней предстала весьма необычная картина. Ян Блоньский – возможно, снова разочарованный «неготовностью восхищаться его блистательными выражениями» – в приступе «агрессивного юмора» заскочил Станиславу Лему на спину. Тот из-за военной травмы не переносил физической близости других людей, потому не оценил шутку и пытался любой ценой скинуть Блоньского, который, в свою очередь, испуганный реакцией друга, вцепился в него ещё крепче. Потому Лем начал ударять им о мебель. И лишь появление Барбары успокоило обоих знаменитых литераторов[200].

Из-за чего они так ругались? Из-за всего: начиная от самых серьёзных дел и заканчивая мелочами. Михал Зых вспоминал, что его дядя не любил, когда Блоньский проводил лингвистические эксперименты с его именем и называл дядю, к примеру, «Сташина-пташина». Чем больше Лем протестовал против таких искажений, тем охотнее Блоньский издевался над ним.

Случались и более важные темы споров. Блоньский был гуманитарием, разочарованный гуманитарными науками, который искал способ «онаучить» литературоведение. В 60-х

годах XX века модным направлением (разумеется, как и остальные подобные направления, он привёл в тупик) был структурализм, французские теоретики которого обращались к метафорам из алгебры и кибернетики.

Блоньский хотел, чтобы его сосед поделился с ним своими знаниями в этой области, но гордость не позволяла ему занять роль обычного ученика. Он ушёл в «агрессивный блеф». Но сосед не остался в долгу, потому что оказался в обратной ситуации.

Лем всю свою сознательную жизнь любил науку, но всю жизнь имел к ней свои претензии. От юношеского «Человека с Марса» и до «Гласа Господа» или «Фиаско» у него видна одна и та же боязнь того, что если обезьяне дать калькулятор, то она будет использовать его для того, чтобы бить по голове другую обезьяну. Наука и техника не делают нас лучшими людьми – наоборот, чем мощнее инструмент оказывается в наших руках, тем страшнее применение мы ему находим.

Лема интересовал вопрос об источнике зла. Раз он даже ответил на него в фельетоне:

> *«На классический вопрос «unde malum», «откуда зло», у меня такой ответ: это началось какие-то сто – сто двадцать тысяч лет назад, в верхнем четвертичном периоде, когда наши предки поубивали всех мамонтов и целую массу других млекопитающих»*[201].

Этот ответ – конечно, шутка. В Блоньском Лем видел кого-то, кто прочёл больше книг на эту тему и у кого были более интересные идеи, но, видимо, потому не мог просто так позволить соседу превратить его дом в классический семинар. Все разговоры в конце концов всё равно переходили в скандал.

Темы этих споров порой бывали необычные, например: «Откуда происходит зло?», «Сможет ли кибернетика объяснить все поступки людей?», «Какие науки важнее – о человеке или о Вселенной?». Так их, по крайней мере, запомнила Барбара Лем, и след этих дискуссий закреплён и в дневнике Щепаньского записью от 15 июля 1960 года: «Лем рассказывал мне о фанатизме Блоньского, странно переплетающемся с его восхищением культом зла в литературе».

Третьим близким другом Лема в этот жизненный период был Славомир Мрожек. Впервые они встретились на свадьбе Лемов в 1953 году, но на «ты» перешли только на праздновании Нового года 1958/1959 у Яна Юзефа Щепаньского (кроме Лемов и Мрожека, там был также Ежи Турович – есть, однако, такие приемы, на которые человек готов любой ценой попасть хотя бы в

роли официанта, гардеробщика, водителя… кого угодно).

Переписываться, однако, они начали ранее, но первое личное письмо было отправлено Мрожеком 14 января 1959 года:

> *«Станислав,*
>
> *в первых словах моего письма подчеркиваю отказ от формальностей, который произошёл между нами в ночь с 31.XII.1958 на 1.I.1959. Я делаю это с некоторым опасением, не было ли с твоей стороны это эффектом легкомыслия. С другой стороны, я некоторым образом страхую себя и утверждаю это в письменном виде, окапываясь на этих позициях»*[202].

Судя по первым письмам, писателей сблизила именно автомобильная тема. Мрожек как раз покупал машину марки «P70». Лем, без сомнений, был авторитетом для своих «литературных» знакомых, когда речь шла об автомобилях – хотя бы просто потому, что любил это. Из его писем кажется, что он сам ремонтировал машины: хоть у него в гараже и был комплект основных инструментов, но на самом деле главным источником знаний Лема был его сосед, пан Зависляк, автомеханик (так, по крайней мере, утверждает Михал Зых). Так или иначе, весьма естественным кажется то, что Мрожек и Сцибор-Рыльский обращались со своими вопросами по поводу масла, проводов и фильтров именно к Лему.

Корреспонденция Лема с Мрожеком быстро перешла на более интересные темы. Оба дискутировали о философских, политических и литературных концепциях, опираясь на других писателей. Их объединяла нелюбовь к забытому уже Иренеушу Ирединскому, который тогда был знаменитым писателем, но не оставил после себя ничего такого, что выдержало бы испытание временем. Другим общим убеждением стало глубокое неверие в то, что реформирование строя ПНР может принести хоть что-то хорошее.

На переломе 1958 и 1959 годов у обоих были очень похожие литературные воззрения. «Свадьба в Атомицах» Мрожека и «Вторжение с Альдебарана» Лема – это настолько похожие произведения, что могли бы принадлежать одному автору. Потом, разумеется, дороги двух писателей разойдутся, и уже в 1959 году оба будут работать над своими величайшими шедеврами.

Ввиду переезда Мрожека в Варшаву, а потом во Францию и Италию, их дружба продолжалась в письмах – так же как раньше с Врублевским или Сцибором-Рыльским. Хотя в письмах всё ещё видны попытки договориться о встрече, реальные возможности случались очень редко. Намного реже, чем с Блоньским или

Щепаньским.

Социальная жизнь Лема не ограничивалась, однако, писателями. В конце концов, никто из них тогда так не называл себя. Приёмы, на которых все являются журналистами, в большинстве своём объединённые одним и тем же титулом, – это феномен современной Варшавы, но точно не тогдашнего Кракова. На том же праздновании Нового года у Щепаньских, кроме Лема, Мрожека и Туровича, были ещё коллеги по службе, соседи, знакомые жены… все они скрупулезно перечислены в дневнике.

Лемы и дальше были постоянными гостями на семейных праздниках Колодзеев, которые остались на Бонеровской (и в свою очередь, часто навещали Лемов в Клинах). Из воспоминаний Михала Зыха видно, что его дядя прекрасно вписывался в общество близких и дальних родственников своей жены. В доме в Клинах, который тогда ещё не находился на улице Нарвик (изначально улица должна была называться Фортовая)[203], постоянно жила тёща Лема, а также сестра его жены и маленький Михась. На самом деле они жили там, только когда Михась болел, но болел он часто, разными болезнями детского возраста – например, в 1959 году он сперва подхватил свинку (которую ещё называли переделанным немецким словом «мумс»), а через несколько дней скарлатину[204]. Мумсом заразилась и некая Халинка, девушка, которая работала у них на кухне. Это все, вероятно, вдохновило Лема создать одну сцену из «Рассказа Пиркса»: «Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные: морды распухли, глаза как щелки, высокая температура, о вахтах уж и говорить не приходилось»[205].

Семья Лесьняков часто встречалась в поместье в Строжи возле Мыслениц. Станислав Лем охотно участвовал во время этих поездок в автомобильных гонках, которые Михал Зых вспоминал со страхом. Потому что его дяди устраивали гонки вокруг липы, растущей во дворе, либо делали сумасшедшие рейды по «закопанке». Чтобы гонка была интереснее, правило было такое, что пассажиры как могут мешают водителю ехать – закрывают ему глаза, переключают передачи, срывают ручной тормоз, включают дворники или забирают очки. К счастью, машины тогда были редкостью, и движение на трассе было слабое. Однако и без того страшно подумать, что достаточно было бы одного грузовика, чтобы забава закончилась трагедией.

Но тогда у людей был другой подход к безопасности на дороге, чем у нас сейчас, во времена евросоюзовских сертификатов, краш-тестов и подушек безопасности. К сожалению, они тоже платили за эти игры высокую цену.

К счастью, её не заплатили ни Лем, ни Мрожек, хотя второй описывал в письме 1961 года, как разбил свой «P70», когда его занесло на мокрой брусчатке, которая в те времена покрывала сегодняшнюю автостраду S7 где-то в окрестностях неподалёку от Тарчина[206].

«35 000 уже проехал, и вал действительно у него стучал», – подытожил Мрожек. Лем попрощался со своим «P70» раньше и с меньшим пробегом – 21 тысяча км[207]. Он никогда не любил эту машину – как помним, он должен был купить хоть что-то в связи с переездом, но ничего лучше тогда не мог себе позволить. Привлекательные для него машины требовали валюты, а у писателя тогда было трудно даже со злотыми.

Лемы с самого начала считали, что без машины нет и речи о переезде в Клины из-за отсутствия общественного транспорта в этом районе и какой-либо инфраструктуры. Много лет до ближайшего магазина они ездили несколько километров. Магазин в их районе открыли только в 1964 году. В то время не так уж много жителей того района могли похвастаться автомобилями. Михал Зых вспоминал, что, кроме «P70» Лемов, там было ещё «Рено Дафин» Блоньского, а также «Сиренка» и «Декавка» (то есть машина марки «DKW»). Самая хорошая машина была у знахаря, к которому пациенты приезжали из близлежащих посёлков, – «Симка Аронде» – объект нереализовавшихся мечтаний самого Лема.

Витольд Колодзей вспоминает, что во времена его детства сам звук двигателя на Бонеровской означал приезд дяди Сташека. Это были времена, когда по улице в центре города машина проезжала раз в несколько дней. Как они справлялись без автомобилей? Мотоциклы не были тогда элементом стиля – лишь заменой для тех, кто не мог позволить себе автомобиль. Например, Ян Юзеф Щепаньский между Краковом и Касинкой ездил сначала на велосипеде, а потом на мотоцикле «Виллерс 125» – и совсем не по причине контркультурных взглядов.

В начале шестидесятых Лема перестали ограничивать финансовые вопросы, и уже никогда не наступит время, когда он будет беспокоиться о деньгах. Разумеется, в письмах он ещё будет жаловаться – то на незапланированные расходы, то на задержку гонорара, но неизменным доказательством его финансовой стабильности станет то, что его друзья – особенно Сцибор-Рыльский и Щепаньский – начинают воспринимать его как источник быстрого займа денег.

Если Щепаньский фиксирует это короткой отметкой в дневнике с датой 13 декабря 1961 года, то со Сцибором-Рыльским переписка по вопросу займа очень обширная. Часто даже

эмоциональная. Впервые эта тема появляется весной 1959 года. Для них обоих этот вопрос был неловок, потому изначально носил роль аллюзий, недосказанностей, например: «Как с деньгами? Если что, я готов».

В письме от 21 ноября Лем описывал возвращение на машине с визита у Сциборов-Рыльских:

> *«Барбара обратила моё внимание, что, будучи у вас, я вёл себя неприлично, как хам, и не по своему врождённому обычаю, а якобы давая вам понять, что ожидаю в не близком, но справедливом будущем каких-то процентов от тебя за данные взаймы деньги. Так что если на самом деле нечто подобное имело место быть сказано, хоть я абсолютно подобного ничего себе не припоминаю, то, однако, ввиду Жены, да и на всякий пожарный, а равно и будущий случай, дабы исключить какую-либо вероятность появления круговых сплетен обо мне и глупых разговоров за спиной, в самой что ни на есть реальности – этими словами гарантирую тебе, что ничего подобного, чистая ерунда, недоразуменьице, а если что угодно и как-то прозвучало, то гарантирую: чистая игра полуслов, слуховые отклонения, устная аберрация и квадрат […], а вообще, так бывает же, и вообще за свинью паршивую меня не держи».*

Перед Сцибором-Рыльским Лем никогда не имел никаких финансовых тайн. Одной из причин улучшения материальной ситуации в 1958 году было, конечно, подписание трёх договоров на три романа, но второй – и самой важной – был прогресс с делом экранизации «Астронавтов». Все свои киношные проблемы Лем обсуждал с другом, который уже тогда имел реализованные сценарии и собственноручную режиссуру.

Стычки с немцами под конец 1958 года обрели своё горько-сладкое окончание. Несмотря на переживания Лема, съёмки начались, но, как он и опасался, его замечания к сценарию были проигнорированы. Немцы сделали фильм по-своему, ведя себя так, словно сталинизм не закончился и в каждом фильме нужно восхвалять только единственно правильный режим (Лем же предлагал аполитичное видение интернационального будущего, более-менее такое, как показано в фильме «Стартрек»). Съёмки были закончены в июне 1959 года. Лем следил за работами издалека, так как ему присылали только фото планов:

> «*Я просматривал много цветных картинок – вообще мне ужасно не нравится, и я чувствую какое-то*

*одурачивание в воздухе, тем более что худших актёров нельзя себе представить. Одни сопляки играют старших учёных. У каждого прямо на лице написана всеобъемлющая глупость. Китаец смотрится лет на 28, остальные ещё хуже… наш Маховский выглядит на их фоне как папаша. Йоко Тани красивая (прилагаю фото), но что с того?*»

Для Лема уже тогда его проза первой половины пятидесятых была стыдливым воспоминанием. Он перешёл на высший уровень литературы. В том же письме в следующем предложении он пишет:

> *«Авторские экземпляры «Эдема» я получил только вчера. Денег, конечно, ещё нет, но живу я только благодаря "WL"»*[208].

Через пять дней после этого письма Лем начнёт писать «Солярис»[209]. Те деньги, которые он получил от «*Wydawnictwo Literackie*», – это аванс за «Рукопись, найденную в ванне», первый срок сдачи которой прошёл ещё в мае 1959 года[210]. Для Лема, который в тот момент пребывал между «Эдемом» и этими двумя романами (а точнее, тремя – потому что было ещё не написано «Возвращение со звёзд», на которое у него просто не было времени, но и этот договор он вынужден был со временем исполнить), «Астронавты» были далёким воспоминанием, как будто их вообще написал кто-то другой. Единственным приемлемым уровнем чисто развлекательной фантастики, до которого он ещё мог опуститься, в тот момент были «Рассказы о пилоте Пирксе», экранизировать которые его уговаривал Сцибор-Рыльский.

Лем очень боялся, что «большое одурачивание», связанное с гэдээровским фильмом – который вышел под названием «Молчаливая звезда», – ударит рикошетом по его писательской репутации. Он раздумывал над тем, чтобы вычеркнуть свою фамилию, но не сделал этого главным образом по двум причинам – Восточная Германия хорошо ему платила, а Западная Германия благодаря этому фильму заинтересовалась его творчеством. Они начали закупать гэдээровские издания, появились даже первые предложения от издателей ФРГ.

Лем не хотел провоцировать скандал. Он думал о том, чтобы опубликовать собственную версию сценария, чтобы таким образом осторожно отгородиться от фильма – такое предложение появляется в том же письме, в котором Лем извиняется за «недоразуменьице» по поводу долга Сцибора-Рыльского. Однако

он так и не решится на подобный шаг, вероятно, не желая конфликтовать с немцами.

Как будто мало было проблем с экранизацией «Астронавтов», так в 1961 году чехи начали подумывать об экранизации «Магелланова облака». В конечном итоге из этого получился фильм «Икария ХВ-1», который вышел на экраны в июне 1963 года. Фильм сохранил много общего с сюжетом «Магелланова облака». Там, например, появляется сцена, встречи в космосе мёртвой боевой станции НАТО. Фамилию Лема мы не увидим в титрах, так как формально это была пиратская экранизация. Лем так описывал это Врублевскому в 1961 году:

> *«Сейчас у меня серьёзная схватка с чехами, двое их авторов [Павел Юрачек и Йиндржих Полак] украли много моих идей из «Магелланова облака» и, не спросив разрешения, написали сценарий – к тому же в два раза хуже, чем у «Молчаливой звезды», – я руками и ногами против, но я один, так как чешское агентство «ДИЛИЯ», разумеется, защищает своих чехов, юристы выискивают крючки в авторском праве, меня приглашали в Варшаву, уже несколько дней подряд меня спозаранку будит телеграмма из Праги, я на всё ответил отрицательно и пока что всё утихло, но это только пока»*[211].

Мне неизвестно, что чехи предложили Лему – очевидно, размещение его фамилии в титрах, но без выплаты гонорара. Лема, скорее всего, заинтересовало бы обратное предложение. «Молчаливая звезда» была такой, какой была, но хотя бы принесла ему достаточное количество восточнонемецких марок, чтобы исполнить его мечту: Лем впервые в жизни смог купить себе нормальную машину.

Забегая наперёд, скажу, что это будет очередная серия разочарований для Лема. Весной 1959 года Лем занимался разными формальностями в связи с получением разрешения в соответствующих гэдээровских и пээнэровских администрациях на то, чтобы польский писатель потратил гэдээровские деньги на покупку гэдээровского автомобиля и потом пригнал его в Польшу – всё это требовало массы печатей и разрешений. Возможно, это вдохновило Лема на написание «Рукописи, найденной в ванне». Гэдээровских марок у Лема в любом случае было столько, что хватило бы на самую дорогую позицию в ценнике. Он не мог не похвастаться Сцибору-Рыльскому[212]:

> *«Я выбрал из каталога «Вартбург Коуп», потому что у него крышки на рефлекторах, панорамные окна, Hard-*

*Тор, сиденья, которые раскладываются, чтобы можно было спать – роскошь! – радио, всё синхронизировано, новая подвеска, много хрома, белые круги на шинах и вообще неизвестный в Польше силуэт кузова».*

На фото машина действительно выглядела впечатляюще. Всего выпустили немногим больше 5000 экземпляров этой модели. В хорошем состоянии она стоит сегодня тридцать семь тысяч евро[213], то есть столько, сколько машины достойного класса.

Из письма видно, что гэдээровская сторона пыталась уговорить Лема выбрать стандартный «Вартбург», аргументируя это тем, что версию «экстра» он будет долго ждать. Это странно для современного читателя, привыкшего скорее к обратной ситуации, когда продавец обычно старается уговорить на более дорогую комплектовку, чем та, которую мы можем себе позволить. Немцы, вероятно, знали что-то, чего в 1959 году Лем ещё не осознавал. А именно то, что покупка дорогой машины в экономике дефицита является ошибкой, потому что все эти «предметы роскоши» будут портить его репутацию.

Автомобиль в любом случае выглядел прекрасно. Это позволило Лему осуществить очередной элемент американского сна, в котором, как помним, речь шла не только о домике в предместье, но также о том, чтобы со всем престижем въезжать в центр на машине с «вообще неизвестным в Польше силуэтом кузова». Лемы ездят в Краков на разные культурные события. Так, например, одно из них он описывает в письме к Сцибору-Рыльскому:

«*Усираюсь тут над писательской работой – в равной степени бесплодно, как и толково. Вчера с Блоньским были в Подвале краковском, у Скшинецкого Петра. Очень интересно и Странно. Куча Котейков – Седых Удальцов, Невероятно Синеглазых, шпильконогих, чёрные и разноцветные свитера парней, Брошек [Ежи Брошкевич], Мрожек, Фляшен с Женой, несколько Психиатров из краковской дурноклиники, лысых молодых интеллектуалов, всё в Ужасной Толкучке. Я сидел в проходе, который за пятнадцать минут до представления заставляется деревянными стульчиками, как замурованный, так что литературные котейки и котихи по мне ходили на четвереньках, желая туда или обратно. Наконец, рык джазовой музыки, умиляющей ожидание, смолкает, и зажигаются доморощенные свечи и рефлекторы, и начинается программа, сложенная из*

*гениального абсурда. Жалей, что ты этого не видел. Приятная атмосфера непринужденного вливания аперитивов за корсеты котих (из тесноты, не извращения!), потому что тут каждый предпочитает залить в горло, танго КСАВЕРИЙ и ВЕТЕР, драки, Эх-Ух-хнем, лекция о советской живописи (это была генеральная попытка, сомневаюсь, чтобы им пропустили эту живопись) – короче, забав по Раковину (ушную)»*[214].

Ян Юзеф Щепаньский в свою очередь записал в дневнике свои общие краковские культурные вечера с Лемами. Они снова вместе пошли в Подвал (4 декабря 1960 года), в Михаликовую Яму (19 декабря 1960 года) и к Кшиштофоровым, на «В маленьком дворе» в режиссуре Кантора. Со свойственной ему лаконичностью Щепаньский даёт такую рецензию Кантору: «мучительное бахвальство с претензией». Жизнь Лему в это время портят две вещи, первая из которых – это здоровье. Так он описывает в 1959 году своё состояние Сцибору-Рыльскому[215]:

*«Я сейчас совсем несчастен. Вместе с забастовкой почек (песочек, да!) в подарок от судьбы я получил ещё нарушение плечевого сустава (риматис или как-то так), тяжёлое пищевое отравление (эпоха срачки уже прошла, сейчас я на манных кашицах), и это во время, когда моя тёща приготовила для Станислава финиковый торт и слоёный торт… из высших слоёв атмосферы – а мне можно только постный сухарик!»*

Состояние его здоровья никогда, к сожалению, не улучшится. Будут лучшие и худшие дни, но Лема всегда будет что-то беспокоить – получается наоборот, как с финансовыми проблемами, с которыми в 1958 году Лем навсегда попрощался. И здесь мы подходим ко второй проблеме – это прощание с денежными вопросами было напрямую связано, как помним, с подписанием договоров на три романа для трёх разных издательств.

В середине 1959 года заканчивались сроки сдачи рукописей, а Лем не взялся ни за одну из них. Хуже того – соблазнённый киношными предложениями Сцибора-Рыльского, вместо того, чтобы писать эти романы, он обдумывал концепцию фильма. Разные идеи, которые он описывает Сцибору-Рыльскому в письмах, в конце концов выльются в сборник «Лунная ночь», который будет издан в 1963 году. Короче говоря, будучи должен трём институциям три книги и один сценарий, он практически ничего не успел написать.

По правде говоря, ни на один из романов у него не было идей. Издательский договор, который в конечном итоге был выполнен романом «Солярис», подписывался на произведение под рабочим названием «Космическая миссия», героем которой должен был стать «разведчик, отправленный на космическую станцию, которая вызывала подозрения у Центрального управления»[216].

«Рукопись, найденная в ванне» начиналась рассказом о Ийоне Тихом, который вышел из-под контроля автора по ходу написания – потому он решил выбросить «соответствующий зачаток» и оставить безымянного героя. Роман удивлял его самого во время написания, как он описал Мрожеку, «я Вообще Ничего Не Планировал – Само Так Получилось!»[217]. Так же было и с «Возвращением со звёзд». Лем начал писать роман об астронавте, вернувшемся из далёкого путешествия, которое для него длилось двадцать два года, а на Земле прошло сто двадцать семь лет (из-за эйнштейновского релятивистского замедления времени), не имея понятия, какие цивилизационные изменения произошли во время его отсутствия.

Когда Лем рассказал всё это Бересю, тот не поверил. И правильно – ведь трудно было поверить, что такие гениальные вещи, как бетризация из «Возвращения со звёзд» или существа F из «Соляриса» можно было выдумать *a vista*, просто стукая по клавишам. Однако когда представим себе хронологию событий и примем во внимание жизненный опыт Лема, это перестаёт быть таким неправдоподобным.

Первым делом пошёл «Солярис». 1 июня 1959 года Лемы выехали в Закопане[218]. Для Барбары Лем это был дебют в вождении вне города. Поездка была плодотворной. Почти три недели спустя Лем писал Сцибору-Рыльскому:

*«Правда, что я тут усираюсь (уж простите, Уважаемый Пан, мне, хаму, такие словечки в Официальном Письме), но с 1 июня я уже 120 страниц написал, но они держатся кучи и не плавают среди говна в канализации только потому, что я до сих пор трушу их прочесть»*[219].

Получается, что писал он в среднем по шесть страниц в день! Шесть страниц одного из самых важных романов *science fiction* в истории жанра! Лем, однако, не чувствовал тогда, что создаёт шедевр.

Наоборот – он переживал, что у него получается роман ни о чём. Первоначальная идея с недоверчивым Центральным управлением уже успела поплыть «среди говна в канализацию» – после него остался странный след таинственного Моддарда, который привёз главного героя на станцию, а потом исчез из

романа, чтобы больше не появиться. В финале – написанном год спустя – герой действительно отправляет в Центральное управление свой рапорт, но тогда Лем уже знал, что у него получилась книга о чём-то совершенно другом.

О чём – этого после написания первых ста двадцати страниц он ещё не знал. На тот момент он ещё не написал «Малый апокриф», в котором действие постепенно замирает, а главный герой и рассказчик в одном лице – психолог Крис Кельвин, отправленный на станцию Солярис Центральным управлением, – весьма логично беспокоится отсутствием связи, после чего начинает пересказывать читателю историю попыток земных учёных понять эту планету.

Этот раздел являет собой пастиш научного метода. В категориях произведения-экшена это композиционная ошибка: сюжет не продвигается вперёд. Из фильмов Тарковского и Содерберга этот раздел был удалён полностью, потому что до конца не было понятно, даже как его снять: герой сидит в библиотеке и читает, бормоча себе под нос? Даже если бы его играл Джордж Клуни, зрители вряд ли выдержали бы нечто подобное.

После очередного месяца Лем пишет в Закопане две версии письма Ежи Врублевскому, датированные «28 July» и «28 or 29 July». Оба на английском. Не знаю, отправил ли он какое-то из них, но писал их, очевидно, прежде всего для себя, пытаясь самому себе объяснить, о чём роман «Солярис».

Это вопрос, на который можно ответить одним предложением или (пусть так) одним письмом на две странички. Но, судя по тем письмам, Лем в июле 1959 года всё ещё не знает ответ на этот вопрос. Самым важным в его романе является океан. Вероятно, автор был убеждён, что в финале должна проясниться его Загадка – так, как в «Эдеме»:

> *«There lives a giant ocean, with no machines, no architecture (Earth-like, of course), no literature, no music, no language, but there is some kind of information cruising, some inter-nal steering processes, some intrinsic psychical life, and the scientific team, landing on Solaris, will proceed to make the famous first contact. But there can be no such thing. We have no semantic bridge between us and the living being. We have no common experiences. This creature has no EXTERNAL language, because there is no one, to whom she could speak».*
>
> *(«Там живёт огромный океан, без машин, без архитектуры (напоминающей земную, разумеется), без литературы, без музыки, без языка, но присутствует*

*какая-то форма информационного обмена, какие-то внутренние процессы управления, какая-то врождённая психологическая жизнь, а научный коллектив, приземляющийся на Солярис, приступает к установлению знаменитого первого контакта. Но это не может произойти. У нас нет общего опыта. Это создание не обладает никаким ВНЕШНИМ языком, потому что у него нет никого, с кем могло бы [sic!] говорить».)*

Как литературный критик я сказал бы, что этот океан – это макгаффин, как назвал этот композиционный приём Альфред Хичкок, комментируя сюжет прототриллера «39 шагов». Макгаффин – это что-то, что якобы очень важно для действия, но на самом деле неизвестно, что это вообще такое, и это не очень важно для сюжета (потому что самое важное – это смотреть, как Кэри Грант убегает от обстрела из самолёта). Самым знаменитым макгаффином поп-культуры оказался чемоданчик в *Pulp Fiction* – весь сюжет построен вокруг него, но мы так никогда и не узнаем, что было внутри. Потому что кому какое дело?

Океан, населяющий Солярис, оказывается захватывающей идеей, но на самом деле самое интересное в романе другое. Когда учёные пытаются установить контакт с океаном, океан сам пытается установить контакт с людьми. Он больше, чем люди, знает о нейтрино – элементарных частицах, теоретически предсказанных в 30-х годах XX века, но впервые зафиксированных только в 1956 году (я специально подчёркиваю эту дату, чтобы показать, насколько Лем следил за наукой).

Нейтрино проникают через всё даже лучше, чем рентгеновские лучи, потому что почти не оставляют следов. Даже сегодня учёные имеют большие проблемы с их идентификацией. Океан благодаря своему врождённому умению регистрировать нейтрино может читать мысли астронавтов, а также материализовать для них создания F, как это назвал один из исследователей, доктор Сарториус.

Создания F – это материализация самых скрытых фантазий из подсознания. Для главного героя романа такой фантазией является Хари – женщина, которую когда-то он очень обидел и которая из-за него совершила самоубийство. Кельвин всё ещё живёт тенью того воспоминания, и в его жизни нет такого дня, в котором он не мечтал о том, чтобы вернуть время и исправить эту ошибку.

Остальным астронавтам виделись, вероятно, материализации их сексуальных фантазий, хотя об этом не говорится напрямую. Мы можем только догадываться об этом по намёкам одного из

них (Снаута) и по осиротевшему созданию F, которое после себя оставляет Гибариан, приятель Кельвина. Это большая голая негритянка со «слоновьими бёдрами», похожая на «гигантские скульптуры каменного века, которые можно увидеть в антропологических музеях»[220].

Летом 1959 года Лем ещё не осознавал того, что у него уже есть идея книги – планета, где человек получает шанс исправить свои ошибки, которые мучают его десятилетиями. Он слишком много внимания уделяет океану, который почти отсутствует в обеих экранизациях Тарковского и Содерберга. Лем не заметил, что в основе всего сюжета должны быть отношения Кельвина и Хари, которые выгодно подчёркивают обе экранизации, а также позаимствованные Полом Андерсеном в научно-фантастическом фильме ужасов «Сквозь горизонт» (1997), в котором таким макгаффином является нечто иное («экспериментальный гравитационный двигатель»), но результат получается тот же: астронавт (Сэм Нилл) встречает жену, которая когда-то из-за него покончила с собой (Холли Чант).

Чтобы понять, что является центральным сюжетом его собственного романа, Лем вынужден был взять годовой перерыв. Закончил он «Солярис» во время очередного марафона писательства в Доме творческого труда Союза польских писателей в Закопане в июне 1960 года. Перерыв он посвятил написанию остальных двух романов: «Возвращения со звёзд» и «Рукописи, найденной в ванне».

Меньше всего следов осталось после работы над «Возвращением со звёзд».

Лем не любил этот роман. Бересю он рассказывал:

> *«Мне претит сентиментальность этой книги, крепость героев, бумажность героини. Что-то, на мой взгляд, там попахивает Ремарком с его «Тремя товарищами». Есть в этом какая-то дерьмовщина. А говоря спокойнее – автор не имеет права делать героям приятное лишь потому, что он к ним благоволит. Роман в конце концов мог закончиться так, как в романе, но обязательным условием для этого была бы личность возлюбленной рассказчика, а она в сущности является пустым местом».*

Даже если согласиться с этой суровой оценкой, то всё равно странной кажется декларация, сделанная несколько предложений ранее:

> *«В произведении, которое я не люблю – в*

*«Возвращении со звёзд», – проблема бетризации тоже появилась внезапно и поразила меня самого. Я знал лишь одно: здесь должен наступить какой-то разрыв, недоразумение, ведь не может быть так, что кто-то возвращается через сто тридцать лет на Землю, а разговор идёт плавно, со всеобщим пониманием. Я знал, что сейчас должен наступить конфликт, который из меня действительно “выскочил”».*

Бетризация – это радикальный ответ точных наук на спор о природе зла. Поскольку источником всего зла является природная склонность *homo sapiens* к агрессии, то человечество – вскоре после того, как стартовала экспедиция на Фомальгаут с главным героем Элом Бреггом на борту, – радикально решило эту проблему. Согласно предложению трёх учёных, Беннета, Тримальди и Захарова, агрессию просто элиминировали. Ни один человек не может причинить вред другому человеку (и животному).

Собственно, бетризация является источником конфликта, который «выскочил» из Лема в начале романа. Привлекательная молодая студентка Наис приглашает случайно встретившегося ей Брегга к себе домой. Это странно даже для людей из 2016 года, что уж говорить о 1960-м? И только по ходу этого неудавшегося свидания оказывается, что Наис не ожидала никакого вреда со стороны случайно встреченного сорокалетнего мужчины, потому что думала, что он бетризован, как и всё человечество. Она паникует, когда Брегг рассказывает ей, кто он на самом деле.

Роман не нравился не только Лему. Щепаньский тоже отметил в дневнике собственное разочарование. Прошло полвека, и лишь сейчас я могу выразить своё *votum separatum* XXI века: я обожаю «Возвращение со звёзд»! Я считаю бетризацию невероятно интересным гипотетическим ответом на вопрос «*Unde malum?*», о котором так спорили Лем с Блоньским, а также на префигурацию дискуссии о трансчеловеческой перспективе, о которой пишут сегодня модные авторы – такие, как Уэльбэк или Курцвейл. Может, и «возлюбленная рассказчика», то есть Эри, является «пустым местом», – действительно, её роль в этом романе ограничена главным образом оханьем-аханьем – но это ведь снова лишь макгаффин Хичкока.

Равно как ранее «Эдем», так и три больших романа Лема, написанные между 1960 и 1961 годами, оказываются намного более автобиографичны, чем кажется на первый взгляд, и чем писатель был готов признать публично. В случае «Рукописи, найденной в ванне» он признал это в личном письме к Мрожеку.

Объясняя содержание романа, он сразу перешёл на якобы шуточное описание своего оккупационного прошлого (хотя потом подчеркнул, что его «рассуждения […] чистой аллегорией не являются»):

> «…*эта Модель, которая есть в книге, кажется мне несколько похожей на нашего Biggest Соседа. Я был у Него около двух лет назад, когда Он пришёл ко мне во Львов. И вполне понятно (интегрируя впечатления), что одновременно это были впечатления страшного бреда, тупости, непрекращающегося и всеобъемлющего гротеска, идиотизма, правящего всем кретинизма – и большинство людей именно эту картину принимали notabene за единственно адекватную, и потому Все Львовяне, например, в июле 41-го были Уверены, что Россия под ударом Дольфика в течение пяти недель перевернётся вверх тормашками. Но одновременно с гегемонией бреда можно было увидеть также какой-то дух, который отразил в своей книге Кёстлер [речь о романе «Слепящая тьма»]. Так что это сосуществование полного, хаотического идиотизма с каким-то ужасающим совершенством – не преднамеренным – внимание! – не тем, какого хотел бы «о, Маркс» и марксики, а самородным, мимовольным, незапланированным, нежелаемым и не имеющим ничего общего с производством или дистрибуцией благ (основа марксизма!..), ничего общего – совсем наоборот, возможно, из сумы (суммы) дефектов, недосмотров, местного паралича, кумовства, неразберихи, кастовости, из тех тысяч шрамов, которыми ИСПЕЩРЯЕТ эта с-ная Система лицо общества – из этого всего получается мгла холодного совершенства и мистического принуждения, которая сковывает даже души, изначально обладающие внутренней свободой, и из-за которой уже не так по-глупому, как в самом начале, видится смотрящему Человеку замершая в кретинизме и фразёрстве идиотская маска Официально Прогрессивно Усирающегося Гражданина*»[221].

«Солярис» и «Возвращение со звёзд» тоже не имеют «чистой аллегории», но зато они куда интереснее, так как касаются личных переживаний самого Лема. Его много объединяет с Элом Бреггом и Крисом Кельвином. Брегг является его ровесником, в романе говорится, что ему сорок (биологических) лет.

Возраст Кельвина не подаётся прямо, но можно догадываться,

что ему где-то между сорока и пятьюдесятью. Его сотрудничество с Гибарианом уходит далеко в прошлое, а трагическая смерть Хари случилась много лет назад, что положило конец «многолетним отношениям». Тридцати лет мало, чтобы иметь такую богатую биографию. Актёры, играющие роль Кельвина, обычно люди среднего возраста – в фильме Тарковского это был Донатас Банионис 1924 года рождения, то есть в момент съёмок ему было сорок пять, а в фильме Содерберга – Джордж Клуни 1961 года рождения, на съёмках ему было 41. В постановке Наталии Корчаковской в ТР-Варшава[222] этого персонажа играл Цезарий Косинский 1973 года рождения, в тридцать шесть лет. То есть в среднем у нас получится что-то около сорока, приблизительный возраст самого Лема.

Эл Брегг провёл в путешествии двадцать два биологических года, то есть в момент вылета ему было восемнадцать. Столько, сколько Лему, когда перестала существовать его планета под названием Львов. Ниже монолог Брегга:

> *«Хорошо, что от города, который я некогда покинул, не осталось камня на камне. Как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз навсегда, а это было новое»*[223].

Эти слова мог бы сказать и сам Лем. Разумеется, почти все львовские камни остались на своих местах, но Лем вёл себя так, будто этого города уже нет на карте. Он отбрасывал все приглашения оттуда и предложения общих поездок от польских журналистов. После того как он покинул Львов, писатель жил на какой-то другой Земле, среди других людей. Того уже нет, есть только послевоенный мир, который руководствуется совсем другими правилами.

Второе, что связывает Брегга с Лемом, это травматическое переживание смерти друзей во время экспедиции на Фомальгаут. Умирали они чаще всего случайно. Врач, который осматривает Брегга, заставляет его вспоминать. Брегг противится, как может («*Мне нечего рассказывать, – желчно ответил я. – Во всяком случае, ничего сенсационного*»), но в конце бросается фамилиями: «Ардер, Вентури, Эннессон».

Как умер Ардер – неизвестно. Просто резко оборвалась связь. «Это его радио замолчало, не моё. Когда у меня кончился кислород, я вернулся. У Эннессона была проблема с двигателями, его корабль терял тягу и становился неуправляемым. Когда он осознал, что его ждёт медленная смерть на орбите, то «предпочёл сразу войти в протуберанец» и сжёг себя на глазах Брегга.

Наиболее травматическое воспоминание смерти Вентури.

У него была проблема с бортовым «атомом». Его спасение грозило взрывом всего космического корабля. Брегг как пилот не мог пойти на такой риск и оставил Вентури умирать:

> *«Когда я ждал Ардера, доктор, и кружил вокруг этого солнца, я повыдумывал для себя всяких людей и разговаривал с ними, говорил за них и за себя, и под конец поверил, что они рядом со мной. Каждый спасался как умел. Вы подумайте, доктор. Я сижу тут, перед вами, я нанял себе виллу, купил старый автомобиль, я хочу учиться, читать, плавать, но всё, что было, – во мне. Оно во мне, это пространство, эта тишина и то, как Вентури звал на помощь, а я, вместо того чтобы спасать его, дал полный назад».*

Это, вероятно, недалеко от чувств самого Станислава Лема. Для выживших в холокосте самые худшие воспоминания не о тех людях, с которыми вдруг оборвалась связь, и даже не тех, кто у них на глазах совершил самоубийство, а о тех, кто молил о помощи, но им нельзя было помочь. Нужно было «дать полный назад», чтобы спасти себя и свою семью.

Врач не даёт Бреггу никакого хорошего совета. Он предлагает ему не говорить о своих травмах современным людям – они не поймут, потому что после бетризации у них совсем другая система ценностей («всё сейчас летнее, Брегг»), хотя и не советует ему держаться в кругу старых знакомых.

Его единственный совет – брутально-примитивный – закрасить седину, разгладить морщины кремом, лучше одеваться и войти в отношения с современной женщиной. Эл Брегг прислушивается к этому совету и отсюда – хеппи-энд, который так не нравился Лему (а мне как раз нравится). Разговоры Брегга и Эри – это в основном монологи астронавта, прерываемые редкими вздохами, но если убрать фантастическую сценографию, Брегг говорит о травме, типичной для выживших во время холокоста. О муках совести, что он выжил, а миллионы погибли, потому что им не хватило золотых монет на взятку шантажистам, потому что не было связей, которые позволяли получить работу в *Rohstofferfassung*, потому что свернули не в тот переулок:

> *«Они остались там, Арне, Том, Вентури, и они теперь как камни, знаешь, такие насквозь промерзшие камни, во тьме. И я должен был там остаться, а если я здесь, и держу твои руки, и могу говорить с тобой, и ты слышишь меня, то, может, не так уж и скверно, что я вернулся. Не столь гнусно, Эри. Только не смотри так. Умоляю тебя.*

*Дай мне надежду».*

Ситуация астронавтов на планете Солярис на самом деле похожа. У Кельвина только одна травма – смерть Хари. И когда Снаут узнаёт об этом, то реагирует шуткой: «*Ах ты, святая невинность*…» Неизвестно, кто или что приходит в видениях к нему, но из его монолога бормотания выходит нечто похуже:

> *«– Нормальный человек… Что это такое – нормальный человек? Тот, кто никогда не сделал ничего мерзкого. Так, но наверняка ли он об этом никогда не подумал? А может быть, даже не подумал, а в нём что-то подумало, появилось, десять или тридцать лет назад, может, защитился от этого, и забыл, и не боялся, так как знал, что никогда этого не осуществит. Ну, а теперь вообрази себе, что неожиданно, среди бела дня, среди других людей, встречаешь это, воплощённое в кровь и плоть, прикованное к тебе, неистребимое, что тогда? Что будет тогда?*
>
> *Я молчал.*
>
> *– Станция, – сказал он тихо. – Тогда будет Станция Солярис»*[224].

Из писем к Врублевскому выплывает, что во время написания этой сцены Лем думал, что главной темой его романа будет невозможность контакта с чужеродным существом. Герои «Эдема» смогли поговорить с двутелом, обращаясь к универсальному языку математики. Лем хотел поднять собственную планку, выдумывая создание, с которым нельзя установить контакт, потому что даже если мы найдём общие основополагающие аналитические и алгебраические понятия, то у нас абсолютно отсутствует общий опыт.

Однако этого мало для сюжета романа. В поисках выхода из этой ловушки Лем случайно выдумал нечто лучшее – просто в невероятном темпе стуча по клавишам пишущей машинки в Доме творческого труда в Закопане.

Я спрашивал Барбару Лем о том, как выглядели такие рабочие поездки, потому что она иногда сопровождала мужа и всё видела. Лем всегда просил комнату под крышей, которая была малопривлекательной, поскольку летом там было душно, а более того, она была дальше всего от санузла, находившегося на первом этаже. Он был почти всегда занят, поэтому проживающим на нижних этажах было легче выловить момент, когда туалет освобождался.

Лем справлялся с этими трудностями благодаря своей

бессоннице. Он просыпался обычно ещё до рассвета, когда санузел был и так свободен. Дневная жара его тоже не пугала, потому что днём он выходил на прогулки в горы, обдумывая следующие разделы (вероятно, потому Пиркс, Брегг, Рохан из «Непобедимого» или даже Кельвин в разделе «Старый мимоид» регулярно прогуливаются по каким-то склонам, долинам, оврагам и перевалам).

Однако комната под крышей имела одно весомое преимущество: отсутствие соседа сверху, гарантирующее, что Лема не будет отвлекать ничьё топанье. В начале романа «Солярис» появляются описания, подчёркивающие одиночество и тишину, окружающую главного героя: «никого не было», «снаружи царила тишина». Кто знает, не послужила ли вдохновением для этого тишина на вилле «Астория» в четыре часа утра, когда Лем начинал свой день.

Как и станция «Солярис», пансионат обычно оживал позже. Писатели встречались в столовой, вместе ходили на прогулки, пересказывали друг другу свои произведения, одалживали друг другу рукописи. Машинопись «Рукописи, найденной в ванне» произвела фурор в «Астории», но как Лем позднее рассказывал Бересю, все соглашались, что цензура никогда этого не пропустит (это было мнение также Яна Котта и Мацея Сломчиньского).

И они были правы, цензура, конечно же, задержала роман. В какой-то момент Лем уже так отчаялся, что подумывал о том, чтобы выпустить его в свет в виде самиздата – рукописи, размноженной с помощью копирки. Он даже сделал первый шаг к изданию книги за границей с целью обойти цензуру – выслал рукопись Вальтеру Тилю, немецкому переводчику Гомбровича, который в результате и перевёл эту книгу, но если бы книга вышла в ФРГ, а в Польше её задержала бы цензура, то Лему грозила бы судьба Бориса Пастернака, преследуемого автора «Доктора Живаго». Так свои переживания он описывал в июне 1961 года Врублевскому:

> *«Как тебе известно, общая ситуация такова, что мы сидим на бочке с усовершенствованным водородным порохом, из которой торчит фитиль, и этот фитиль тлеет уже так добрых двадцать лет. Порой на это тление дуют, а порой на миг оно гаснет, а потом снова раздувают, и так всё это продолжается. И к такой нестабильности, как и ко всему, человеческое стадо привыкло. Однако в моей профессии из человека делают исключительного идиота, потому что последнее время уже совершенно непонятно, о чём писать, поскольку*

*абсолютно вконец «больные паранойей факторы» видят в каждом слове страшные намёки. Чем лучшего мнения те люди, которые прочли мою «Рукопись, найденную в ванне», тем больше я раздражаюсь, что не могу его издать. У меня был этот текст, когда я вносил какие-то исправления и писал непонятно какое вступление – якобы чтобы смягчить суть, – но всё это только ерунда, которой мне морочат голову. Сейчас только надо постараться забрать себе копию, то есть отдам переписать и потом смогу послать тебе, потому что в ином случае я не знаю, когда бы ты дождался текста. Моя «Солярис» вышла уже достаточно давно, в Закопане его нет, денег мне не заплатили, авторские экз[емпляры] я не получил. Я сделал корректуру второй книги, которую по чистой ошибке назвал «Книгой роботов» – это рассказы. Идиотское название, но оно остаётся, потому что вёрстка уже прошла, обложка есть, а выйдет между 61-м и 62-м. Я много времени потерял, раздумывая над прибыльным предложением написать сценарий научно-фант.[астического] фильма. В результате ничего из этого не вышло, потому что действие должно происходить в нашей стране и из этого всего может получиться только полный нонсенс: снова ни над чем нельзя будет посмеяться. Описывать наши прекрасные межзвёздные ракеты 2500 года мне не хочется. Пока что я высиживаю и вымучиваю рассказ-роман – такой в стиле «Эдема» более-менее, но в этот раз всё будет ещё больше перемешано, в порошок. Идея уже есть. На одной планете миллионы лет назад приземлился корабль с какой-то другой обитаемой планеты. Экипаж (не люди, но разумные существа) этого корабля погиб. Остался остов ракеты и масса разных гомеостатов, роботов, автоматов, которые сперва ввязались в борьбу с местными живыми организмами (фауной, никаких разумных существ), истребили их, а потом размножились и началась «мёртвая эволюция», эти автоматы уничтожали друг друга в борьбе за существование. Они перестали быть инструментами, служащими кому-то. Стали появляться осёдлые автоматы (такие себе металлические чащи), подвижные автоматы – большие, как динозавры, стреляющие огнём, и разные поменьше. Те большие были истреблены меньшими и после этих миллионов лет осталась пустынная земля, на которой существуют только «металлические растения» и*

*«облако», состоящее из мелких хрусталиков псевдонасекомых – тоже металлических, ясное дело, которые могут в случае опасности объединяться в «чёрное облако» и живут в симбиозе с «растениями». Всё начинается с прибытия земной ракеты, которая исчезает вместе с экипажем при таинственных обстоятельствах, после чего прибывает вторая ракета, галактический грайсер [sic!] с экипажем из ста человек, с метателями антиматерии, силовыми полями, эмиттерами Дирака и Вейра [скорее всего, речь идёт о фамилии Вейля, но это понятие так или иначе не имеет смысла, хотя могло бы означать оружие, предназначенное для уничтожения материи путём обнуления её волновых функций. – Прим. авт.], вооружённый до зубов. Роман (или новелла – ещё сам не знаю) повествует о разных ужасах и как люди в конце концов будут побеждены. Причём «облако» никого не убивает, а атакует магнитными зарядами, и если они на кого-то попадают, то уничтожают ему всю память, так чтобы он остался в живых, но со смягчённой личностью и памятью калеки, наподобие взрослых младенцев.*

*Эту чушь я пишу из отчаянья и обязанности, не забавы ради, потому что мне уже претит это всё, эти темы, которые я себе набросал, я не могу развивать, потому что уже не могу позволить себе написать вторую книгу, которую не пропустит цензура. Тиражи низкие теперь, денег мало, с фильма какие-то гроши, потому нужно делать что-то, что принесёт деньжат»*[225].

Трюк с «непонятно каким вступлением, чтобы смягчить суть» сработал, и «Рукопись, найденная в ванне» в конце концов была опубликована. Лем называл это вступление в письме ко Мрожеку «Конрадом Валленродом прозой ВНАЧАЛЕ»[226]. Вступление действительно намекает, что события происходят в США, а центральным Зданием сюжета является Третий Пентагон (что бы это ни значило). В самой книге, однако, на это ничто не указывает, к тому же вступление заканчивается такими загадочными словами:

«Историческая наука ещё не сказала своего последнего слова о «Записках», называемых также по месту, где они были обнаружены, «Рукописью, найденной в ванне». Нет и единого мнения о датировке отдельных частей манускрипта (первые одиннадцать страниц Гибериадские Гносторы считают позднейшим апокрифом), однако для Читателя эти споры специалистов несущественны, и мы умолкаем, чтобы дать голос

последнему дошедшему до нас свидетельству папирографического периода неогена»[227].

Так что видим, что вступление заканчивается предупреждением, что является дописанным позднее апокрифом и только роман следует воспринимать серьёзно. Цензора, вероятно, успокоило объяснение от издательства, что на самом деле речь о том, что у этого романа нет начала. Текст начинается как бы с середины предложения («…комнату с таким статусом, в которую мой пропуск давал бы право войти, отыскать не удалось»). Это в свою очередь отголосок после выброшенного «НАЧАЛА», написанного во время, когда Лем ещё хотел сделать из этого рассказ о Тихом.

Проблемы с цензурой неожиданно появились даже по поводу романа «Солярис». Щепаньский записал в своём дневнике 27 августа 1960 года такие странные слова: «Мне сказал Лем, который посетил меня сегодня, что в *MON* от него хотели, чтобы в новом фантастическом романе, который он издаёт, он поменял фамилии англосакского звучания на русские» (речь идёт о «Солярис», у Лема не было тогда никакого другого романа в издательстве *MON*).

Я не знаю, существовала ли какая-то первоначальная версия с другими именами – Лем обычно уничтожал рабочие рукописи, чаще сжигал их в поле за забором дома в Клинах. Возможно, ему удалось удовлетворить издательство одним весомым изменением: фамилия весьма важного персонажа, Гибариана, – армянская, а потому в некотором смысле советская[228].

В своих стычках с цензурой Лему мог помочь полёт Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Как и запуск первого искусственного земного спутника (4 октября 1957 года), это было великим триумфом советской науки и техники. Медиа трубили о Гагарине круглосуточно, и, вероятно, это как-то повлияло и на хорошее отношение к книгам Лема в разных издательствах.

Для самого Лема это не было каким-то великим событием. С Ежи Врублевским в переписке, с которым регулярно затрагивал разные научно-технические темы, он не писал об этом. Письмо от 10 апреля касается проблем с «Вартбургом» («Радиатор у меня сильно подтекал, и полетел один амортизатор») и книги «Дорога к рабству» фон Хайека (Лем относился к этой книге более скептически, чем Врублевский, бывший марксист)[229].

Следующее письмо датировано 25 мая и описывает дела чисто научные[230]. Лема восхищало то, что молекулу ДНК – то есть носитель генетического материала – можно анализировать с точки зрения теории информации и кибернетики, как будто это

компьютерная программа. Он задумывался над последствиями этого (что, вероятно, станет вдохновением для работы над «Суммой технологии»). Гагарин его, очевидно, мало интересовал[231].

Он тогда был разделён со своим другом Яном Юзефом Щепаньским, который как раз путешествовал по горам в другом обществе. Он, в свою очередь (17 апреля 1961 года), описал гагариноманию таким образом:

> *«В газетах, которые тут изредка видим, почти нет информации о процессе Эйхмана. Только лаконичные, очень общие упоминания. Зато все колонки заполнены Гагариным. Из отчётов о полёте лишь одна вещь кажется интересной: описание Земли с высоты 300 км. Удивляет совпадение с представлениями об этом. Голубой шар на чёрном небе. Только этот ореол в цветах радуги, проходящий от пурпурного до красного, является чем-то новым. Однако ничего нового, ничего «космического» в психике первого космонавта. Когда его спрашивали о личных впечатлениях, он отвечал политическими формулировками. Чувствовал себя не первым человеком в космосе, а «советским человеком», был благодарен власти и партии, был горд достижениями советской науки и так далее. Тот огромный рывок, который он совершил, не помог ему оторваться от игры, которая ведётся здесь, внизу».*

Щепаньский, вероятно, был немного несправедлив здесь касательно Гагарина – в конце концов, высказывания военного пилота не могут передаваться до конца искренне. Слова американских астронавтов тоже проходили через пресс-секретарей *NASA*. Доказательством того, что советские космонавты были хоть немного отдалены от «игры, которая ведётся здесь, внизу», является их увлечение прозой Лема. Во всём советском блоке тогда это был единственный писатель, который умышленно и целенаправленно избегал соцреалистической конвенции – Стругацкие были тогда лишь на этапе «В стране багровых туч» (1959), свои великие произведения они ещё не написали. А напишут, безусловно, вдохновляясь Лемом.

«Солярис» в русской культуре появилась впервые в 1961 году, то есть всего через пару месяцев после выхода оригинальной версии. Россияне, однако, не получили всей книги, лишь фрагмент раздела «Соляристы». Вышел он в декабрьском номере научно-популярного ежемесячного журнала «Знание – сила»

(название журнала является переводом знаменитого афоризма Фрэнсиса Бэкона *Scientia potentia est*).

Лем как раз идеально попал в период культурной оттепели в СССР, более короткой и скромной, чем в ПНР, однако она же принесла шанс литературного дебюта и Солженицыну. Речь о рассказе «Один день Ивана Денисовича», опубликованный в 1962 году в ежемесячнике «Новый мир». Этот текст положил конец четверти века молчания на тему лагерей – после 1937 года эта тематика была под абсолютным запретом в советской прессе и литературе[232], нельзя было даже писать лживые пропагандистские пеаны в стиле лжерепортажа Максима Горького, воспевающего гуманную советскую исправительную систему, которая позволяла создать нового, лучшего, ресоциализированного человека. После 1937 года это тоже было изъято из библиотек.

Публикация фрагмента «Солярис» в советской прессе, разумеется, не стала каким-то шоком, но тем не менее нарушила некоторое табу. Ранние романы *science fiction* в советском лагере – такие, как «Туманность Андромеды» Ефремова или хотя бы лемовское «Магелланово облако» – показывали идеальное будущее, в котором на Земле воцарится идеальный строй. Уже не будет проблем с деньгами, бюрократией или взаимными антипатиями. Похожие вещи происходили и с западной фантастикой – ван Вогт или Кларк.

Будущее в «Солярис» не показано дистопией, но раздел «Соляристы» позволяет представить себе его как что-то очень похожее на тогдашнюю «игру внизу», апелляций к которой Щепаньскому так не хватало в официальных речах Гагарина. Учёные из будущего, исследующие Солярис, борются с похожими проблемами, какие известны исследователям и учёным до сегодня, – со снижением уровня дотаций, закулисными играми, всесильной бюрократией.

Роман бросал серьёзный вызов советской цензуре, потому путь к российскому читателю прокладывался медленно. Следующие фрагментарные переводы выходили в других журналах, в 1976 году[233] даже вышла книга, но полное издание сделали только в 1992 году в переводе Галины Гудимовой и Веры Перельман.

Предыдущие переводы (в том числе книжный – Брускина) были сокращены из-за автоцензуры переводчиков, которые избегали в том числе религиозных и эротических мотивов в тексте. Бога и секса в коммунизме ведь быть не должно!

В ноябре 1962 года Лем приехал в СССР с делегацией польских писателей. Советские читатели знали его по русским

переводам «Астронавтов», «Магелланова облака», рассказов о Тихом и Пирксе и по первым фрагментам «Солярис», которые, разумеется, поддерживали заинтересованность писателем, так как книга затягивала, даже если начать читать её с середины. Тем больше нам тогда хочется понять загадку океана и созданий F!

Всё это привело к тому, что Лема отделили от польской делегации и воспринимали как звезду рок-музыки. Он много раз рассказывал, как «в огромной аудитории университета Ломоносова собрались две тысячи молодых людей». Встречу вёл «какой-то профессор физики, специалист по лазерной оптике, очень милый». Собравшиеся могли задавать Лему вопросы на листочках бумаги, ведущий тихо спросил Лема, нужно ли отбирать вопросы, Лем отказал.

Пришёл вопрос: «Разве вы коммунист?» Лем уже много лет имел дежурный, испытанный ответ: «Нет, потому что не думаю, что заслуживаю этого почётного звания». Но как только он успел сказать: «Нет, я не коммунист», невероятный шум аплодисментов, «от которых просто затрясся зал», не дал ему продолжить заготовленный ответ[234].

Фиалковскому Лем рассказывал, что уже во время этого путешествия встретил в Ленинграде братьев Стругацких. Его биографы Прашкевич и Борисов, однако, утверждали в своей книге, что это невозможно (вероятно, Лем перепутал воспоминания о разных поездках – Аркадия он встретил в Праге, а Бориса дважды в Москве[235], втроём они никогда не встречались). Равно как и Щепаньский, Стругацкие вели дневник. 23 ноября 1962 года Аркадий записал, что слушал выступление Лема по радио и его очень порадовало, что, когда спросили о его любимых советских фантастах, Лем назвал Стругацких и Ефремова. Когда дошло дело до встречи, то он чётко зафиксировал в дневнике, что разминулся с Лемом в Ленинграде на неделю.

Так своё путешествие Лем по свежим следам описывал Врублевскому:

> *«Дорогой Юрек,*
>
> *два дня назад я вернулся из Москвы […]. Из России я вернулся в каком-то смысле обращённый в неё, без сомнений из-за людей – причём у меня было так много разных встреч, что я не в состоянии как-то подытожить того, что было. Я совершенно случайно попал в идеальный момент, потому что вдруг началась какая-то культурная оттепель (которая, что правда, подпольно уже давно следовала собственным путём), и привела к изданию даже*

*воспоминаний из лагерей [аллюзия на описанный выше рассказ Солженицына. – Прим. авт.].*

*Что же происходило конкретно со мной, вокруг меня, нельзя даже описать. Дошло до того, что наше посольство дало нечто наподобие банкета в мою честь, причём гостями были в основном те советские учёные, с которыми я был знаком лично. Хорошо, что я уже такой старый конь, иначе точно что-то бы перевернулось у меня в голове. Мой номер в отеле был почти постоянно забит разными кибернетиками, астрофизиками, математиками, не говоря уже о молодых писателях. У меня были массовые встречи, две со студентами московского университета, где я чувствовал себя, как Ленин в 18 году, когда вещал для забитого зала, причём те, которые не смогли сесть, стояли и висели на колоннах, почти что на канделябрах. Также была встреча с читателями в библиотеке Дзержинского раона [?] и со студентами ленинградского университета, как и камерные разговоры с учёными первого класса. Меня любили там, мне говорили разные вещи, одаривали, почитали так, что, вероятно, уровень признательности удовлетворил бы человека с претензией на гениальность, которым я – уверяю тебя – до сих пор не стал. Формально я был членом делегации Польского союза писателей, но я практически не пересекался с нашей делегацией. Я вёл долгие ночные разговоры, читал в рукописях стихи и рассказы, и романы, говорил по 14 часов в сутки и вернулся такой оброссийщенный, что первые пару дней делал ошибки в родном языке…*

*Nota bene: я не был в Кремле и вообще мало что успел увидеть, меня так разрывали на куски, и я пришёл к выводу, что налаживание личных контактов намного важнее, чем роль туриста, осматривающего достопримечательности.*

*Россияне, по крайней мере, те, с которыми я познакомился, на самом деле принадлежат стране, которая родила Достоевского. Это ощущается постоянно. Мне кажется, они намного серьёзнее, чем поляки, более принципиальные, склонные к глубоким размышлениям и, несмотря на мировоззрение, если их немного расшевелить, после 11 вечера вылезает из них мрачный, глубокий пессимизм по отношению к Человечеству и Его Судьбе. Причём их молодёжь (литераторы, студенты) удивительно свежа и воспришмчива, жаждущая*

*контактов, новых мыслей – мне приходилось – чувствуя себя послом дел общечеловеческих – говорить отнюдь не о фантастике, а обо всём возможном: начиная от телепатии, проходясь по литературной ситуации на Западе, и заканчивая «вечными» проблемами.*

*Я был там три недели, и, как мне кажется, не потерял ни одного дня даром. И хоть вернулся уставший как собака, я ни о чём не жалею. Я оставил там множество знакомых – таких, как будто знал их всегда, – обеспечил себе «информационные каналы» тамошней научной и всякой другой литературы. Оттуда на Польшу смотрят как на Европу, как на страну прекрасной свободы, как на страну красивую и немного парижскую, и даже мои несмелые попытки развеять хоть немного этот мираж не дали ни малейшего результата!»*[236]

Мотив «разговоров о телепатии» появится также в дневнике Щепаньского, которого это, вероятно, позабавило. Он посетил Лемов в Клинах 1 декабря (то есть в день написания цитированного выше письма) и записал: «Позавчера у Лемов. Сташек полон энтузиазма по поводу интеллектуальной оттепели в СССР. Из того, что рассказывает, самое интересное то, что они интересуются там такими вещами, как телепатия. Какое-то метафизическое неудовлетворение».

Лем был в СССР ещё дважды, в 1965-м и 1968-м[237]. Во второй раз его сопровождали трое космонавтов из экипажа корабля «Восход-1» – Егоров, Феоктистов и Комаров. Особенно тепло Лем вспоминал Константина Феоктистова – как-никак единственного в истории СССР космонавта, который никогда не состоял в партии.

Миссия «Восход-1» вошла в историю как первый коллективный полёт. На практике это не имело никакого смысла, кроме пропагандистского – в 1965 году полетел первый американский двухместный корабль, то есть *Gemini*-3. Высылая годом ранее экипаж из трёх человек, россияне могли продемонстрировать, что всё ещё лидируют в космической технике, хотя на самом деле как раз начинали проигрывать гонку.

«Восход-1» был слишком маленький, чтобы эти три члена экипажа могли сделать на борту что-либо полезное. Более того, чтобы добавить этого третьего члена экипажа (как раз Феоктистова), им пришлось отказаться от скафандров. Так что вдобавок всё это было ещё и смертельно опасной игрой с человеческой жизнью по глупому поводу – эти пропагандистские миссии скорее замедляли, чем ускоряли космическую гонку.

Российские космонавты слишком хорошо осознавали «игру внизу», но не могли об этом рассказать журналистам – однако рассказывали польскому писателю, попивая вместе с ним кофе на задворках библиотеки им. Горького (так Лем описывал это Фиалковскому).

Энтузиазм, с которым Лем высказывался на тему своих поездок в СССР, является чем-то, на чём я хотел бы немного остановиться. В начале шестидесятых писатель является домоседом, который мечтает о далёких путешествиях. Мрожек, Щепаньский и Блоньский предлагают ему разные общие поездки – то в Лондон, то в Париж. Появляются приглашения даже в США. Лем всё это отбрасывает.

Кажется, что он не любит путешествовать, из-за чего больше всего страдает Барбара Лем, которой с трудом удаётся вытащить мужа на несколько совместных поездок. Очень смешно всё это описывает Томаш Лем, цитируя фрагменты дневника, который во время поездок вела его (будущая) мать. Например, во время пребывания в Югославии в 1961 году их преследовали проблемы с водой, которой в кране либо не было совсем, либо была только холодная:

> *«В нашей квартире даже есть вода – что правда, ледяная. Несмотря на это, я каждый день крашусь. Сташека уговариваю вообще не мыться – знаю ведь, что тогда точно помоется, к тому же без лишних концертов…»*

Из других записей видно, что Лема очень раздражает хроника, которую ведёт его жена:

> *«Пишу. Сташек каждые полминуты спрашивает о чём. В конце концов говорю ему сидеть тихо. Обижается и идёт спать».*

Лем в рамках мести начинает вести собственный дневник, названный «Кхошмарная книга Безжалостных упрёков и скитаний на окраинах далматинской партии Адриатического моря». Томаш Лем, к сожалению, ничего оттуда не цитирует, говорит только, что это «множество страниц, исписанных мелкими нечитабельными бусинками».

Выглядит так, что проще всего Лема было уговорить на поездки на машине. Он обожал машины – Томаш Лем в той же книге отметил, что в фильмах, которые записывал Лем в шестидесятые на восьмимиллиметровой ленте, камера обычно сосредотачивается на автомобилях, только иногда в её объектив

попадают менее интересные темы – такие как Славомир Мрожек, Ян Блоньский или далматинские достопримечательности.

Как любителя автомобилей, Лема должно было мучить видение, связанное с американским сном «домик за городом»: человек покупает себе машину мечты, чтобы потом ездить на ней по кругу «работа-дом». Эх, вот бы сесть и поехать на ней аж до самого Лиссабона – если бы только к концу этого путешествия кто-то вернул потраченные деньги!

Лем оказался в такой ситуации в 1960 году. Как помним, чехи в конце концов согласились заплатить гонорар за переводы, но только наличкой и только в Праге. Совершить банковский перевод было невозможно по причине отсутствия соответствующих международных договоров. В конце концов, сама возможность оплаты таким образом исчезла в 1970 году, как бывает в тоталитарном режиме – со дня на день, без предупреждения и консультаций. Щепаньский (он никогда нас не подводит!) описал этот день в своём дневнике с датой 24 сентября 1970 года, добавляя: «В практике это означает, что власти забрали себе ⅔ моего гонорара в Сов.[етском] Союзе, потому что сейчас на злотые можно менять только по официальному курсу» (через Польское авторское сообщество *ZAiKS*).

Короче говоря, кроны, ожидающие Лема в Праге, нужно было забрать, но нельзя было привезти назад, да и в Польше они бы не представляли никакой ценности. Оставалось только потратить их на месте. Так что Лемы отправились в невероятное путешествие.

Из письма к Мрожеку ясно видно, что для Лема основной радостью была не возможность увидеть достопримечательности Праги, и даже не посещение её самых дорогих ресторанов (Лемы раскидывались деньгами, как пьяный моряк в порту, потому что им просто нужно было их потратить). Самое привлекательное для него было отправиться в самое длинное автомобильное путешествие в жизни:

> *«Там мы проехали в сумме 2500 км. Три больших рывка, первый из Кракова до Праги, но условия были исключительно отличные, вся дорога – это 480 км плюс час ожидания на границе, ну и небольшие пописяшки в придорожных лесках. Всю обратную дорогу, то есть вчера [2 октября 1960. – Прим. авт.], потому что мы только вчера вернулись, стоял ужасный туман от Праги. Я предсказывал тяжёлую дорогу, видимость – метров 50–60, а порой и 20. Выехали мы из Праги в таком супе-подливе и тянулись скромно 60 за какой-то чешской*

*«Октавией», когда, словно чёрный призрак, нас обогнал какой-то англичанин. Я сразу же упал ему на хвост и поехал за его красными задними огнями. Этот человек был хорошим водителем и любителем рискнуть, потому что всю дорогу до Градец-Кралове гнал сотку, а это 105 км от Праги. Так мы и сделали этот кусок, едя на таком оптическом буксире, за час и пару минут! Потом уже чуть лучше было видно, под самой границей даже солнышко вышло, а в Польше начало моросить, но тут уже своё и менее интересное. А в дружественной стране мы проехали так: Прага – Карловы Вары – Марианские Лазни – Прага – Брно – Братислава (с Карловых до Братиславы за один день 501 км, это был самый длинный рывок), а время, что я потерял по пути из Праги до Брно – дорога горная, крутая очень, что-то вроде как нашей на Закопане, а местами даже круче склоны, только хорошая кладка, а местами бетон, – то отбил в Словакии, когда разошёлся уже на 9-м часе езды. (Барбара вообще говорит, что я начинаю хорошо ехать где-то после 6–7 часов непрерывной езды), на прекрасном словацком бетоне я летел 110. А возвращаясь из Праги через Брно, на фрагменте автострады – небольшом, но как стекло, под самой Прагой, когда меня подрезала какая-то «Аронда», я залез где-то за 112, ехалось ровно и хорошо. Может, и больше удалось бы, но в чужой стране немного опасался. А так думаю, мой «Варбур» и 115 без проблем может дать. Резерв под ногой ещё был.*

*Кроме того, поездки покороче, из Братиславы до Модры, из Праги – Йиловиште, Карлштейн (нечто невероятное, увидите, как приедете, мы фильм 8 мм сняли, проекц.[ионный] аппарат, экран – всё имеется, а с проекцией ждём), там знаменитый замок Карла Цезаря XIV века, Мельник, Литомержице, Усти-над-Лабем, таким образом мы на Север, Восток, Запад (К. Вары), Юг объездили околицы Праги. Ну и в самих городах, в Праге тоже много ездили. «Варбур» благодарно служил, хоть невезения его не покидали. То в подземном гараже отеля «Алькрон» его какой-то сукин сын стукнул (сзаду ему попку помяли, спереди бампер с передней бляхой немного поцарапался), на прощанье снова-таки мне кто-то задний бампер поцеловал, я только дома запривидел, выбравшись из машины, что раньше такого не было. Но поломок никаких не было, даже трудных ситуаций – никакой резины, ничего. Special бензин, наше масло Extra*

*15, на этом я и ехал. Масло у меня из Польши. Скромно добавлю, что под горку за мной все чешские «Шкоды»-спартаки цеплялись и сразу отставали, потому что «Варбур» прекрасно на троечке до 80 под горку тянет.*

*Торговля не шла. Денег была масса, но что с ними делать? Факт, что 75 % мы прожрали – икра, сливовица, Шампань, boeuff à la Stroganoss [sic], тушёная говядина, цыганское жаркое, румынские сосиски, антрекот на вертеле, курицы, боже ж мой, индюшатина, куропатки, оленина, окорок косули, всё такое.*

*К счастью, весьма дорогие».*

Вот и всё, что знаменитый писатель может рассказать знаменитому драматургу о самом долгом (пока что) путешествии в своей жизни. Одно короткое упоминание об одной достопримечательности. Ни одного слова о Градчанах, Карловом мосте, ни одного восторженного описания природы – а я хорошо знаю эту трассу, потому хорошо знаю, какие там виды. Всё это оказывается менее важным масла *Extra 15*, икры и того, чтобы стрелка спидометра забралась за показатель 112 км в час.

Отель «Алькрон» был создан в 1932 году и работает до сих пор (сегодня под патронатом *Radisson Blu*). Подземной парковкой можно воспользоваться также не будучи постояльцем отеля: час – сто крон, сутки – девятьсот. Я со скептицизмом отношусь к тому, что «какой-то сукин сын стукнул» там Лема. У Лема была склонность к авариям на парковках, он постоянно кого-то «стукал» – либо спереди, либо сзади. Даже в его собственном гараже в Клинах ночью его умудрялись стукать предательские стены или ворота.

Само это описание поездки через поглощённую туманом Чехословакию, на «буксире» какого-то самоубийственно «рискованного» водителя, сегодня пробуждает страх. Лем преодолел трассу из Праги до Градца-Кралове быстрее, чем сегодня показывает сервис Google Maps, хотя в наши дни это скоростная автодорога *R11*, а тогдашние автомобили ведь не прошли бы ни одного из сегодняшних крэш-тестов! Это страшно, с какой беспечностью вели себя самые большие таланты польской культуры – Мунк, Комеда, Кобеля, Цыбульский.

Отель «Алькрон» находится, правда, не на Виноградах, а в самом центре, но неподалёку от перекрёстка с улицей Виноградской. Я полагаю, что именно этого касается нижеприведённая история, которую Лем пересказывал много раз, в том числе и автору этой книги.

Путешествие Лемов через Чехословакию было по большей

мере «сумасшедшей» поездкой, без предварительных бронирований и договорённостей, так как в конце концов именно в этом состоит прелесть автомобильного путешествия. В коммунистических странах путешествовать таким образом было трудно, потому что отели, как правило, не имели свободных мест для людей, которые заходили с улицы. Туристы должны были выкупать места ранее через бюро путешествий, а тем, кто ехал в командировку, места бронировали на работе. Даже сегодня в странах бывшего СССР случается так, что человека прямо с рецепции отсылают в ближайшее «бюро бронирования».

Лемы искали ночёвку в Праге вечером – безуспешно. Ситуация была ещё более неприятна, так как это была не первая попытка. Предыдущая была настолько неудачной, что им пришлось отъехать на несколько десятков километров от Праги[238].

В одном из отелей – возможно, именно в «Алькроне» – портье сначала тоже сказал, что у них нет свободных номеров, но потом переспросил фамилию писателя. «*To vy jste napsali Eden? Ja rozumím!*»[239] И номер нашелся.

Томаш Лем детально описывает эту поездку на основе дневника матери. В рамках программы траты денег её муж купил в Праге паровую машину и хотел запустить её в отельном номере. По инструкции топливом для машины должен был быть спирт, но спирта у них не было, потому Лем использовал чешский одеколон. «Сначала ничего. Потом бульк, и всё завертелось, как сумасшедшее».

Лемы купили в Праге тот проектор, которым Лем хвалился в письме к Мрожеку, как будто это было очевидно, что в каждом краковском доме есть такое оборудование. Его он тоже включил в номере, чтобы воспроизвести фильмы, снятые ещё в Кракове и Закопане, на которых были сами Лемы, а также Александр и Данута Сцибор-Рыльские (главным образом, конечно, их машины). Барбара Лем записала:

> «*Зная Сташека, я уверена, что он возьмётся за настройку, не прочитав инструкции, и будет говорить, что аппарат неисправен. И действительно. Сначала сломалось эбонитовое кольцо для изменения давления, и секунду спустя Сташек уже изучает книжечку с инструкцией. По инструкции вроде правильно, но не работает. Раскручиваем трансформатор. И ни за что не можем собрать его обратно. Сташек медленно синеет – очень жарко, а трансформатор страшно тяжёлый. Мы трясём и стучим им об пол. Наконец, пакуем в чемодан,*

*который Сташек относит обратно в магазин. Там продавец перекручивает сломанное от давления кольцо и вкручивает гайку. Сташек возвращается очень уставший. Немного отдыхает, после чего включает аппарат».*

В Праге Лемы отметили тридцать девятый день рождения писателя. Они провели его в обществе чешского переводчика Ярослава Симонидеса, который должен был помогать Лемам в Праге, но пропал сразу после их приезда и не подавал признаков жизни. А потом неожиданно появился на дне рождения, который Лемы хотели провести в одиночестве в ресторане. Появился мало того что неожиданно, так ещё и в обществе их общей знакомой. Попытки объясниться привели к тому, что переводчик говорил «вещи смутные и мало правдоподобные». В конце концов до Лемов дошло, что переводчик оставил их общество из-за резко начавшегося романа с той самой их общей знакомой.

Обозлённый Лем сразу же, прямо в отеле, написал ему «разводное письмо», то есть свою любимую эпистолографическую форму – письмо, в котором торжественно сообщает, что прекращает отношения навсегда. Подобные письма получил тогда каждый, кто близко сотрудничал с Лемом и чем-то провинился. Включая Канделя, Береся, Яжембского, Фиалковского и других.

Спускание денег в роскошном ресторане «Москва» Барбара Лем описала так:

«*Целые горы икры и мороженого. Трое официантов следят за каждым нашим вздохом. Так пусто, что не на ком задержаться взгляду. Еда очень вкусная. Роскошная тишина, в которой слышно каждое чавканье Сташека*».

Так что это была поездка, которую трудно причислить к современным автомобильным поездкам по маршруту Краков – Прага. Там странным образом смешались роскошь, которую сегодня нельзя купить ни за какие деньги, с бедностью и простотой, которой тогда ни за какие деньги нельзя было избежать. Когда читаешь описания тогдашней роскоши, легче понять, почему даже те люди, которые теоретически могли себе позволить икру и шампанское, с большим удовольствием отдыхали в палатке, разбитой где-то в глуши, питаясь пойманной собственными руками рыбой и консервами.

Отпуск 1961 года Лемы провели вместе со Щепаньскими, о чём тот как всегда отметил в своём дневнике, – это выглядело лучше, чем пражские или югославские поездки, и не только потому, что Щепаньский был большим оптимистом, совсем наоборот – в его книгах можно найти также описание очень

неприятных поездок, но эта к таким не принадлежала (запись от 7 августа 1961 года):

> *«В пятницу 4-го мы выехали утром с Лемами на машине в Бещады – через Сонч, Горлице, Ясло, Санок. Старый Сонч полон очарования. Улочки поросли травой, тишина, старые домики, гончары и кожевники. Маленькие музеи, наполненные благодаря местным коллекционерам, монастырь кларисок с прекрасной кафедрой, оплетённой золотыми ветвями древа Иессеева. Мы посетили также маленький замок в Шимбарке, ужасно запущенный, но целый. Даже сохранилась уборная в угловом эркере.*
>
> *В Бече мы осмотрели коллегиальную церковь и каменицу Кромера с прекрасным сохранившимся ренессансным интерьером.*
>
> *За Леском началась бещадская экзотика. Сперва печальная. Старая, густая застройка на якобы Возвращённых территориях. Я чувствую, что эта земля является свидетелем долгой истории зла.*
>
> *Постепенно становится всё более пусто, гористая и лесная местность. Мы разбили палатки над ручьём, недалеко от Балиграда. На следующий день поехали до самого конца асфальта за Ветлиной и вышли на Ветлинскую полонину.*
>
> *Прекрасная погода. Вид на раскинувшийся внизу горный массив, полностью безлюдный. Красивые, лесные долины, на вершинах огромные луга. Куда достигает взгляд – ни крыш, ни дыма.*
>
> *На обратном пути снова палатки неподалёку от Балиграда на буйном лугу над рекой, дрожащей от пенья птиц. Вчера целый день обратная дорога. В Ропице-Дольней мы посетили мальчика, которого я сбил когда-то на мотоцикле. Он уже дома. Нога в гипсе. К счастью, перелом без осложнений».*

Щепаньский здесь говорит об аварии 19 июля, когда четырёхлетний мальчик вдруг выбежал на дорогу, несмотря на предостерегающий сигнал. Щепаньский не знал, не виновен ли он в этой ситуации. Он не сбежал, а оказал первую помощь и признался во всём в милиции, которая решила, что виновны родители мальчика, которые не уследили за ребёнком. Возвращаясь из отпуска, он хотел их посетить. Лем отговаривал его, предупреждал, что, если они поймут, что ему совестно, начнут шантажировать.

Так и получилось. Сразу после возвращения Щепаньский

получил от родителей мальчика «письмо в отвратительном тоне шантажа, вымогали деньги и грозили судом». Щепаньский ответил резко, что декларирует готовность оплатить личную сиделку (он и так хотел это сделать), но отрицал всякую вину. Родители больше не писали (по крайней мере, об этом не указано ничего в дневнике). Предостережение Лема здесь стоит воспринимать как выражение не цинизма, но реализма.

Лучшим доказательством этого является то, что в апреле 1962 года Лем ввязался в большие проблемы, желая помочь ближнему. К нему обратился за помощью некий Лесницкий, львовский еврей, который – как описывает в своём дневнике Щепаньский – «пережил оккупацию в Германии, потом он перебрался в Чехословакию, где преподавал в Политехническом в Либерце как инженер-электрик и механик». У него была служебная квартира, за которую «взялся» какой-то чиновник СтБ (чехословацкой СБ). Чтобы получить эту квартиру, он организовал перевод Лесницкого в ПНР.

Лесницкий, из-за того, что ранее пытался совершить самоубийство, был сразу размещён в больнице для нервнобольных в Бранях. После нескольких месяцев его отпустили, но ему некуда было пойти.

Он поехал в Варшаву, обошёл все возможные министерства и управления (зарабатывал продажей билетов при кинотеатрах и ночевал на вокзале), но везде хотели, чтобы он сначала подписал карту репатрианта. А он не хотел этого сделать, потому что упрямо хотел отмены нелегальной депортации. В конце концов, отчаявшись, он зимой отправился нелегально через границу. Слетел со склона под лавиной и лежал в больнице с переломанными рёбрами. Едва выйдя, он отважился на вторую попытку совершить задуманное, что ему и удалось. В Чехословакии он отдался в руки властей, чтобы по ходу судебного процесса доказать свою невиновность. Он получил несколько месяцев тюрьмы и бумагу, что много лет жил как законопослушный гражданин. Потом его снова выселили, а в Польше посадили на год за незаконное пересечение границы.

После выхода из польской тюрьмы он оказался в исходной точке. Он не соглашался принять статус репатрианта, потому ни одно польское управление не могло ему помочь. В конце концов в возрасте сорока двух лет он оказался в доме престарелых в Батовицах, откуда писал письма с просьбой о помощи в разные учреждения и к знакомым людям. Одно из них он отправил Лему, который и решил ему помочь.

Щепаньского с самого начала удивляло это, потому что он знал, что Лесницкому – в дневнике он чаще всего называет его

«псих» – помочь невозможно. «*Это невысокий человек со сломанным носом, редкими большими зубами и ярко-голубыми глазами. Скорее не симпатичный. Мы стараемся ему помочь, но каждая инициатива разбивается о его неуступчивую, маниакально-основополагающую позицию. Хочет, чтобы ему всё вернули. Но это невозможно!*»

Причины, по которым Лем хотел помочь ему, были Щепаньскому непонятны. Он только записал, что Лем, мотаясь на машине по этому делу по всему Кракову и округе, врезался во что-то своим «Вартбургом», его друг «в типичном для себя настроении буффо» прокомментировал бормотанием: «Я восхищаюсь твоей любовью к этому сукиному сыну Ближнему».

Дело «сумасшедшего» заняло у Лема много времени между апрелем и маем (первая запись на эту тему в дневнике Щепаньского датирована 26 апреля, последняя – 10 мая, но для Лема это дело точно началось раньше и, вероятно, закончилось несколько позже, просто в этот период Щепаньский непосредственно наблюдал за ситуацией). Писатель пытался организовать Лесницкому лучшее лечение через своих знакомых психиатров, в том числе обратился к Ванде Полтавской (известной приятельнице Кароля Войтылы), которая сразу сказала, что он действительно болен психически и представляет угрозу для себя и окружающих (она расспрашивала его о попытке самоубийства, он сказал, что он больше не будет пытаться, потому что не хочет предоставить повод для радости своим преследователям. Это ответ параноика, – таково было врачебное заключение Полтавской).

Лем ввязал в это даже депутата Ежи Завейского, с которым познакомился благодаря редакции «*Tygodnik Powszechny*». Более того, он хотел организовать «психу» юридическую помощь адвоката Анджея Розмариновича (позднее знаменитого защитника в политических процессах). Всё это не имело ни малейшего смысла, потому что лучшее, что можно было сделать, это дать Лесницкому какую-то ренту и квартиру где-то в Кракове. Лем имел такую возможность, но Лесницкий не хотел, а даже если бы и захотел, то закончилось бы это очередной попыткой самоубийства или попытками нелегально пересечь границу.

В свете того, что нам известно о военной судьбе Лема, мы можем понять то, чего во всей этой истории не понимал Щепаньский. В львовском еврее, своём ровеснике, Лем видел воплощение всех тех, которым не мог когда-то помочь, потому что должен был думать о спасении себя и своих родителей. Мы помним, что для Эла Брегга самое страшное было воспоминание о Вентури, который «просил о помощи», но Брегг был вынужден

дать «полный назад». Сейчас же Лем хотел дать полный вперёд, даже когда все вокруг ему говорили, что это бессмысленно, потому что дело безнадёжное.

Лем в этот период был на пике писательской и интеллектуальной формы. Судя по содержанию его писем к Врублевскому, он уже начинает работать над произведением, которое подытожило его виденье будущего, – «Сумма технологии». Темы и главные тезисы помогли ему окончательно выкристаллизовать разговоры с передовыми советскими учёными, но и раньше Лем интересовался развитием информатики и генетики.

Сам писатель наполовину шуточно говорил Фиалковскому, что своим самым большим литературным успехом считает описанный выше случай в пражском отеле. Потому что все награды и ордена – это ничто по сравнению с таким ощутимым доказательством славы, когда портье в отеле в другой стране, лишь услышав его фамилию, чтобы высказать почтение книге, которую ещё даже не перевели на его язык («Эдем» выйдет в ЧССР только в 1975-м[240]), вдруг даёт писателю ключ от номера, которого минуту назад вообще не было… это даже лучше, чем Нобелевская премия.

Но как учит Талмуд: «кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Так что, возможно, свой самый большой литературный успех Станислав Лем пережил именно на переломе апреля и мая 1962 года. Силы, вложенные в безнадёжное, казалось бы, дело, окончательно не были потрачены впустую.

Дело Лесницкого имело неожиданный хеппи-энд, свидетелем которого, к счастью, был Щепаньский. Иначе мы бы никогда об этом не узнали. Лем этим не хвалился.

Это было почти годом позднее, вот запись от 9 мая 1963 года:

> *«Вчера вечером я был в Клинах. Только мы на именинах Сташека. Только ненадолго пришёл какой-то сосед. А до того – звонок от Лесницкого, который вдруг нашёлся (я подозревал, что он в конце концов окажется в [закрытом заведении] в Кобежине[241]). Какое-то невероятное изменение в нём произошло. Работает, нашёл квартиру, живёт как нормальный человек».*

Может, достаточно было того, что в своей жизни он встретил кого-то, кто оказался настолько бескорыстно добрым? Я не был бы удивлён, если бы Святой Пётр встретил Лема не словами чешского портье: «Ах, это вы написали «Эдем»?», а словами: «Ах, это вы тогда бескорыстно спасли в шестидесятых одного человека? Добро пожаловать, вот ключ…»

# VII
# Глас Господа

Люди, живущие в золотую эпоху, этого не знают. Такого сознания не было у древних афинян или ренессансных флорентийцев. Не было его и у польских писателей в шестидесятых годах, хотя это, безусловно, золотая эпоха польской культуры.

Давайте представим себе: по телевизору идёт «*Kabaret Starszych Panów*»[242] (1958–1966), «*Wojna domowa*»[243] (1965–1966) и *Stawka większa niż życie*[244] (1965–1967). Мы уже на память знаем соль каждой шутки и каждый удивительный поворот событий – мы знаем, кем является группенфюрер Вольф и как *wespół w zespół żądz moc móc zmóc*[245] (заставки шоу «*Kabaret Starszych Panów*»). Как прекрасно было бы увидеть это в премьерных фрагментах!

А высшая культура? Можно тогда пойти в театр на «Картотеку» Ружевича (1961) в режиссуре Свинарского (1965). В филармонию на «Страсти по Луке» Пендерецкого (1966). В кино на «Нож в воде» Полянского (1961), «Пепел» Вайды и «Рукопись, найденную в Сарагосе» Хаса (1965).

Если речь идёт о Леме и его друзьях, то золотая эпоха сияет ярким светом. Сцибор-Рыльский в то время преуспевающий сценарист, «Пепел» как раз его творение. Блоньский выезжает на престижную стипендию в Сорбонну и привозит оттуда новейшую моду литературоведения – популяризует у нас мысль Барта и структуралистов. Щепаньский специализировался на дорожных записках путешественника, потому постоянно ездил за деньги издательства то в Латинскую Америку, то в Персию, то на Шпицберген, то в США. Мрожек делает мировую карьеру как один из самых популярных европейских драматургов. А что же Лем? Если не пишет свою «Кибериаду», то только потому, что как раз пишет «Сумму технологий».

Все они покоряют вершины своих возможностей. Все познают триумфы. Однако этого не видно из писем и дневников Щепаньского, который после встреч с друзьями часто описывает их минорное настроение. Моменты триумфа случаются редко и их, как правило, сопровождает рефлексия типа «да что значит этот триумф – слишком мало, слишком поздно и совсем не так, как должно было быть». Все они переживают регулярные приступы сомнений в значимости своей работы – не верят в свой талант, со страхом ожидают реакции друзей. И эта реакция порой

бывает суровая.

3 сентября 1962 года Щепаньский, к примеру, пишет: «Позавчера вечером Лемы и Блоньские были у нас. Блоньский разочарованный, в истерике. Ничто его не интересует и ничто не радует. Он пародирует, агрессивно дурачится, но видно, что на самом деле плохо с ним. Он не верит в смысл своей критической деятельности, его тошнит от безвкусицы».

Из описаний Щепаньского видно, что Блоньский имел привычку напиваться до печали. Во время дружеских встреч он жалел себя и свою профессиональную нереализованность. Он считал, что всем лучше, чем ему, и ожидал от окружающих сочувствия в связи с проблемами, которые окружающим казались комично неважными (что Блоньского обижало ещё больше). Вот один из таких взрывов в 1967 году, во время приёма у Лемов в день годовщины их свадьбы:

> «*Вечер в Клинах. Годовщина свадьбы Сташеков. Были Блоньские и Мадейские. Блоньский импровизировал целую мистерию-буфф над столом, выкрики в честь икры, лекция о гастрономии в барочно-оргиастическом стиле, дурачился оч. смешно, а в конце впал в ярость, потому что кто-то вспомнил про какую-то мебель от школы Кенара*[246]*, которую он хотел купить и которую продали кому-то другому. И не меняя стиля, начал выгружать свои комплексы, корни которых уходили вглубь «непризнанности» критика. Это было интересно, хоть и неловко, фальшиво, как сюрреалистический театр*»[247].

В письмах к Мрожеку Блоньский, в свою очередь, обвиняет друзей в меланхолии.

«Наши друзья погружены в печали», – пишет он в 1963 году[248]. Когда речь идёт о грусти Лема, он обычно добавляет что-то злобное на тему того, как Лему везёт:

> «*Сташек тебя обнимает. Окруженный баррикадами из крабовых и спаржевых консервов, снабжённый широким выбором алкоголя, он, как из крепости, дышит ужасными ядами на всё, что его окружает. Другие тоже, только у них меньше еды*»[249].

У Щепаньского были похожие проблемы. Он вошёл в историю как признанный моральный авторитет, неформальный лидер фракции диссидентов в Союзе польских писателей и его исторический предводитель во время самых важных поворотов в истории этой организации, которая как раз пришлась на карнавал

«Солидарности» (что он описал в книге «Срок полномочий»). Он упорно работал над репутацией в шестидесятых, постоянно оставаясь вне разделов и группировок – писатели из разных сфер и идейных формаций равно уважали его мнение, потому что он отличался редким для Польши нейтралитетом.

А он, похоже, стыдился этого нейтралитета. Ещё в 1957 году Лем пересказал ему мнение Блоньского о его творчестве. Блоньский сравнивал его с лицом, настолько лишённым особых примет, что с него даже не удастся сделать карикатуру. «Разумеется, речь не идёт о мнении Блоньского обо мне, только о том, что сам вижу его правоту, которую так старательно от себя скрывал. Не ввязываясь ни туда, ни сюда, лишённый страстей […], я сам от себя устаю и сам себе противен. А более того – слишком много о себе думаю», – написал он, а в следующем предложении добавил, что, собственно, получил французскую стипендию (что типично для этой четвёрки друзей: жалуются на профессиональные проблемы, несмотря на очевидные проявления успехов).

В последней записи от 1961 года Щепаньский на самом деле признавал, что это был удачный год. («Книга, сценарий, «Персидский залив. И между нами всё так же хорошо. Только этот уже осенний отблеск на всём…») Но первая запись от 1962 года звучит так:

> «*Алкогольная печаль. Были у нас вчера Лемы, Седлецкие, Проминские, Лозинские, Свидерские, Ханка Моравская, Тила Остервина, Бись Любенский, Регеры. Я напился, потом блевал в раковину на кухне, у меня заплетался язык. Сегодня весь день вижу в себе лишь пьяного кретина и пытаюсь наивно оправдать себя, что пишу книги, что умею то и сё, что кого-то из себя таки представляю. Но эти утешения звучат так, как будто касаются лишь внешних факторов, а важной вещью был случайный и ненужный ропот*».

У Сцибора-Рыльского были финансовые проблемы, он вынужден постоянно одалживать деньги у Лема. К тому же тогда разваливался его брак с Данутой Сцибор-Рыльской, во что Лемы были втянуты как друзья их обоих. Мрожеку он описал это грустными словами: «Сцибор-Рыльский бросил жену, живёт с 25-летней шлюхой в квартире атташе нашего парижского посольства, рассказывает, что это странный дом, кажется, что живут там только убэшники, но не на ставке, а с Раковецкой[250], так что у каждого есть своя «липовая» должность (архитекторы, инженеры, которые должны доносить, что происходит в их местах

работы)»[251]. В письмах к Сциборам-Рыльским он пишет более дипломатично. Поругавшиеся супруги пользовались общим почтовым ящиком, и никогда не знаешь, кто вытащит письмо из конверта.

На этом фоне чувство упадка, которое в шестидесятых годах было общим для Станислава Лема и Славомира Мрожека, кажется, по крайней мере, чем-то типичным для их среды. Однако до сих пор на первый взгляд это ускользает от современного понимания. При всём уважении к остальным друзьям, Лем и Мрожек в это время создают вещи вне времени. «Танго» и «Солярис» можно найти в каждой хрестоматии под названием «польская литература XX века», даже во времена Эла Брегга.

Оба гения высылают свои произведения – порой ещё на этапе машинописи – друзьям с просьбой дать рецензию. Но удивится тот, кто ожидал бы в этой ситуации комментарий в стиле «я наконец написал что-то, чем горжусь». Последней книгой, о которой Лем скажет нечто подобное, было «Магелланово облако». Более привычный тон звучит, например, в этом письме к Сцибору-Рыльскому:

> «*Краков, 20 майя 64*
> *Лешек, Давно Не виденный!*
> *[…]*
> *Вышла моя «Сумма технологии». И в связи с этим я обращаюсь к тебе в рамках нашей престарой дружбы, чтобы от сердца и из глубины души честно мне ответил, хочешь ли ты эту книгу, или она тебе незачем. Потому что оно такое кибернетическое и теоретическое и заумное, что если ты не планируешь читать и прорываться через тот ужасный текст, а только поставить на полке эту кирпичину на память, то зачем тебе это, а я и так не могу дать книгу всем, потому что авторских экземпляров мало и тираж (3000) небольшой и на весь Краков (на книжные магазины) оказывается аж вдруг 260 экземпляров. Так что прошу тебя высказаться с присущей тебе открытостью и непосредственностью, потому что если хочешь, я тут же тебе её пошлю, а если нет, то только в июне, когда они выйдут, я пришлю тебе «Сказки роботов».*
> *[…]*
> *В «Вартбурге» у меня полетела муфта свободного хода, но несмотря на это – ездится как-то. Сосед всё собирает «Октавию» из какой-то рухляди, а его жена вот-вот родит нового ребёнка. Бася красит окна в белый –*

*красивый цвет! – а в саду тюльпаны, яблони, абрикосы, черешни и сливы, аж приятно! И знаешь, даже прекрасен этот мир… только ужасно человеку в нём неудобно*!»

«Тот ужасный текст!» – так Лем пишет о своём философско-научном *opus magnum*, который до сегодня удивляет интеллектуальным размахом, точностью предсказаний будущего (то есть в том числе и наших времён) и оригинальным, литературным стилем, потому что «Сумма технологии» – это больше, чем научно-популярное эссе. Это типичный тон писем, которые Лем и Мрожек прикладывали к посылкам со своими самыми великими шедеврами – они почти извинялись перед друзьями, что посылают им свои эти несчастные книжицы и шедевриша.

Друзья наконец тоже не реагировали на эти посылки с энтузиазмом. Мрожек раскритиковал «Сумму…», обвиняя Лема в длинном письме[252], что тот забыл о естественном несовершенстве человеческого существа. Потому бессмысленно рассчитывать на самотворение, какое показано в «Сумме…» (или бетризацию, как в «Возвращении со звёзд»). Он писал:

«*У человека самые большие проблемы с самодисциплиной, с каким-то таким порядком в жизни, а ты хочешь, чтобы он наводил порядок в жизни других, когда ему кажется, что они обладают тем единственным недостатком, что являются другими, не такими, как он. Я боюсь, что когда их таких будет двое – я не говорю даже о 30 миллионах, то есть о целой нации, ни тем более о 3 миллиардах, – чтобы дисциплинировать друг друга, например, они будут подсыпать друг другу порошок, который им что-то такое в головах наделает, что они станут «добрыми». Закончится тогда всё мышьяком в худшем случае, а в лучшем – они просто вместе напьются*».

Лем был настолько же суровым рецензентом для Мрожека. В июле он получил его «Танго». Он вежливо похвалил начало, но весь роман, по его мнению, «к сожалению, как целостность не выгорел»[253]. Начинающий писатель после получения такой разгромной рецензии мог бы сдаться и навсегда забросить перо, тем более что это было мнение не только Лема – «Танго» они читали вместе со Щепаньским, который так описал его в дневнике (15 июля 1964 года):

«*Мрожек прислал Сташеку свою новую книгу –*

*«Танго» [здесь ошибка Щепаньского: книгу прислал Адам Тарн из редакции «Dialog», который опубликовал это произведение в номере 11/1964. – Прим. авт.]. Гораздо слабее, чем предыдущие. В ней есть бунт против «современного» отсутствия последовательности (в жизни), но М. не умеет выйти из этого драматургически, равно как и философски. В конце он вывел всё на психологию власти. Как-то всё это не слишком хорошо держится кучи».*

Точности ради, Щепаньский невысоко ценил и научно-фантастические книги Лема. В 1966 году он согласился поработать над киноадаптацией «Возвращения со звёзд» и по этому случаю решил всё-таки прочитать роман. 25 февраля, примерно через неделю после этого согласия, он записал в дневнике: «Читаю «Возвращение со звёзд» Лема, потому что мы вместе должны сделать из этого сценарий. Меня раздражает это и удручает. Все построено на психологической фальши».

Цитат о том, как эти двое писателей перебрасывались язвительными замечаниями на тему собственного творчества, я мог бы привести очень много, но более интересным мне кажется то, что адресаты в большинстве случаев с этим соглашались. Лем, к примеру, принимал суровое мнение Щепаньского о «Возвращении со звёзд». Он практически повторил его в «Фантастике и футурологии», а потом в интервью с Бересем (которое я цитировал в предыдущем разделе).

Похожая ситуация была и с Мрожеком. Критическое письмо Лема на тему недостатков «Танго» спровоцировало летом и осенью 1964 года обмен корреспонденцией, в которой оба писателя признавались, что чувствуют себя истощёнными и выгоревшими (несмотря на то, что об их тогдашнем творческом состоянии написал бы критик в первой половине XXI века). Мрожек своё психологическое состояние описывает как близкое к депрессии – а из-за того, что каждое письмо отправляет из места с прекрасным названием Кьявари, то он всё время извиняется перед другом за то, что «какие-то скорбные элегии поёт», хоть бывает в такой красоте, что «можно нырнуть с головой лишь в названия этих мест, саму их фонетику, словно тот скорбник, который в перерывах между скорбью в таких местах бывает, чтобы потом ему ещё лучше скорбелось», – и пишет: «наверное, это как-то связано с нашей профессией – глуповатой, неописанной, искусственно выделенной, скользкой и – не удивился бы – имеющей все шансы в один прекрасный день подвергнуться окончательной ликвидации – так неустойчиво её основание»[254]

(таким же пессимизмом веет и от дневников Мрожека).

Лем ответил на это таким же искренним и, возможно, самым интересным письмом из всей их корреспонденции. Он написал, что у него тоже есть чувство профессионального упадка, хотя он – как и Мрожек – отдаёт себе отчёт в том, что это трудно было бы объяснить кому-то постороннему, потому что до сих пор его литературная карьера выглядит как полоса сплошных успехов. Лем начинает с их перечисления: семнадцать книг общим тиражом в «два миллиона с гаком», которые невозможно нигде достать, потому что тиражи раскуплены[255].

Где здесь упадок? Самую большую славу и деньги Лему принесли книги, которые он сам не любит (например, «Астронавты», про которые он так и говорит). Лем, однако, больше всего гордится более поздними книгами, которые «нерецензированные». Это «Солярис», «Сумма технологии» и «Рукопись, найденная в ванне». Лем в этих книгах поднимает также важные психологические, социологические и цивилизационные вопросы, но никто не хочет об этом с ним дискутировать.

> «*Я не обрёл ни резких противников, ни энтузиастических поклонников, не начал никакого движения, не вызвал никакого обмена мнениями ни на какие темы. В этом смысле (а только он важен) со всеми своими миллионными тиражами я не существую! У меня популярность, как у довоенного Марчинского [звезда довоенного pulp-fiction, автор, к примеру, романа «Рабыни с Лонг-Айленда». – Прим. авт.] […]. Мне хотелось бы с Академией подискутировать, а меня приглашают на вечера молодёжи в экономические и железнодорожные техникумы. А что мне сказать этой молодёжи?*»

Для почитателей Лема этот монолог, без сомнений, ассоциируется с жалобами некоего Хлориана Теоретия Ляпостола, непризнанного гения, которого Клапауций встречает в «Сказке о трёх машинах-рассказчицах короля Гениалона» из «Киберианды» (которую Лем писал как раз в этот период). Как в письме Майклу Канделю признавался сам Лем, «Теоретий Ляпостол на 60 % я сам»[256].

Тот «мыслянт, из мыслянтов первый, онтологией занимающийся по призванию»[257], пишет произведения, которые «абсолютом дышат», но, к сожалению, не может с ними пробиться. В одной из своих фундаментальных книг Ляпостол излагает теорию апостериорных божеств, которую развитые цивилизации вынуждены дорабатывать в начале вселенной,

потому что из-за нехватки божеств вселенная создаётся кое-как («и впрямь, погляди-ка на этот Космос – ничего себе вид!!»). Произведение должно было называться «Боготрон, или Абсолютный Всёмогутор», но, к сожалению, из-за опечатки в печать вместо «м» пошла буква «н»[258].

> *«Я подумал, что, может быть, слишком мало изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писания, изучил по очереди знаменитейших, как то: Френезиуса Чётку, Бульфона Струнцеля, основателя школы струнцлистов, Турбулеона Кратафалка, Сферицця Логара и самого Лемюэля Лысого.*
>
> *[…] А там толкуют о разнице между пращою и пращуром, о дивном строении трона монаршего, о сладостных его подлокотниках и справедливых ножках, о шлифовке манер – да сочиняют пространные описания того и сего; причём никто себя отнюдь не хвалил, но так уж как-то оказывалось, что Струнцель нахваливал Чётку, а Чётка Струнцеля, и обоих осыпали хвалами логаристы. Росла также слава трёх братьев Вырвацких – причём Вырвандер тащил наверх Вырвация, Вырваций Вырвислава, а тот, своим чередом, Вырвандера. И когда я их изучал, что-то нашло на меня, и бросился я на эти труды, и принялся мять их, и рвать, и даже жевать… пока наконец рыданья не кончились, слёзы высохли, и тотчас же сел я писать сочинение «Об Эволюции Разума как Двухтактного Феномена».*

Как «Боготрон», так и «Эволюцию разума» можно считать автоироническими аналогами «Суммы технологии». Жалоба Ляпостола на единственную рецензию на «Боготрон» («Лишь какой-то бумагомарака по имени Дубомил написал в бульварном листке, что баламут Хлориашка бредит безбожной белибердой») напоминает, в конце концов, подобную жалобу из письма к Мрожеку. Лем жаловался ему, что его воспринимают ограниченно, как «баламута», а «Сумма…» получила только одну рецензию, и то едва на тридцать строк.

Это тот момент, в котором лемолог хочет сказать писателю: *veto*. Это всё просто-напросто неправда. Лем жаловался Мрожеку, что даже не получает писем от читателей, а ведь «Сумма технологии» дала начало его новой эпистолярной дружбе – на этот раз его собеседником оказался Владислав Капущинский (1898–1979) из варшавской Медицинской Академии, пионер медицинской физики в Польше – который весной 1964 года выразил согласие положить начало «лемологии» и назвал

младшего на поколение писателя Гением.

Когда несколько лет назад я писал лемологический лексикон («Что такое сепульки, или Всё о Леме»), то просмотрел все тогдашние рецензии в архивах Национальной библиотеки[259]. После прочтения разговора Лема с Бересем я тоже ожидал, что «Сумма…» окажется не воспринята или высмеяна, но ничего подобного! Рецензии писали самые выдающиеся «мыслянты», включительно с Лешеком Колаковским («*Twórczość*», 1964, № 11). Эти рецензии действительно порой бывали полемические. Колаковский назвал эту книгу «потрясающим эссе», но обвинил Лема в ошибке экстраполяции. Он сравнил Лема с мальчиком, который копал ямку в земле детской лопаткой и был убеждён, что докопал бы до Тихого океана, если бы папа купил ему новую лопатку, когда старая сломалась, имея два аргумента в поддержку своей гипотезы: глобус и то, что дно углубляется.

Группа академических философов организовала 18 декабря 1964 года дискуссию на тему книги Лема, в которой сам автор стал почётным участником. Честь принимающей стороны приняла на себя редакция ежеквартальника «*Studia Filozoficzne*», которая опубликовала обширную запись разговора (в № 2 и 3 в 1965 году). В дискуссии принимали участие академические науковеды: Юзеф Хурвиц, Вацлав Мейбаум, Хелена Эйльштейн (которая была поклонницей Лема-философа и Лема-фантаста), Анджей Беднарчик и Владислав Краевский.

В этой дискуссии Лем представил себя как «адепта кибернетики». Вацлав Мейбаум весьма убедительно критиковал чрезмерный оптимизм, с которым Лем воспринимал эту новую науку: по Мейбауму, если кибернетика на самом деле хочет свести все вопросы к «чёрным ящикам» и исследовать только вход и выход, не вникая в их суть, – это ничем не отличается от феноменологии, потому непонятно, в чём состоит её новаторство и какие она сможет решить проблемы, которые не были решены до неё. А если она неявно пытается решать вопросы «чёрных ящиков», то загоняет саму себя в философские противоречия.

Похожие обвинения Лем услышал также от Мрожека и, вероятно, от Блоньского, хотя их споры – поскольку велись не письменно – оставили только посредственное эхо: Лем тяжело переживал эти споры и рассказывал о них друзьям. Щепаньский время от времени делал какие-то записи и из этих записей получается, что Блоньский в споре с другом защищал что-то, что Лем представлял как «теологию» или даже «фанатизм».

Характерна запись от 26 октября 1964 года:

*«Вечером с Данусей у Сташеков. Сташек в*

*исключительном настроении развлекает нас рассказами о своих «теологических» полемиках с Блоньским. Показал мне огромное письмо Мрожека, в котором он защищал последнее искусство, наполненное метафизическим страхом пред ничтожностью человеческих начинаний. Мрожек потерял невинность – то детское упрямство и провинциальную суровость, которые делали из него настоящего изобретателя.*

*«Он становится всё более лукавым, слишком хорошо знает, как делается театр и как делается литература. Каким-то традиционным образом я тоже становлюсь слишком ремесленником. Сегодня прочёл в «Tygodnik [Powszechny]» списки людей (в основном немецких священников), приговорённых к смерти во время войны. Литература из шкуры вон лезет, чтобы показывать так называемые пограничные ситуации, раскрывать переживание внутренней правды. И чаще всего лжёт. Мы слишком слабы, чтобы сподобиться на эту искренность, которая уже не переводится в гонорары восторга, славы или денег, которой нужна только правда».*

Обратим внимание, что грусть Мрожека вдохновляет Щепаньского на размышления на тему поверхностности его собственных литературных произведений. Как я уже вспоминал, никто в этом кругу тогда не гордился собственными творениями.

Лем открыто признавал[260], что свои споры с Блоньским он представил в аллегорической форме в «Гласе Господа» в спорах главного героя-рассказчика Хогарта (точного ума) с Белойном (гуманитарием). Я допускаю, хотя у меня нет доказательств, что споры между Трурлем и Клапауцием в «Кибериаде» тоже были навеяны теми же ссорами.

Трурль и Клапауций живут в домиках в каком-то предместье роботов, как Лем и Блоньский, и в спорах они принимают те же роли – верящего в технику Трурля и побаивающегося её Клапауция. Темы их споров напоминали ссоры краковских писателей настолько, насколько нам они известны из косвенных рассказов: касались они таких вопросов, как, например, «откуда берётся зло?» или «может ли наука дать ответы на всё?».

Трурль и Клапауций постоянно вынуждены также строить заговоры против разных тиранов – таких как Жестокус, Свирепус или Мордон, – так же как Лем с Блоньским строили заговоры против Махейки, Голуя, цензоров и начальников. И в результате выигрывали благодаря своей мудрости и солидарности, также исторически выигрывали, в конечном счете, Мрожек, Лем,

Блоньский, Щепаньский и Сцибор-Рыльский.

Мне кажется, что именно это ежедневное сражение привело к тому, что польские писатели того периода не чувствовали того, что чувствуем мы, глядя на их творческое наследие и преклоняясь перед «Кибериадой» или «Танго». Они постоянно чувствовали унижение: несмотря на их талант и заслуги, они оставались никем для существовавшего тогда режима.

Хорошо эту ситуацию иллюстрирует история безнадёжных стычек Лема с краковским Клубом Международной Прессы и Книги: на протяжении шестидесятых и семидесятых он пытался договориться, чтобы они присылали ему западную прессу[261]. Сегодня директор подобной организации озолотил бы автора такого класса, как Лем, если бы тот согласился хотя бы на одну автограф-сессию. Однако в те времена, согласно тогдашней иерархии социальных зависимостей, партнёром в разговоре с директором книжного магазина мог быть, скажем, директор обувного магазина, но точно не какой-то там писатель.

Чтобы переводы могли выходить за границей, мало было заинтересовать тамошних издателей. Согласие должны были выдать разные чиновники – то в министерстве, то в *ZAiKS* (правила постоянно менялись). Выплата заграничного гонорара тоже требовала согласия *ZAiKS*, даже если Лем сам беспокоился о способе выплаты денег, как поездки в Прагу и Берлин (только деньги от западных издателей иногда удавалось получить без этого посредничества, но это тоже требовало личной поездки – отсюда визит Лема в Париж в 1965 году).

Бывали и проблемы посерьёзнее. Цензура действовала совершенно непредвиденным образом, потому каждый интеллектуал должен был считаться с тем, что усилия, связанные с написанием книги или статьи, окажутся бесполезными, потому что по какому-то абсурдному поводу текст будет задержан. Многочисленные примеры этому видны из дневника Щепаньского – например, когда во время визита Шарля де Голля в 1967 году председатель Государственного Совета Эдвард Охаб опозорился, читая с заиканиями текст своей речи с листочка, то самые разнообразные книги и фильмы были задержаны только за показ любой сцены, где кто-то читал текст с листка, потому что это воспринималось как аллюзия на Охаба.

В 1964 году польская интеллигенция подписала по инициативе Антония Слонимского и Яна Юзефа Липского так называемое «Письмо 34» в протест против беспредела цензуры. Всех их занесли в чёрный список, их творчество нельзя было ни издавать, ни рецензировать. А так этот вопрос обсуждался на встрече с краковскими писателями (из дневника Щепаньского,

запись от 30 апреля 1964 года):

> *«Сегодня в Союзе писателей открытое собрание партии при участии нек.[оего] товарища Кендзёрка – толстого, гадкого аппаратчика из Воевудского комитета, который «объяснял» нам культурную политику партии. Разумеется, постоянно всплывало дело Письма. Чувство превосходства, с которым чиновник говорит о писателях и учёных, на корню убивает любую возможность дискуссии. «Знаете, Пигонь – это старый человек, с ограниченной способностью понимания, Эстрайхер растрёпанный, Домбровская – наивна. Котт лечился за деньги правительства, а теперь ноет, Анджеевский пишет ниже всякого уровня», и так далее. «Цензура у нас самая лояльная в мире». «Ивашкевич написал в «Twórczość» весьма легально об отсутствии бумаги, а потом напечатал рассказ Рудницкого, на который жаль каждого листочка – и где логика?»*

Казалось бы, это не должно быть проблемой Лема… но Лема это тоже касалось. В январе 1961 года он узнал, что «Тринадцатое путешествие» Ийона Тихого, которое прошло цензуру в 1957 году, оказалось задержано. Ирония состояла в том, что рассказ был пародией оттепели. В этом рассказе Ийон Тихий попадает на планету, которую залили водой, думая, что жители благодаря этому смогут превратиться в идеальных существ – бальдуров и бадубинов. Но пока что они лишь страдали от ревматизма.

Тихий неосторожно спрашивает, видел ли кто-то где-то уже такого бадубина или когда наступит эта трансформация. В наказание его приговорили к двум годам свободного ваяния памятников Великого Водяного Рыбона. Однако в один прекрасный день власти объявили, что «всё, что делалось до сих пор, было недоразумением». Тихого направили переделывать памятники – отбивать плавники и приделывать ноги. «Повсюду говорили, что на днях привезут помпы для откачивания воды»[262]. Потом пришло следующее сообщение: «Дабы приклимить бадубины и спентвить бальдуры, на всей планете устанавливается исключительно подводное дыхание как в высшей степени рыбье […]. В ответ на единодушную просьбу граждан всемилостивейшим распоряжением Эрмезиния уровень воды подняли еще на полглубинника. […] Особы пониже ростом вскоре куда-то исчезли». Тихий снова отбивал ноги и приделывал плавники.

В начале шестидесятых эта аллюзия, видимо, была уже слишком заметна. Действительно, всё новые и новые фамилии

амбициозных писателей «куда-то исчезли» – Гласко, Котт, Колаковский, Слонимский, Важик, Ванькович (которому в 1964 году власти устроили криминальный процесс с абсурдными обвинениями). Лем и Мрожек, к счастью, не исчезли, но это не значит, что у них не было трудностей. Самые большие проблемы (кроме «Путешествия тринадцатого», которое в конце концов было напечатано в 1966 году, а также кроме «Рукописи, найденной в ванне») были у Лема с его футурологическими эссе, потому что в них не находилось места для изображения светлого коммунистического будущего. В случае Мрожека это было абсолютно случайно, например, 13 апреля 1962 года цензура задержала в краковском Старом Театре постановку трёх одноактных спектаклей («В открытом море», «Кароль», «Стриптиз») в режиссуре Лидии Замковой, чтобы 17 апреля отменить своё решение.

Сегодня часто говорится, что ПНР была «самым весёлым бараком в лагере». В середине шестидесятых писатели из нашей группы приятелей понимали это иначе. «Путешествие тринадцатое» вышло, к примеру, в СССР, ЧССР и в Венгрии. Лем не мог писать об этом открыто в письмах, особенно в корреспонденции с Мрожеком, потому что оба знали, что их письма читает не только конечный адресат (об этом Мрожек и Блоньский открыто писали в письмах, которыми обменивались между собой, когда оба оказались по другую сторону железного занавеса: Мрожек – в Италии, Блоньский – во Франции).

В корреспонденции с Врублевским Лем описал это, используя их любимый шифр для обсуждения неоднозначных вопросов на четырёх языках сразу:

> *«Krakyw, sobota (Wielka) 1964*
>
> *Mon Dear George, it was a pity, to lesen your dark Brief. As I am in the same mood, man könnte meinen, such Austauch of opinions has no sense. But the laws of psychology are not the laws of physics […]. Ich habe in meinem schönen Buch Dialogi uber die sinusoidalen Schwankungen des Lebens in unserem System geschrieben. Aber ich habe niemand gedacht, dass dieses Law of Mine so arbeitet, dass in den paralell laufenden Soz. Systemen zu lokalen Entartungen kommen kann […]. How very absurd this all. Now we are on the other side of the sinusoidal curve: while there is the new turn of the screw, in Suden z. B. sehen wir etwas ent-gegensetzliches. Und ich habe so zu sagen private Beweis dafur. Die prager Mlada Gwardia hat jetzt meinen Ijon Ti-chy herausgegeben […] und man hat dort in diesen Band auch solches eingesteckt, was bei uns seit dem 58.*

*Jahr nicht mer wiedergedruckt werden konnte (die 13. I. Tichy Reise). So haben auch die Sudlichen Slaven in Belgrad getan. Sie haben ebenfalls diese bei uns verbotene Erzählung veröf-fentlicht. So you can see from this fact alone, how very low is the stand of the freedom of expression there now. Ja, die Ungarn haben im Dezember 63. das selbe mit meinem Tichy gemacht. Sure, we are now the bloodiest, the darkest place in our progressing camp. The great yellow land ausgenom-men, but what it is a satisfaction?»*[263].

Расшифровывая:

*«Краков, суббота (Великая) 1964*

*Мой дорогой Ежи, мне было очень грустно читать твоё печальное письмо. Всё потому, что я сам нахожусь в том же настроении, можно считать, что такой обмен мнениями не имеет смысла. Но законы психологии – это не законы физики […]. В своей прекрасной книге «Диалоги» я писал о синусоидальном функционировании жизни в нашей системе. Но я не знал, что этот мой закон таким же образом действует и в соц. системах [ «соц.» здесь сокращение не только от социальный. – Прим. авт.], дело доходит до локальных нарушений […]. Какой же это абсурд! Мы сейчас по разные стороны синусоиды. Во время, когда у нас затягивают гайки, на юге происходит что-то обратное. У меня на это свои доказательства. Пражская «Mlada Gwardia»*[264] *как раз издала моего Ийона Тихого и в этот том включили также то, чего у нас (с 58 года начиная) переиздавать было нельзя (13-е путешествие Тихого). То же сделала Югославия в Белграде. Тоже издали этот запрещённый у нас рассказ. Видно, как у нас плохо со свободой слова. Да, Венгрия в декабре 63-го сделала то же самое с моим Тихим. Мы – самое кровавое, самое мрачное место во всём нашем прогрессивном лагере. За исключением большой жёлтой страны, но какая от этого радость?»*

В Польше «Путешествие тринадцатое» было издано в конце 1966 года в «*Wydawnictwo Literackie*» – у них были свои методы борьбы с цензурой, и они издавали те вещи Лема, которые не могли быть изданы больше нигде. Я писал об этом в контексте «Диалогов», но так же было и с «Рукописью, найденной в ванне» – так же будет и с «Маской», «Профессором А. Дондой» или «Воспитанием Цифруши».

В случае Лема дополнительным поводом для беспокойства

было постоянное ухудшение здоровья. К проблемам с аллергией, почками и суставами в 1961 году добавились также проблемы с сердцем. «У меня богатая гамма недомоганий, которая в совокупности приводит к разнообразным видам боли; ЭКГ ничего не показала, однако боли не проходят», – писал он в 1963 году Врублевскому[265]. Эти боли были куда хуже предыдущих, потому что не позволяли ему даже писать – из-за них Лем был вынужден раньше вернуться из лыжного отпуска в зимнем сезоне 1962/1963.

На здоровье он жаловался редко. Друзья знали о его сенной лихорадке, потому что это было трудно не заметить. Также они знали о приступах сезонного гриппа. О своём сердце Лем, однако, писал Врублевскому только в ответ на письмо, в котором тот описывал свои проблемы с сердцем. В шестидесятых (и позднее) у Лема не было и дня, чтобы у него не проявлялся какой-то недуг[266]. Также ему приходилось считаться с тем, что боль, которая с утра чувствовалась как лёгкое покалывание, к вечеру превращалась в парализующую пытку или даже коллапс сердца.

Вероятно, именно потому он отказывался от многих (весьма привлекательных) предложений поехать куда-то на стипендию или конференцию. Путешествовал только с женой – они снова посетили Югославию (1966), выбрались в Грецию (1963) и Францию (1965). Они охотно выезжали и в более широком кругу (со Щепаньскими) в горы.

Однако Лем не хотел никому объяснять, даже самым близким друзьям, почему его не интересуют предложения поездок, которые они по доброте душевной ему предлагали. Мрожеку, который приглашал его поучаствовать в *Harvard International Seminar*, он ответил так:

> «*Мой дорогой,*
> *спасибо за память и твоё упрямство, с каким заботишься о моей судьбе в общем, и в особенности о гарвардской её части. У меня, по правде говоря, уже мозоль в том месте, в котором я вынужден постоянно повторять «нет», и мне стыдно признаться, но ещё раз “нет”»*[267].

Исключением стала поездка в СССР. После первого раза Лем знал, что его всё время будут окружать доброжелательно настроенные люди, которые в случае чего ему помогут, посоветуют лекарства и отвезут в больницу. Кроме того, кто бы не хотел почувствовать себя рок-звездой в толпе фанатов? Особенно если эти фанаты – не какие-то случайные подростки, а космонавты и учёные (как Шкловский или Капица).

Одну из поездок (17 октября[268] –8 ноября 1965) он так описывал Врублевскому:

> *«Я вчера вернулся из Москвы. Был там три недели – Ленинград, Москва, Харьков, Дубна, то есть Международный Институт Ядерной Физики – меня там очень почитали. Я выступал на ТВ, по радио, меня снимали для кинохроники, я стал почётным студентом физмата МГУ, потом в Харькове я был гостем космонавтов, получил от них фото, сделанные в космосе, с разными похвальными надписями, их портреты, был у Капицы, у Шкловского дома, принимал в отеле группу физиков из ИФП [Институт физических проблем] в Москве, давал интервью (бесчисленное количество) прессе, получал странные подарки (монокристалл алюминия, прыгающая утка с мотыльком, гора книжек, сосуд Дьюара для жидкого гелия, но он разбился, китайская джонка из железного дерева, портрет Эйнштейна, какие-то ручки, бог знает что ещё). Меня поили коньяком, грузинским цинандали, сплошные банкеты, я на автографы списал «Паркер», ложился в кровать после полуночи, а с самого утра меня поднимали ТАССы и звонки. Я катался на реактивном самолёте, пузатом «Ан», которого там называют Беременной Саранчой, на машине, экспрессе «Красная Стрела», меня возил по ночной Москве на своей машине космонавт Егоров, я выступал со вторым, Феоктистовым, в библиотеке Горького. Третий, Титов, написал предисловие к моим «Избранным сочинениям» в одном томе, «Мосфильм» подписал со мной два договора на экранизацию моих произведений («Солярис» и «Непобедимый») и одну короткометражку («Испытание» с Пирксом), телевидение поставило моего «Верного робота», были дискуссии, моя лекция в Ленинградской Комиссии Связи науки с искусством об использовании кибернетических методов в литературоведении – и снова ещё черт знает что. Я получил библиографию моих произведений в СССР – у меня там 2,6 млн. тиражей книг, не считая газет и журналов, в которых перепечатывали разные вещи. Я привёз огромное количество – четверть чемодана – писем, вопросов, которые получал на встречах, в Харькове толпа, жаждавшая автографов, напирала на президиум так, что мы вместе со столом въехали в стену, добрые доктора спасли мне жизнь. В Москве так же, но чуть спокойнее. В частных квартирах тоже были*

*банкеты, когда знаменитые актёры Москвы представляли мне свою искусность, пели под мандолины, и души русские открывали передо мной всю свою непостижимую широту. Меня там так облизывали, что я едва двигаюсь сейчас. У меня были сотни разговоров и вообще я много всего интересного, даже необычного узнал, поскольку передо мной у них не было секретов.*

*Несмотря на это, у меня ничего в сознании не поменялось и вернулся я такой же, как уезжал»*[269].

Советский Союз тогда как раз входил в «обратную фазу синусоиды», на которую жаловался Лем в культуре ПНР. В 1964 году Брежнев сместил Хрущёва и начал закручивать гайки в культурной жизни. Лем, однако, увидел последние проблески оттепели, прежде всего в виде богатой культуры самиздата и андеграундной музыки, которую исполняли только на дружеских посиделках. Щепаньский 9 ноября 1965 года записывает, что Лем рассказывал ему о советской «научной и художественной среде, заражённой бессильным ферментом. По домам поют иронические баллады, по рукам ходят машинописи (в тысячах экземпляров!) книг, которых не пропустила цензура».

Больше всего Лему в душу запала «ироническая баллада» Юрия Визбора (1934–1984), андеграундного певца, который в Польше больше всего известен по роли Мартина Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Иногда авторство этой баллады ошибочно приписывали Владимиру Высоцкому.

Лем, скорее всего, не узнал полного её названия, которое звучит так: «Рассказ технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума стран Азии, Африки и Латинской Америки, которая состоялась 27 июля в кафе-мороженом «Звёздочка» в 17 часов 30 минут при искусственном освещении» (Яцек Качмарский написал позже собственную версию под названием «Встреча в порту», меняя всё, кроме концепции, на которой построена композиция). Лем так восторгался текстом песни, что, вероятно, выучил его на память – фонетическую запись (с небольшими изменениями) выслал Врублевскому[270]. Очевидно, он декламировал её и Щепаньскому, потому что немного других произведений, которые тогда слышал Лем, можно было назвать «иронической балладой». «Таких песен я привёз целый чемодан», – писал Врублевскому.

Высоцкий спел для Лема только две песни, так как из-за состояния здоровья ему вообще нельзя было петь. Это были «Банька по-белому» и «Охота на волков», прекрасно известная в Польше в переделке Качмарского. Репертуар и обстоятельства

этого мини-концерта известны из воспоминаний Александра Мирера, друга российской переводчицы Ариадны Громовой. Её небольшая московская квартира стала чем-то вроде генштаба операции «Лем».

Воспоминания Мирера цитируют (вместе с другими рассказами) Прашкевич и Борисов. Здесь интересно столкновение стереотипов. Лем писал Врублевскому об открытии «души русской со всей непостижимой широтой», потому что именно этого стереотипно ожидает поляк от русского, особенно за грузинским коньяком. Русские, в свою очередь, видят (по крайней мере, видели в шестидесятые годы) европейцев, то есть людей холодных, замкнутых в себе. Мирер был очень тронут тем, что Станислав Лем, хоть и поляк, на Высоцкого всё же отреагировал как русский. «Непроницаемый европеец пан Станислав Лем закрыл лицо руками и заплакал».

В нём видели европейца – то есть кого-то, с кем можно искренне говорить о политике и о сомнениях в светлом будущем коммунизма. «Интеллектуальная элита – весьма многочисленная – осознаёт, что марксистский эксперимент был сфальсифицирован, [но] нет силы, которая бы запустила процесс перемен, – писал он Врублевскому. – Давая мне свою работу, копию, о будущем науки, Капица начал вычёркивать какие-то слова из посвящения, спрашиваю его, что такое, а он, что это ему дописали […], главным образом им в России не хватает информации, они исключены из государственной философии, и часто проваливаются – знаю это из разговоров – в какую-то чёрную дешёвую мармеладовщину, в русскую ничтожность»[271].

Мармеладов, отрицательный герой «Преступления и наказания», дегенерат и алкоголик, который истратил все жизненные шансы просто из-за собственной никчёмности. В конце концов он вынудил собственную дочь, Соню, стать проституткой. Когда Раскольников (влюблённый в Соню) даёт ему пощечину, Мармеладов бормочет, что для него это не боль, а удовольствие, как будто просил ещё. Если русские рассчитывали на то, что «пан Станислав Лем» посоветует им, как отыскать силы, которые смогут спровоцировать изменения, то они разочаровались – Польша тогда тоже была в похмелье – настолько же глубоком, только совсем по другому поводу.

В том самом 1965 году начинается переписка Лема с Вольфгангом Тадевальдом (1936–2014), влиятельным западноевропейским издателем и переводчиком фантастики, который популяризировал в ФРГ Верна и Стэплдона. Тадевальда заинтересовали первые гэдээровские переводы Лема (особенно «Эдем», который вышел в ГДР впервые в 1960 году, а в ФРГ – в

1966-м). Характерно, что в ответ на первое письмо Тадевальда[272] Лем посоветовал ему обратить внимание на роман Стругацких «Трудно быть богом».

После всего что Лем натерпелся во Львове во время очередных оккупаций, можно было ожидать, что в нём останется какая-то нелюбовь к культурам обоих оккупантов. В моём поколении модно было саботировать уроки русского в школе. Мои ровесники любили делать вид, что абсолютно ничего не понимают по-русски (что невозможно). Лем тем временем среди своих любимых писателей называл Рильке (от которого взял странный стиль, каким написано «Магелланово облако»), Кафку (в письме к Канделю он лапидарно подытожил, что его “Рукопись, найденная в ванне” – это Кафка, пропущенный через Гомбровича»[273]), а также Достоевского (в ноябре 1974 года Щепаньский отметил в дневнике, что Лем «с ума сходил от Достоевского») и, конечно, Стругацких. Он, очевидно, умел хорошо отделять то, что делали немецкие и русские военные, от того, что создавали немецкие и русские писатели, хотя в то же время отдавал себе отчёт, что люди, которые во время войны убивали его близких, возможно, разделяли с ним (и со своими жертвами) литературные вкусы. Эта двойственность человеческой природы является частой темой его прозы и увлекает его самого. Щепаньский зафиксировал, например, такой разговор с Лемом в 1965 году:

> *«Мы сидели допоздна у Лемов, разговаривали. Говорили о Китае и немецких концлагерях, об апокалипсисе систем, которые так результативно продемонстрировали бренность личных ценностей человека. Результаты бессмысленных «медицинских экспериментов», которые производили в гитлеровских лагерях, были представлены на медицинском конгрессе (кажется, в Зальцбурге). В конгрессе приняли участие пятьдесят выдающихся немецких врачей – людей, воспитанных и сформированных ещё до гитлеровской эпохи, читающих, вероятно, Гёте, слушающих Моцарта, посещающих костёлы – людей, одним словом, цивилизованных. И никто тогда не высказал сомнения касательно природы и сути проведения этих экспериментов. Отвага баварского крестьянина, который отказался служить в армии, утверждая, что цели Германии преступны, и позволил себя истязать, простив позднее прокурора, потому что тот был в гневе, выглядит на этом фоне как акт мазохизма. Сташек,*

*оценивая вещи статистически, видит в этом «отступление от нормы». Более нормальным, к сожалению, оказался католический епископ, который в роли аргумента против канонизации избитого выдвинул обвинения «изменника Родины».*

*Я принимал участие в этом разговоре с чувством удручающей беспомощности»*[274].

Разумеется, Лем не был влюблён ни в русскую, ни в немецкую культуру без критического отношения. Это видно хотя бы из приведённого выше фрагмента о «мармеладовщине». Обе эти культуры пугали его склонностью понимать слепое послушание как благородство (что раскрывали в своём творчестве Кафка и Достоевский). В личном пространстве он терпеть не мог окружение немцев и австрийцев – письмо к Мрожеку с описанием долгого отпуска в Югославии – это в большинстве своём письмо о попытках избегать немецких туристов, что в 1965 году было уже невозможно (но к счастью, один из них повредил глушитель, въезжая на паром, отчего Лему «стало как-то приятно»).

Парадоксально на это накладывается факт, что, если к Лему обращался немец или русский по каким-то литературным или научным делам, он охотно отвечал (а ведь учёные и писатели тоже ездили в отпуск в Югославию!). Он не отказывался от приглашений в СССР и оба немецких государства, а аналогичные предложения из других стран отбрасывал. Часто он не отвечал на письма заинтересованных издательств – например, французское издание «Солярис» в издательстве «*Denoël*» вышло в 1966 году только благодаря стараниям Блоньского[275]. А это издание было важным потому, что на сегодня единственная книжная версия «Солярис» на английском вышла как перевод с французского.

Трудно сказать, как развивалась бы карьера Лема, если бы он не отказывался от «гарвардских», «оксфордских» или «сорбоннских» предложений (так он их обычно описывал в письмах). Может, там он бы обрёл всемирную популярность, а может, наоборот – это был бы тупик (польская культура знает примеры и первого, и второго). Но это снова-таки тема параллельных вселенных. Но в этой вселенной путём покорения мира для Лема стали Германия и СССР.

Популярность его книг в Советском Союзе давала ему своеобразный карт-бланш на разногласия с цензурой в Польше, которая никому другому, кто не был любимцем советских космонавтов, не пропустила бы ни «Футурологический конгресс», ни «Профессора А. Донду». Популярность в ФРГ стала популярностью во всём мире, потому что издатели со всего мира

следили за немецким издательским рынком.

Вездесущих немцев («разумеется, только из ФРГ») Лем замечал также в Греции, куда они с Барбарой полетели самолётом на последние две недели сентября в 1963 году. Он описал это путешествие Врублевскому в трёхстраничном опусе[276], который (как единственный!) похож на письмо из путешествий, которого можно ожидать от выдающегося писателя, где он осматривает достопримечательности – он наконец их замечает! (Ничего подобного не видно в письмах из Парижа, Праги или Вены.)

Мрожеку это же путешествие он описал лаконичнее[277] – посоветовал ему Грецию как туристическое направление («может, возвращаясь, загляни в Грецию, а?»), но его поразили обычаи – кажется, Лем тогда впервые собственными глазами наблюдает субкультуру хиппи, над которой потом будет столько насмехаться в «Футурологическом конгрессе»:

> «*Крит – это рай, в котором ошивается сброд не бреющихся ради моды сопляков из всей Европы, крупных парней и высоких блондинок, немок и шведок, которые даже не осознают актуального положения дел*».

В Париже его интересовали главным образом культурные обычаи. Он пишет Мрожеку:

> *«В Париже в предпоследний день сумасшедший Янек [Блоньский] затащил нас в Лидо, как будто там обязательно нужно увидеть нечто такое, и это Лидо поглотило собой все валютные запасы, нам даже не за что было потом купить традиционные фрукты в дорогу; само Лидо – это прекрасно работающая и совершенно неинтересная машина, с перьями полуприкрытой наготы для англо-американских туристов. Кроме цен, ничего сверхъестественного. Я тем временем прочитал привезённого Миллера, «Tropic of Cancer», Ясю [Щепаньскому] дал, чтобы он учился»*[278].

Ясь тем временем переживал – как всегда – очередные сомнения в своём творчестве. На этот раз такие глубокие, что ему расхотелось даже вести дневник (к счастью, несмотря на это, так и не прекратил), потому что так описал возвращение Лема из Парижа (с датой 25 мая 1965 года):

> *«Начиная с какого-то времени я не хочу делать эти заметки. Мне кажется, что никоим образом у меня не получится выразить ими правду. Всё, что происходит –*

*что вернулись Сташеки [Лемы], что был [Станислав] Ружевич, что мы ездили в воскресенье в Касинку, где цветут деревья и идёт дождь, – всё это кажется мне таким незначительным. Единственная важная вещь – это то, что чувство незначительности проникает также внутрь меня. Как будто я смотрю в свою жизнь как в чью-то – ненужную, одну из миллионов, давно прожитую. Я вижу людей как будто в минуты их духовного иссякания. И факт, что я понятия не имею, что это значит, является единственным глубоким переживанием этих похожих друг на друга дней».*

Книгу Миллера, которую Лем дал Щепаньскому, «чтобы он учился», тот прочитал весьма быстро, и, вероятно, ему она помогла, потому что в июне он писал:

*«Читаю Генри Миллера и нахожу в нём отвагу, которой мне так не хватает в творчестве. Я знаю, что если не смогу вывернуть сам себя наизнанку (пусть даже там внутри будет только пустота), все мои писательские усилия будут впустую. Хорошее воспитание может привить первый попавшийся умелец салонных плясок»*[279].

Сегодня разные версии того, что наши предки называли просто «хандрой», у нас каталогизированы по ящичкам и полочкам. Щепаньский в шестидесятые был после первого и перед вторым кругосветным путешествием, в дверях его квартиры сталкивались самые знаменитые писатели и сценаристы, вскоре он сыграет важную роль в польских демократических изменениях, но всё равно: всё, что он делает, кажется ему ненужным, маловажным и даже недостойным описаний в дневнике.

Сегодня у нас есть для этого «полочка», которая носит название «кризис среднего возраста». Согласно стереотипам от него страдают люди после сорока и он проявляется в постоянной разочарованности в былых успехах, которые любой другой считал бы поводом для зависти.

Стереотип также говорит, что традиционным мужским лекарством на это является покупка машины. Если так, то Щепаньскому и тут не повезло. Всё указывало на то, что в отличие от его друзей его меньше всего интересовали автомобили. В дневнике появляются упоминания о машинах, но «Сиренка», купленная в 1964 году, служила ему только для перемещения из пункта А в пункт Б – в дневнике больше внимания посвящено тому, что он делал в этих пунктах, чем

самой езде.

Мрожека, Сцибора-Рыльского и Блоньского автомобили интересуют куда больше. Из писем видно, что каждый из них охотно участвует в обсуждениях о том, кто «сколько жрёт бензина и за сколько набирает сотню». Они переписывались не только с Лемом, но и между собой (к примеру, Сцибор-Рыльский с Мрожеком, Мрожек с Блоньским). Лем часто появлялся в этих письмах.

Мнение о Леме, как о гении автомобильных дел, контрастирует с тем, что говорили в семье. Существовало даже «проклятие Лема»[280] – все машины, которые он покупал, уникально часто ломались. Судя по описаниям этих поломок (жертвами чаще всего становились двигатели и подвески), по крайней мере, частично причиной этому могла служить любовь Лема к кавалерийской езде по плохим дорогам. Михал Зых вспоминает, что в детстве часто слышал с заднего сиденья свою тётю, которая обращалась к дяде: «Сташек, медленнее! Сташек, слишком быстро едешь!»[281]. Однако это ещё не всё.

Машина, как известно, требует регулярной замены разных эксплуатационных частей, её нужно регулярно осматривать. В Польше даже богатый писатель, который купил на заказ самый дорогой «Вартбург» по каталогу, должен был рано или поздно поехать на СТО. И тут начинается ужас, который в Польше известен хотя бы из комедии Бареи «Брюнет вечерней порой». («Не знаю, не разбираюсь, не ориентируюсь, работы много».)

«На одном СТО меня выставили за двери. Во втором развалили аккумулятор – 395 злотых отстегнул какому-то частнику»[282], – писал Лем Мрожеку в 1962 году. Простые поломки мог сделать его сосед, пан Зависляк, но – как знает каждый водитель – приходит время, когда нужна запчасть, которую нельзя отремонтировать самому. Такую запчасть можно было достать только на СТО или в «Motozbyt», но вот именно: *достать*. Это не был вопрос денег, это был вопрос связей.

У Лема их не было. Кем были его друзья? Писатель, сценарист, драматург, редактор… Если бы хоть директор обувного магазина, то директор СТО с кем-то таким ещё мог бы захотеть войти в квазиобмен. А Лему нечего было им предложить, кроме денег, разумеется, но в ПНР это мало что давало.

Тогда до него дошло, какую ошибку он совершил, покупая машину версии делюкс. Не ломается ведь только то, чего нет, – чем дороже машина, тем больше потенциальных проблем. В 1962 году Лем продал свой люкс-«Вартбург» и купил стандартный. В январе 1963 года он советовал Мрожеку «что купить?», так как сам недавно просматривал рынок:

*«Шкода Октавия» обычная имеет 40 лошадок. Стоит около 95 (тыс.). Она неплохая, но ничего особенного. И сам знаешь, что она не особо. Не надо, что правда, делать смеси, но следить за уровнем масла, менять его каждые 1500 км, может – 2000, не помню. Более того, регулировать клапана […]. «Вартбург Стандарт» стоит тоже 95, 45 лошадей. Хороший обогрев. Улучшенная передняя подвеска (но всё равно жёсткая, как у «Шкоды»). Зато больше места в салоне, отдельные передние выдвижные сиденья, смазывание ниппелей каждые 2500 км […]. Я проехал на «P70» – 21 000, на первом «Вартбурге» – 36 000, на втором – 12 200, в сумме это почти 60 000, если бы мог купить что-то на Западе и мог бы выбирать, то выбрал бы хороший двухтактник с передним приводом (например, «DKW Auto Union»). Кроме всего прочего ещё важна, как мне кажется, простота обслуживания (никакого регулирования клапанов, беспокойства о смене масла, перегревании двигателя и вкладышей)»*[283].

Современных читателей, вероятно, удивляет увлечение Лема двухтактными двигателями, которые хоть и требовали более редкого обслуживания, но, в свою очередь, при каждой заправке для них нужно было собственноручно делать смесь из бензина и масла, а к тому же морочиться с муфтой свободного хода, которая регулярно ломалась у Лема. Лем ездил с испорченной[284], чем сокращал срок службы двигателя.

Интересно то, что, несмотря на все поломки, Лем постоянно считал «Вартбург» хорошей машиной и рекомендовал его всем, например Врублевскому[285] или Мрожеку, хоть в феврале 1963 года и писал следующее:

«*Что от этого нового «Вартбурга» останется до весны, я не знаю, он так, бедный, телепается по всем этим кочкам, и дня нет, чтоб не приходилось обращаться к Толкачу и Лопате. Кроме этого, ничего такого. Морозы прошли, зато снег идёт. Кажется, уже 140 лет в Крак. [ове] не было столько сн.[ега] (сейчас – 68 см). Ездить-то езжу, но без удовольствия. Уплаченные на РКО доллары ещё Вонгля не заполнили, так что я по нескольку раз на день бываю у разных Директоров и ругаюсь с ними – я же псих. Я уже написал длинное красивое письмо на немецком на фабрику «Вартбургов», что, мол, алюминиевые кабеля, что вынужден был заказать, что нужны медные, потому что машина не хотела трогаться, но рекламаций они не принимают, в связи с чем я написал, что вы, Liebe Herren,*

*Злодеи и Обманщики. И сразу мне как-то так приятнее на душе стало, как это написал, и сразу отправил экспрессом. В последнее время и несколько инвектив к п. Валатку, который стал новым начальничком нашего ТВ. Кроме того, разделяю внимательно мелкие ругательства, детальные жалобы и инвективы»*[286].

Уже в апреле 1964 года[287] Лем хотел избавиться от «Вартбурга», но не знал, чем его заменить. Он посетил краковский «Motozbyt» со Щепаньским[288], ничего из этого, однако, не вышло. «Сегодня ездили с Лемом в «Motozbyt», чтобы больше узнать про условия покупки машины. Мне кажется это каким-то скользким начинанием, и, собственно, я не сильно-то счастлив такому «повышению», – записал Щепаньский.

Однако в июле 1964 года появился шанс: Лем получил в РКО машину марки «Варшава»[289]. Его не интересовала эта машина, даже не ездил на ней. Хотел продать вместе с «Вартбургом» – рассчитывал, что получит тогда 185 тысяч, но интересующие его машины начинались с 230 тысяч. В феврале 1965 года Лем был в шаге от успеха. В «Motozbyt» ему сказали, что в Варшаве можно купить настоящую западную машину – выпущенный в Италии «Фиат 1800», последний экземпляр, настоящая удача.

*«Ах, это был сон наяву. Сначала мы с Барбарой поехали в столицу, 5-го, забирать и платить, но я не знал сколько, потому что никто толком не знал. На бумажечке ничего не было. Говорили что-то около 180 отн. штуках. Столько я и взял, потому что в июле 64-го обогатился, выиграв «Варшаву». На месте оказалось, что 190. Тогда так или сяк, получилось сделать 190. Фактура в «Motozbyt» – вслепую, потому что был только один, так что выбирать нечего, и из гаража Управления Совета Министров я забрал «Фиат». Был так просмолен, что цвет стал понятен только вчера, после отмывания молоками. Белый, ангельско-белый. Весь, сверху донизу. Однако было приключение! Дорога в Краков невесёлая: сплошной лёд, 19 градусов мороза, пустота и машина идёт, как лодка по морю. Неслышно урчит, роскошно ползёт, тёплый, элегантный – как вдруг у меня на панели начал мигать красным. Давление масла. За 7 км до Груйца упало до нуля, я вышел, воткнул такую палочку, мерку для масла, вытянул – NUL. Нет масла (Oliofiat VS 30 Multigrade). Катастрофа. А вокруг бело, пустота, в снегу изредка карабкаются деревенские, но*

*мало. Автобус до Груйца, и оттуда крестьянская Польша протягивает братскую руку помощи нам – прекрасно! Кооператив Автомобильных Ремонтов, молодые люди, полные идейности, уже в четыре вечера у нас в распоряжении был фургон марки «Варшава», чтобы притащить туда развалюху. Но! Фургон (миллион пройденных км) 1,5 км за Груйцем начал барахлить. Дорога – лёд, стекло, мороз вырос до 20 градусов. Могила. Так что мы с братьями-поляками дотолкали назад до груецкой базы. В пять часов мы вернулись в исходную точку. Но! Таксист, пан Марьян, человек благородный, недорогой. Отбуксировал «Фиат» до канала, и понимаем: всё снизу залито маслом, но почему – неизвестно. Так что пан Марьян от нас до Варшавы, там ночь полная грусти, утром в мастерскую пана Вальчака, таксист, механик, масло Shell из PKO, 5 литров, до Груйца, в Груйце одно движение рукой – недокрученный масляный фильтр, влили, закрутили и после небольшого отлива денег (в сумме 2,5 штук) – в Краков! Но! Идейная груецкая молодёжь не хотела взять ни гроша, не взяла – я послал им всем по экземпляру своих произведений.*

*Это, конечно, чтобы ты понимал, ужасное сокращение. Но в любом случае моя вера в простого груецкого человека просто расцвела!»*[290].

Итальянский сон о «Фиате» превратился в кошмар. Общее правило говорит, что последний экземпляр, который давно стоит и ждёт покупателя, это рискованная покупка, ведь он неспроста так стоит и ждёт. Уже при покупке Лем узнал, что нет второго комплекта ключей, нет также разных элементов дополнительного оборудования.

Лем выслал злостное письмо в «Motozbyt», которое было опубликовано в томе «Письма или сопротивление материи». Это ничего не дало. Последним шансом был Мрожек, который жил тогда в Италии. Лем просил его заказать у «Фиата» недостающие ключики и запчасти. «Чёрт бы побрал эту новую машину, под которую надо каждую минуту забираться на четвереньках и смотреть, ничего ли там не капает», – писал он уже в июле, когда не прошло и полугода с момента покупки новой машины[291].

Оказалось также, что плохо вставлено лобовое стекло и машина протекала. «Барбара обычно укрывает ноги клеенчатым плащом, а воду мы вычерпываем маленьким половником»[292]. Протекание, однако, имело и худшие последствия:

*«Разошёлся дерматин и какой-то войлок,*

*заглушающий звуки на полке перед коленями водителя и пассажира, позавчера выпало левое переднее стекло с направляющих салазок, уже дважды приходилось сдирать внутреннюю обивку с дверей, чтобы заглянуть в середину. Когда-то уже окна слишком плохо ходили, к чему привело отсутствие смазки в стеклоподъёмных механизмах; вместе с этим появилось и протекание сзади»*[293].

В декабре сломалось зажигание. Лем просил Мрожека купить, но потом отменил просьбу, так как сосед «из старой коробочки из-под крема для обуви, металлолома, шнурка и нейлоновой нитки» сделал заменитель. Весной 1966 года ослабилась распределительная шестерня. Лем, взбешённый всем этим, вступил в переписку с самим «Фиатом». Итальянцы признали вину и выслали за собственные деньги комплект необходимых запчастей для ремонта шестерни[294]. В 1966 году Лемы поехали на этой машине в Югославию, сделав на нём четыре с половиной тысячи километров, а между Любляной и Загребом им удалось разогнаться до ста сорока километров в час[295].

В 1967 году «Фиат» начал буквально рассыпаться. Не помогали даже запчасти, высылаемые Мрожеком. В марте 1968-го «Фиат» подвёл его в тот день, когда водитель больше всего в жизни зависит от исправности своей машины – в тот день Лем отвозил рожающую жену в роддом. Он ехал без сцепления, не имея возможности переключать передачи.

Как видно, в ПНР машина не была лекарством для хорошего настроения. Наоборот – скорее добавляла проблем. Сегодня люди, страдающие от кризиса среднего возраста, обращаются к средствам куда более сильным, но во времена ПНР это были простые, совершенно легальные методы. Лем испробовал на себе только раз, в 1964 году, – вероятно, этот опыт не слишком ему понравился, раз он не пытался его возобновлять.

Впервые он обнародовал этот факт в интервью Питеру Свирскому, опубликованному в 1992 году в книге *A Stanislaw Lem Reader*. Больше мы узнаём только из публикации дневников Яна Юзефа Щепаньского, который тоже принимал участие в этом предприятии.

Соседями Лема были Анджей и Ноэми Мадейские, он – знаменитый хирург, она – выдающийся доктор-психиатр. Ноэми проводила эксперименты с псилоцибином как терапевтическим препаратом. Лем и Щепаньский вызвались добровольцами. Щепаньский с бóльшим энтузиазмом, чем Лем, потому что Лема этот эпизод (произошедший 7 ноября 1964 года) не слишком занимал – он даже не похвалился этим в корреспонденции.

Что именно чувствовал Лем, неизвестно. Можно только предполагать, что нечто похожее на то, что почувствовал Щепаньский. Эксперимент, на который Щепаньский откровенно напросился, был проведён днём позже и был детально описан в дневнике (от 9 ноября 1964 года):

> *«Я получил укол (весьма болезненный) 9 мг около полшестого. Ассистировали Сташеки [Лемы] и Ноэми Мадейская, которая проводила эксперимент. Потом пришёл и Мадейский.*
>
> *Сначала я чувствовал лёгкую тошноту, головокружение и как бы алкогольную «весёлость» с незначительным нарушением чувства равновесия, которое не влияло на артикуляцию или координацию движений […]. Мне дали белый лист бумаги. Когда я долго всматривался в него, то начал замечать какой-то узор темноватого оттенка, который сперва я принял за водяные знаки. Постепенно я замечал, что они движутся – плавно, едва заметно, как движение жидкости под микроскопом. Это были биологические формы – какие-то неправильные, овальные растительные клетки, летучие, как дым, уложенные в бесформенные агломерации. Они были только на листочке. […] На диване напротив передо мной поставили портрет молодой девушки, выполненный пастелью. Светлое лицо на тёмном фоне. Он казался мне очень красивым, хотя пока что я не находил в нём ничего особенного. Меня спрашивали, что я вижу. По мере того как я пытался описать его, картина всё больше приковывала к себе моё внимание. Я видел, что она улыбается, как будто нарисованное лицо не могло сохранять серьёзное выражение под таким пристальным взглядом.*
>
> *Потом она начала прищуривать глаза – явно провоцируя меня. Потом шевелить носом, словно кролик, кривиться, как маленькая девочка, которая пытается кокетничать. Некоторые из этих мин были уродливые, некоторые даже «демонические», но все наполненные улыбкой, манящей, таинственной интенцией […]. Это состояние понемногу уходило. Мадейский сделал тест на рисунки (надо было запомнить показанные на мгновение рисунки). Я выполнил их быстро и безошибочно. Эксперимент признали завершённым, но портрет всё ещё манил, всё ещё улыбался. Меня спросили, который час. Мне казалось, что полночь. Было восемь. Когда мы*

*спустились вниз, на ужин, я вернулся за часами и не смог противостоять желанию посмотреть на картину. Потом, за ужином, около четырёх часов после укола, у меня был ещё один приступ смеха».*

Порой такие эксперименты меняют человека навсегда. Вспомним о «Битлз», которых более-менее в то же время без их ведома и согласия стоматолог Джорджа Харрисона угостил ЛСД, разведённым в кофе. Их музыка никогда уже не вернулась к простоте *She Loves You*. Лема это переживание, возможно, вдохновило на некоторые сцены (вероятно, психоделические фрагменты «Насморка» и «Футурологического конгресса»), но в его случае как раз трудно говорить о серьёзном переломе.

Золотую эпоху творчества Лем провёл, как ни парадоксально, в состоянии фрустрации, нереализованности и выгорания. Чётче всего тогдашнюю ситуацию описал, наверное, Блоньский в письме к Мрожеку от 1964 года. Он был одним из первых энтузиастов «Суммы технологии», которую назвал «очень толстой и неглупой книжкой», но вместе с тем добавлял следующее:

> *«Я представляю себе, как он, бедняга, нервничает, что его не превозносят до небес – чего он, безусловно, заслуживает. Но он слишком далеко смотрит, чтобы это могли понять люди, стоящие в очереди за маслом. Со временем его оценят и полюбят, я уверен»*[296].

Возможно, Блоньский таким образом пытался утешить друга. Безрезультатно, потому что какое утешение в том, чтобы понимать, что будущие поколения полюбят тебя, когда тебе это нужно сейчас? Вспомним сцену из «Кибериады», когда Клапауций, первооткрыватель Хлориана Теоретия Ляпостола, приходит к этому «мыслянту из мыслянтов», а в роли приветствия слышит: «Пришёл, наконец?! […] Теперь?! Так сгинь же, пропади, переломай себе руки, хребет и ноги. А чтобы тебя накоротко замкнуло! Чтоб тебя навеки заело, мержавчик!» Хлориан, разумеется, знал, что когда-то его гений будет открыт, но будущие поколения, которые это сделают, он ругал за то, что сделают это поздно.

Лем не был вынужден ждать так долго. «Сумма технологии» впервые вышла в 1964 году. А третье, расширенное издание – на десятую годовщину публикации первого – писалось с позиции автора, высоко оценённого современниками. Во вступлении к изданию прозвучало слово «футурология», которого в первой версии книги не было. И это ключ к проблеме: Лем написал футурологическую книгу прежде, чем вообще в обиход вошло

само это слово. Популярность оно получило лишь в семидесятых, а во второй половине шестидесятых говорили только о «науке о будущем» (*futures studies*).

В Польше об этом и вовсе не говорили, так что Лем здесь на самом деле был пионером. Писатель стал проблемой критиков и полемистов, потому что в 1964 году ещё никто не знал, с какой стороны нужно подходить к «Сумме…». Характерно, что упоминавшаяся здесь ранее дискуссия в редакции ежеквартальника «*Studia Filizoficzne*» была посвящена именно «Сумме…» как книге о кибернетике. Однако, хоть Лем в «Сумме…» действительно много об этом пишет, такой внимательный читатель, как Ежи Врублевский, четко диагностировал её как свидетельство того, что Лем утратил веру в кибернетику[297]. Многие полемические высказывания, в том числе авторства Кшиштофа Волицкого, который обвинял Лема в «киберкретинизме», шли, однако (ошибочно), в противоположном направлении.

Скорее всего, Лем сперва тоже не отдавал себе отчёт, о чём написал книгу. С самого начала это не планировалось как книга – основу «Суммы…» составляют фельетоны, изданные в последний год существования еженедельника «*Przegląd Kulturalny*», который был ликвидирован в 1963 году (объединён с не противоречащим властям варшавским журналом «*Kultura*»). Лем жаловался Врублевскому, что необходимость умещаться в формулу кратких фельетонов не позволяла ему с желаемой полнотой раскрывать темы[298].

Желание написать «Сумму…» появилось у Лема в 1961 году[299]. Сперва это должна была быть книга, популяризирующая кибернетику, что-то наподобие «Диалогов». Однако он тогда ещё ничего не писал – постоянно только читал. «Чтобы углубиться в природу БЫТИЯ, читаю, так сказать, С ДВУХ СТОРОН, то есть читаю и «*Cybernetiziana*», и «*DE ENCEPHALO HUMANO*» – всё, что могу достать из нейрофизиологической литературы», – писал он тогда Врублевскому.

В декабре того же года он представлял себе, что вернётся к форме диалогов Гиласа и Филонуса.

> *«Это что-то интересное, и похоже, я соблазнюсь на это. Проблем – масса. От новых американских работ по теории информации и использования её для решения проблем биологии получается какая-то изжога. Этот инструмент, как ни странно, не оказался таким сильным и универсальным. К этому присоединилась теория*

*игр»*[300].

В письмах с 1962 года видно, как выкристаллизовалась идея «Суммы технологии». Это уже не книга, которая должна популяризировать кибернетику и теорию информации. «Сумму…» на тот момент можно было описать как «путешествие к концу человеческого сознания»[301].

Однако похоже, что даже в процессе создания фельетонов Лем всё ещё не осознавал, что пишет книгу о вызовах будущего. Раздумывая над ними, Лем разным явлениям давал свои названия. То, что он называл фантоматикой, мы сегодня называем виртуальной реальностью. Сами диагнозы, однако, обычно правильные, если оценивать их с перспективы пятидесяти лет.

Если бы Лем был автором только этой одной книги, мы бы уже писали о нём как о гении. Вместе с тем в этот период он работал над произведением, которое сам годы спустя называл верхом своих возможностей, – «Кибериада».

В этом случае он не должен был ожидать признания друзей или «людей, стоящих в очереди за маслом», в «Кибериаду» влюблялись все, с момента первого прочтения, чем Лем, кажется, был очень удивлён, а может, только прикидывался, когда писал Капущинскому: «оказалось, что их [ «Сказки роботов», то есть наиболее известную часть «Кибериады»] больше всего любят те, кому остальная часть моего творчества не по вкусу […], это очень меня удивило. Человек абсолютно беззащитен и бессилен, когда речь идёт о судьбе «плодов его творчества»[302].

Щепаньский в марте 1964 года записал, что во время визита Станислава и Барбары Лемов в Касинке «Сташек читал два очень хороших рассказа»[303]. В записке не указаны названия, но, вероятно, речь идёт о «Сказках роботов», которые к тому моменту Лем уже закончил. «Красиво [Шимон] Кобылинский проиллюстрировал (был у нас в Клинах, я познакомился с ним, преинтереснейший парень), корректура должна быть к началу марта», – писал Лем Сцибору-Рыльскому в апреле 1964 года[304].

Загадка состоит также в том, когда Лем всё это написал. «Сказки роботов» и «Кибериада» – это удивительный результат его проблем со сном, которые заканчивались обычно тем, что около четырёх часов утра из его спальни слышался стук печатной машинки, которую с детства помнил Михал Зых.

Вероятно, во время, когда мозг Лема боролся с очень серьёзной условностью «Суммы…», а также с менее существенными вопросами – такими, как «чем заменить «Вартбург»?» и «откуда взять деньги на подключение дома к

городской канализации?» – он расслаблялся, обдумывая шуточные истории о средневековье роботов. Для «Сказок роботов» Лем выдумал оригинальный «старороботский» язык, который своему английскому переводчику Майклу Канделю описал как «Пасек, пропущенный через Сенкевича и высмеянный Гомбровичем», но это лишь начало:

> *«Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела*[305]:
>
> *А) Начало взято из «Тристана и Изольды».*
>
> *Б) Ширинчик является Теодорихом, спаренным с ширинкой – с той, которая в штанах.*
>
> *В) Из Остроготов я сделал Недоготов, потому что «недоготы» ассоциировались у меня с чем-то недоГОТовленным.*
>
> *Г) Девтоны – это прямо из физики – дейтроны и т. д.*
>
> *Д) Кембры – это итальянские или германские кимбры, истреблённые Марием; с латыни Cimber («i» перешло в «e», чтобы полонизироваться и приблизиться к CEBRO – «ведру»).*
>
> *Также есть «Kometa-Kobieta»; здесь главной является аллитерационная рифма, а никакой не смысл; также можно было бы сделать «planet Janet» […] cometary commentary about a weary cemetery»*[306].

Как справедливо замечал Лем в том же письме, если бы он должен был написать это аналитически, то ничего не написал бы. Это всё «само перемешалось в моей ужасной башке». Лемовское «средневековье роботов» в 1964 году было чем-то уникальным в мировой фантастике. Ближайшим западным аналогом была бы, возможно, «Дюна» Фрэнка Герберта, написанная в 1959–1963 годах и тоже соединяющая в себе средневековые легенды с *science fiction*, однако она была далека от лемовских лексических экспериментов.

«Я дальше пишу сказки роботов, возможности здесь неограниченные», – сообщал он Врублевскому осенью 1964 года[307]. В этом письме, скорее всего, речь идёт о «Кибериаде», первое издание которой вышло в середине следующего года с иллюстрациями Даниэля Мруза (но не теми, которые мы все знаем, – мастер Мруз был ими недоволен и нарисовал новые, уже для издания 1972 года, так что рисунки 1965 года публиковались лишь однажды, а рисунки 1972 года печатаются и по сей день).

То, что в «Сказках роботов» было литературным

изобретением, позволяющим описать якобы средневековым языком приключения разных киберпринцесс и электрыцарей, в «Кибериаде» было развито до философских сказок, достойных представителей традиций Вольтера и Колаковского. Трурль и Клапауций, два робота, специализирующиеся на конструировании других роботов, которые появились в «Сказках…», в «Кибериаде» являются главными героями.

Они позволяют Лему пересмотреть свои философские пристрастия, показав их на этот раз в традиции буффонады – здесь появляется философия науки (одна из машин Трурля по желанию Клапауция создала «Науку»): «*Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки, там и сям что-то громыхало, возникали страшные дымы грибообразной формы, вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова, составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы*»[308].

Клапауций не был доволен, потому что считал, что Наука – это что-то совсем другое, однако он не смог сказать что, прекрасные аллегории тоталитаризма («Я чудовище алгоритмическое, антидемократическое, со связью обратно-устрашающей и взором испепеляющим, есть у меня полиция, орнаментация, внешняя видимость и самоорганизация»)[309], размышления о природе зла, теории литературы и даже пародия на квантовую физику:

> *«Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не учёного, поскольку Высшая Школа Небытия тем, что существует, вообще не занимается; банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Цереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип – на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.*
>
> *В дракологии издавна известен парадокс, состоящий в том, что при гербаризации (действие, отвечающее в алгебре драконов умножению в обычной арифметике) двух*

*отрицательных драконов возникает преддракон в количестве около 0,6. По этой причине мир специалистов разделился на два лагеря: члены одного придерживались мнения, что речь идёт о доле дракона, если отсчитывать от головы; сторонники другого помещали точку отсчёта в хвост.*

*Огромной заслугой Трурля и Клапауция было выяснение ошибочности обеих упомянутых точек зрения»*[310].

Типичная схема сюжета рассказов из «Кибериады» выглядит так: Трурль как оптимист считает, что любую проблему можно решить технологически. Клапауций в этом сомневается, однако всегда позволяет другу втянуть его в приключения, из которых они оба выходят целыми только благодаря своей дружбе и солидарности. Так было хотя бы с драконами (в рассказе «Путешествие Третье, или Вероятностные драконы»):

*«Безусловно, весь этот круг вопросов оставался бы интересной, но чисто математической редкостью, если бы не прославленная конструкторская жилка Трурля, который решил исследовать задачу экспериментально. А поскольку речь шла о невероятных явлениях, Трурль изобрёл усилитель вероятности и испытал его сначала у себя дома, в погребе, а затем на специальном, основанном Академией Дракородном Полигоне, или Драколигоне. Лица, незнакомые с общей теорией невероятностей, и по сей день задают вопрос, почему, собственно, Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа или гнома, однако задают его по невежеству, ибо им неизвестно, что дракон попросту имеет большую вероятность, чем гном. Трурль, видимо, намеревался пойти в своих опытах с усилителем дальше, но уже первые эксперименты привели к тяжёлой контузии – виртуальный дракон лягнул конструктора. К счастью, Клапауций, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность, и дракон исчез. Вслед за Трурлем многие другие учёные повторяли эксперименты с дракотроном, но, поскольку им недоставало сноровки и хладнокровия, значительная часть драконьего помета, серьезно покалечив учёных, вырвалась на свободу. Только тогда обнаружилось, что эти отвратительные чудовища существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды или столы: дракон характеризуется в первую очередь своей вероятностью, как правило, достаточно большой, раз он уже возник.*

*Если устроить охоту на такого дракона, да ещё с облавой, то кольцо охотников с оружием, готовым к выстрелу, натыкается лишь на выжженную, смердящую особой вонью землю, поскольку дракон, когда ему приходится туго, ускользает из реального пространства в конфигурационное. Будучи скотиной нечистоплотной и необычайно тупой, дракон делает это, разумеется, руководствуясь инстинктом. Примитивные особы, не могущие понять, как сие происходит, петушась, домогаются увидеть это самое конфигурационное пространство, не ведая того, что электроны, существования коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от волн вероятности. Впрочем, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов, чем драконов, поскольку электроны, по меньшей мере, в одиночку не лягаются».*

Когда это читаешь, то трудно верить, что Лем тогда чувствовал себя творчески выгоревшим. Однако своё отсутствие вдохновения он тогда описывал Мрожеку так:

*«Мельница моя пока стоит, и лишь вручную, на переносных жерновах, я мелю немного ракетной муки, ведь вынужден издавать какие-то книги. Последняя вещь, которую эта мельница выдала, это должен быть такой сумасшедший сборник сказок, но не таких, как «Сказки роботов», которые (надеюсь) я тебе посылал, эта последняя вещь – сейчас в работе в издательстве»*[311].

В июне 1965 года, во время одного из типичных для шестидесятых марафонов писательства в Закопане, Лем написал автобиографический «Высокий Замок». Одним из первых читателей, а точнее, слушателей, был Ян Юзеф Щепаньский, которому Лем прочитал фрагмент сразу после возвращения из Закопане, в последний день июня. «Прекрасно! Лучше, чем его *science fiction*», – записал он. Комплиментами от Щепаньского (и своей жены) Лем хвалился в письме к Мрожеку, в котором назвал «Высокий Замок» «якобы воспоминаниями из детства»[312].

В том же письме появляется описание проекта, который Лем вскоре начнёт воплощать в жизнь как «апокрифы»:

*«Мне пришло в голову, что забавно было бы написать фиктивный дневник чтения одного фиктивного типа, в котором были бы представлены его впечатления от*

*прочтения романов, стихов, философских произведений, пьес – тоже, разумеется, фиктивных, благодаря чему можно было бы убить нескольких зайчат сразу: во-первых, я бы тогда освободился от надоевших подробных описаний («маркиза вышла из дому в пять»), во-вторых, я мог бы делать аллюзии на тексты, в которых фигурировали бы гиганты, которых я не мог бы назвать непосредственно и напрямую, в-третьих, я мог бы показать глубину многих планов, например, представляя реакцию критики – фиктивной, конечно, – на произведения – фиктивные, конечно, – в этом дневнике – тоже фиктивном, написанном моим персонажем – тоже фиктивным».*

В 1966 году не было традиционного марафона в Закопане. Лемы тогда поехали в большое путешествие по Югославии. В этом году не будет написано ни одного романа, но Лем не бездельничает – он пишет новые рассказы о Пирксе, Тихом, Трурле и Клапауции, пишет вместе со Щепаньским сценарии для фильмов (из которых ничего не получится), работает над произведением под рабочим названием «Кибернетика и литература», в котором хотел ответить на упрёки, выдвигаемые «Сумме технологии» (книга закончена в октябре 1967 года[313], выйдет как «Философия случая»).

В 1967 году он вернётся к форме романа и напишет тот, который мне лично исключительно близок, – «Глас Господа». Начал его весной, потому что на трудности в писательстве он жалуется в письмах Мрожеку в апреле и мае. «Я писал книгу, а потом оказалось, что я не смогу её дописать. Потому пока что я отложил её», – признаётся он в апреле[314]. В мае лучше не становится, но Лем шире описывает свою идею:

*«Писательство моё сорвалось, увязло – и я его отложил. Это должна была быть история в некотором смысле фантастическая, но в некотором – всё же реалистическая, первый контакт Земли с Космосом, перипетии, связанные с получением каких-то сообщений Оттуда, что сразу привело бы к огромным осложнениям стратегической, военной, политической природы и ещё каким-то другим; когда та сторона, которая владела тем шифром (идея такова, что никто не может его ни нормально прочитать, ни понять), начинает над ним корпеть в условиях абсолютной секретности, и эта секретность съедает всё – письма, учёных, людей, космос, произошли две вещи – во-первых, у меня не получилось разогреть материал так, чтобы он расплавился, чтобы*

*заинтересовал меня собой, чтобы серьёзно затянул меня, потому что я с самого начала прекрасно знал, чего хочу. Во-вторых, мне не хватало мелких американских реалий, потому что действие должно было происходить в США. Не из-за цензуры, но из-за того, что они в данный момент материально находятся в авангарде и могут больше сделать в области материальных действий. Если это расположить в Стлане, а хоть и под Парижем, то это бы не имело смысла. В России это бы потянуло за собой тривиальные дела, которые меня в этом контексте (но не вообще) не интересуют*[315].

29 мая Лем выехал в Закопане – «кажется, в ожидании чуда, так как все источники у меня иссякли – не фантазии, а какого-то желания, азарта, чувства необходимости высказать в писании»[316]. Блоньский писал Мрожеку так:

«*Сташек тоже грустнавый, ничего не может писать, мне кажется, что science fiction он уже высосал до конца. Ему нужно начать новую жизнь – как философу, быть может. У него бы получилось. Что за странный мозг: в трёх сферах – научной, литературной, философской – он уникально одарён. Если это совместить, было бы гениально. Но это именно такое сознание, которое не позволяет совмещать*»[317].

В 1967 году Лем, хоть и вернулся к прерванной традиции июньских писательских марафонов в Закопане, но на этот раз даже они не дали результата. В июне он закончил первую версию «Гласа Господа», но был так ею недоволен, что осенью уничтожил её и написал всё заново[318]. Окончательную версию он отправил в издательство «*Czytelnik*» 10 января 1968 года[319].

Поскольку он её уничтожил, то неизвестно, чем первичная версия отличалась от окончательной, однако у меня есть некоторая гипотеза. В следующих письмах появляется идея, которой в описаниях с 1967 года ещё не было. Речь идёт о том, чтобы в личности выдуманных учёных, работающих над передачей из космоса, зашифровать реальных людей – самого Лема (как рассказчика, математика и физика Хогарта, человека «старого, сухого, язвительного, философствующего, неприятного, хмурого и рафинированного»[320]), а также Блоньского, Щепаньского и Януша Вильгельма, исключительно зловредного человека, который горячо занимался успокоением польской культуры с подачи натолинцев, которых тогда называли мочаровцами – от их вождя, всемогущего министра внутренних

дел).

В совете проекта заседали шестеро человек. Питер Хогарт, Вильгельм Ини, Саул Раппопорт, Айвор Белойн, Дональд Протеро и Тайхемер Дилл. Хогарт – это Лем, Белойн – это Блоньский, Протеро – это Щепаньский, а Раппопорт – это тоже Лем, только если речь идёт об опыте геноцида. Лем рассказал это Мрожеку в 1969 году[321]. Не знаю, кем является Тайхемер Дилл – имя и фамилия такие странные, что под ними может скрываться какой-то шифр.

Так Лем (устами Хогарта) характеризует своих друзей:

Белойн/Блоньский…

> *«усвоил манеру, которую я бы назвал обращённой на себя самого иронией. Он всё произносил как бы в кавычках, с подчёркнутой искусственностью и претенциозностью (которую еще усиливала манера его речи), словно играл – поочерёдно или одновременно – сочиняемые им для данного случая роли, и этим сбивал с толку каждого, кто не знал его хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда говорит серьёзно, а когда потешается над собеседником.*
>
> *Эти иронические кавычки наконец стали его натурой; в них он мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог и над самим собой издеваться без удержу, и этот трюк – не слишком хитрый, зато отработанный безупречно – обеспечивал ему редкостную неуязвимость. Из шуток, из автоиронии он воздвиг вокруг себя такие системы невидимых укреплений, что даже те, кто знал его многие годы (и я в том числе), не умели предвидеть его реакции; думаю, он специально об этом заботился, и все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией, делалось им не без тайного умысла.*
>
> *Подружились мы вот как. Белойн вначале меня игнорировал, а потом стал мне завидовать; то и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманитарию, математика ни к чему, и, будучи натурой возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт, столкнулся с модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он очутился на моей территории и, понимая, что здесь я сильнее, сумел это выразить так ловко, что, по существу, высмеял и меня, и математику».*

В свою очередь, Протеро/Щепаньский…

> *«выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Воплощённая усреднённость: обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжёлый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, ненапускное спокойствие, никакой подчёркнутой жестикуляции – только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при всём том – первоклассный ум.*
>
> *[…]*
>
> *В детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, прежде всего учёные, а самые святые среди них – университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений.*
>
> *Но Дональда я знал уже двадцать лет, и, что поделаешь, он вправду был тем идеальным учёным, в которого ныне готовы верить лишь самые старомодные и восторженные особы. Белойн, тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник, однажды настойчиво упрашивал Протеро, чтобы тот согласился хоть отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство – это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протеро лишь усмехался, попыхивая трубкой».*

Кроме приятелей, он описал ещё и врагов. Вильгельм Ини – неслучайное имя. Мечислав Раковский записал в дневниках с отвращением, что Гомулка упрямо перекручивал фамилию Вильгельма и называл его «товарищем Вильгельминым». Тот прекрасно знал, перед кем надо ползать, чтобы остальных топить, потому никогда не осмелился исправлять первого секретаря.

Лем описал Вильгельма Ини так:

> *«Единственным человеком не из круга учёных в Научном Совете был доктор (но доктор юриспруденции) Вильгельм Ини – самый элегантный из сотрудников Проекта. […] Ини прекрасно понимал, что исследователи, особенно молодёжь, стараются его разыграть: передают из рук в руки какие-то листки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу – делая вид, что не заметили его, – в ужасающе радикальных взглядах.*
>
> *Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и*

*великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный, со спичку, микрофончик, извлечённый из-под розетки в жилой комнате. Меня все это ничуть не смешило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно.*

*Ини представлял весьма реальную силу; так что ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не делали его симпатичнее. Он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми потчуют его окружающие, вызваны желанием отыграться: кто как не он был молчаливо улыбающимся spiritus movens [движущий дух (лат.)] Проекта, или, скорее, его начальством в элегантных перчатках? Он казался дипломатом среди туземцев, которые хотели бы выместить на столь заметной персоне своё бессилие; распалившись больше обычного, они могут даже что-то порвать или разбить, но дипломат спокойно терпит подобные демонстрации, ведь для того он сюда и прислан; он знает, что, даже если ему и досталось, затронут не сам он, а сила, которая за ним стоит. […]*

*Тех, кто представляет не себя […], таких людей я искренне не терплю и не способен перерабатывать свою антипатию в её шутливые или язвительные эквиваленты. Поэтому Ини с самого начала обходил меня стороной, как злую собаку […]. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же».*

Все эти моменты – это аллегорический портрет польских писателей накануне большой чистки марта 1968 года. Это я понял уже намного, намного позже, чем впервые прочёл, и был в восторге от «Гласа Господа». Я полюбил его ещё молодым человеком, потому что сама история открытия сообщения из космоса (это открытие было сделано случайно, передача состоялась с помощью нейтрино, которые мы до сих пор не можем свободно регистрировать, как в этом романе. Так что кто знает – может, когда научимся, то мы тоже что-то откроем…) это лучший портрет науки в прозе Станислава Лема. Однако этого уже тогда было мало, чтобы Лем сам заинтересовался своей идеей. В 1968 году его смертельно утомила научная фантастика.

Когда в январе 1968 года он отправлял машинопись в редакцию «*Czytelnik*», то ещё не знал, какие неожиданности его ожидают в этом году, хотя уже были слышны отзвуки приближающейся бури. Шестидневная война летом 1967 года привела к тому, что подкожный антисемитизм начал проявляться

в дискурсе, пока что замаскированный как осуждение израильской агрессии. «Ты уже слышал, что карп по-еврейски должен сейчас называться агрессор в желе?» – написал Лем Врублевскому в октябре 1967 года[322].

Переплетение личных и публичных, больших и маленьких дел странным образом появляется в письме в марте 1968 года, которым я закончу этот раздел.

> *«Дорогая Нана,*
>
> *сообщаю, что родился ребёнок мужского пола, очень маленький и худенький, и что Бася после 6 дней в больнице вернулась домой, и теперь его откармливает. Он родился в 4 утра и сначала был очень слабый, не мог, то есть ещё не умел доказать своё происхождение от млекопитающих, но уже умеет.*
>
> *Разумеется, весь дом выглядит так, как ты можешь себе вообразить. К тому же огромное беспокойство царило в Кракове собственно в среду, и именно в среду начались роды. Из-за строгого распорядка ни Баси, ни ребёнка я не видел, пока они не вышли из клиники, что произошло позавчера. Сегодня мне надо прописать этого ребёнка в городском управлении.*
>
> *Между тем два дня до выступления Гомулки [о «сионистской V колонне». – Прим. авт.], мы в Союзе писателей составили что-то вроде письма к властям, то есть к премьеру, а позавчера Голуй должен был его передать на заседании Совета Союза писателей в Варшаве, но что из этого вышло – пока что не знаем. В этом письме мы представили нашу точку зрения и постулаты начала диалога с властями, поскольку есть Важные Проблемы, которые надо решить. В конце концов, сколько об этом говорить.*
>
> *Наш сосед сделал фильтр для вашего «Фиата», я заплатил за этот фильтр и должен его вам выслать, чего пока что не делаю, поскольку надо ещё найти маленькую хорошую коробочку, потому не удивляйся, если получите письмо-посылку […]. На этом заканчиваю, потому что уже семь утра, а мне ещё миллион вещей сделать надо – Бася не может выходить из дому, потому я за всем бегаю. Обнимаю и передаю поклоны от Баси, привет вам обоим!»*[323]

# VIII
# Насморк

Счастье приходит к нам самыми разными путями. В шестидесятых годах Станислав Лем, казалось бы, имел всё. Дом, машина, деньги, слава, награды, путешествия, красивая и любящая жена – чего ещё желать? Однако из писем или записок Блоньского и Щепаньского просматривается образ человека разочарованного, нереализованного, измученного если не депрессией, то выгоранием.

Частично это происходило по объективным причинам. ПНР умела каждому указать на его место – показать писателю, что его, безусловно, могут переводить на разные языки, но это не имеет никакого значения для чиновника в министерстве или директора магазина. Владение домом или машиной было для того строя как роскошью, так и мукой – в одном из писем Лем жалуется Сцибору-Рыльскому, что если бы люди знали, сколько с этим проблем, то не завидовали бы ни его «Фиату», который постоянно ломался, ни дому, с которым каждый день были какие-то проблемы.

Заграничные путешествия не были так беззаботны, как сегодня. Сначала нужно было уладить много формальностей, потом Лем вынужден был ехать в Варшаву, чтобы забрать заграничный паспорт, бегать по посольствам и оформлять визы, а в конце вернуть паспорт в милицейский депозит (нельзя было заграничный паспорт держать дома в ящике стола).

В шестидесятых у Лема постоянно ухудшалось здоровье, в середине шестидесятых он начал жаловаться друзьям, что у него уже нет сил писать, а писать нужно, потому что зарабатывать по-другому он не умеет.

Все эти проблемы в семидесятых никуда не исчезли. ПНР при Гереке не была лучше, чем при Гомулке, писать ему не хотелось ещё больше, со здоровьем было ещё хуже. Однако я замечаю новый тон в его письмах этого периода – и я не вижу другого объяснения, чем появление на свет Томаша Лема.

Томаш – частый герой этих писем. Неважно, отвечает ли Лем другу на просьбу одолжить денег, или объясняет переводчику какую-то лингвистическую загадку в своих произведениях – в письме обязательно должно появиться какое-то упоминание о Томаше. Звучит это, например, так:

*«Ребёнок развивается. На своём Го-Карте, привезённом из В.[осточного] Берлина, к которому я приделал фары, ездит с невероятной грацией по дому и саду, время от времени переезжая разных людей, чаще всего – бабушку, у которой ввиду возраста замедленный рефлекс, у неё синие побитые ноги. Я хочу купить бампер, но резиновых нет, а металлический, боюсь, не решит эту проблему»*[324].

Или:

*«Мы хотели на пару дней отправить Барбару с ребёнком в Зарабье, но как раз выбрали такую погоду, что еле сами вернулись живые, а на трассе до Закопане машин в кюветах лежало больше, чем груш летом, пескоразбрызгивателей и след простыл, снегоочиститель мы встретили только один, и то на обратном пути. Под Могилянами выигрывал тот, у кого в машине была молодая сильная семья, потому что когда пятеро человек брались вместе и выталкивали машину, то на эту стеклянную горку ещё можно было как-то выехать. Так что в итоге мы сидим дома все школьные каникулы. А Томек – засранец! – уже играет Бетховена на фортепиано. Ты ничего не пишешь про тушку, поэтому я понимаю, что тушка твоя не худшим образом себя чувствует, а что касается моей – то с перерывами худею»*[325].

Или:

*«Моя жена не работает на рентгене и получила «инвалидскую ренту» – не то чтобы она как-то болела, но была очень вялая какая-то и даже похудела, что плохо обо мне свидетельствует, если верить русской пословице: «У заботливого мужа жена век не тужит». Томек зато поправился, и хоть часто простуженный ходит, зато учится неплохо и теперь даже получил лыжи в подарок, а точнее – получит их СЕГОДНЯ. Очень красивые – сапоги и крепление – верх техники, странно это нечто выглядит, ничего такого раньше и на свете не было, когда мы с женой из года в год съезжали с Каспрового»*[326].

Или:

*«С сыном моим, Томашем, строим металлического*

*робота, на электроприводе, На самом деле Ходит, но пока что всё ещё Переворачивается, Ноги у него заплетаются»*[327].

Или:

*«У Томека собственное автомобильное кресло, американское, белое, обитое, из пены, с поручнями, с ремнём безопасности – он безумно его любит. Он удивительно любит ездить на машине и «авто» – было его первым словом. Ох эта современная молодёжь!»*[328].

Или:

*«Нет ничего более идиотского и графоманского, чем книжечки для детей, которые издаются у нас. Я планирую сам написать Томчику то, что ему необходимо, пока что я только начал: «Маленький компьютер заболел и лежал в кроватке, пришёл к нему пан робот, постукал по веку и в глазки магические, зелёные посмотрел и гаечки открутил, отложил в сторону и сунул длинную отвёртку в механизм – что у тебя болит, мой ты компьюторчик?»*[329].

Или:

*«Я разрываюсь между печатной машинкой и великими проектами моего сына, потому что его охватила страсть к конструированию, а точнее, к созданию разных изобретений – мы строим, когда только у меня есть время, интересные приборы, сейчас вот начинаем электрический мотор на бобине с железным стержнем. Внешне это похоже на старую паровую машину Уатта с балансиром. У Томаша есть самые разнообразные вещи (машина Вимшурста, паровая машина), но сейчас он пренебрегает всем, к чему не приложил руку сам, и мне нужно сильно напрягаться, чтобы его не разочаровать – например, я поднаторел в ПАЙКЕ»*[330].

Или:

*«Я дал Томеку слово, что мы будем после обеда поджигать дом, и должен сейчас заняться этой работой, потому что он уже скачет на пороге с ватой, тряпкой и спичками, только ты не тревожься сильно и не радуйся – не наш дом будем поджигать, а маленький, вырезанный из*

*бристольской бумаги, а тушить его будет специальная воздушная Бригада Пожарных, привезённая нами в мае из Зап. Берлина, с настоящей водной пушкой и Электрическим двутоновым сигналом, так что нужно идти на этот пожар, иначе ребёнок на самом деле подожжёт мне халупу»*[331].

Из книги Томаша Лема «Приключения в поле всемирного тяготения» на первый взгляд мы видим противоположный образ детства. Тот, кто знаком с этой книгой, тот знает, что в этом так называемом го-карте (это была на самом деле обычная машинка с педальками, купленная в «*KDW*» за сорок девять марок)[332] двухлетний Томек только сидел, не умея сдвинуться с места и не проявляя «и следа заинтересованности в таком обучении», на что отец выдал грустный комментарий: «ничего из него не выйдет».

Может, он и играл Бетховена, но отец этого не слышал, поскольку Томаш «играл» на фортепианной клавиатуре, нарисованной на бумаге, чтобы не мешать отцу в работе. «Прежде чем научиться ходить, я должен был научиться ходить тихо», – сказал он в интервью во время премьеры книги[333].

Владислав Капущинский, вероятно, как минимум улыбался на случайную комичность в письме Лема, описывающую изготовление «электродвигателя с балансиром по проекту Джеймса Уатта» как авторский проект семилетнего ребёнка. «Уже на начальной фазе изготовления этого двигателя отец, занятый конструкторской творческой работой, полностью забывал о моём присутствии», – пишет Томаш Лем.

С образом отца, который читает двухлетнему ребёнку на ночь стихи собственного сочинения, контрастирует замечание Томаша, что в трёхлетнем возрасте, когда он наконец научился говорить, то использовал женские грамматические окончания глаголов («была, сделала»), потому что так говорили те два человека, с которыми он проводил бóльшую часть времени, – мама и бабушка. Все эти противоречия, как мне кажется, показные.

Я думаю, что у Станислава Лема просто не было хороших образцов отцовства. Из «Высокого Замка» виден образ детства – удобного, потому что одинокого. Когда Станислав Лем появился на свет, Самюэлю Лему было сорок два года. Это много, как для первого ребёнка. Когда на свет появился Томаш Лем, Станиславу Лему было ещё больше – сорок семь. В таком позднем отцовстве легко допустить ошибку, которую и допустили оба Лема – Самюэль и Станислав – ошибку воспринимать ребёнка как «маленького взрослого».

Нельзя требовать от двухлетнего то, что можно от

десятилетнего. И наоборот, нельзя девятилетнего трактовать как трёхлетнего. Нужно ребёнку давать задания, подобранные для его возраста. Станислав Лем понял это с опозданием, но наконец открыл это, о чём свидетельствуют воспоминания Томаша, демонстрирующие огромное желание отца, чтобы так или иначе угодить своему первенцу.

Трёхлетним ребёнком (то есть в том возрасте, когда он использовал женские окончания глаголов) Томаш любил проводить со Станиславом Лемом рекурсивные разговоры, например:

– Что делает папа?
– Папа сидит на лестнице и обувается.
– А Томашек?
– Томашек сидит возле папы и спрашивает, что папа делает.
– А папа?
– А папа отвечает, что обувается.
– А Томашек?

Согласно Томашу, Станислав Лем вёл эти разговоры с «безграничным терпением». С шестилетним сыном писатель конструировал ловушку («весьма сильный» удар индукционным током) для случайных жертв, которые неудачно прикоснутся к серебряной сахарнице в гостиной. В ловушку попала, в конце концов, сестра Барбары Лем, мать Михала Зыха. Томаш, очевидно, почувствовал дрожь эмоций, которую даже не пытается скрывать в своих мемуарах, хотя эту конструкцию Станислав Лем построил для собственного удовольствия, как и машину с балансиром.

> *«Перед лицом ужасного мира я могу глазами ребёнка чувствовать себя виноватым – но согласно царящей доктрине воспитания, даже если бы я хотел, то не смог бы быть отцом в стиле Кафки, безусловным повелителем Правды, Распорядителем жизненных Путей. В той формации такие отцы были уверены в своих знаниях, и их власть, весь их патернализм были результатом убеждения, что они Знают Лучше, что должны делать их дети. Но мир «Замка» и мир «Процесса» – это не мир Исправительной колонии [в которой мы живём]»*[334].

Так писал Лем Майклу Канделю в июле 1972 года, а месяцем позже добавил:

> *«Я очень долго не мог решиться на ребёнка, и мы*

*вместе с женой, как люди, привыкшие думать и пережившие немецкую оккупацию, сильно сопротивлялись этому, потому что мир кажется кошмарным местом для людей, особенно когда у кого-то было именно такое прошлое, как у нас. Ну что ж – есть время умирать, и есть время жить»*[335].

Комментируя эти слова в своей книге, Томаш Лем предполагает, что окончательное решение по поводу его появления на свет приняла мама («не знаю, к каким аргументам она прибегла, чтобы разрушить принципиальное сопротивление отца, однако у неё должна была быть огромная способность к убеждению»). Также он добавляет, что своим рождением изменил историю – если бы не он, Лем бы уехал из страны, по примеру Славомира Мрожека и Лешека Колаковского. Из писем видно, что со вторым он продолжал полемику на тему «Суммы технологии», но изгнание Колаковского и вписание его фамилии в списки цензуры лишали его этой возможности. Лем оказался в ситуации Хлориана Теоретия Ляпостола, которому запретили даже полемизировать со Срунцелем и Чёткой.

В 1941 году Лем увидел, как быстро антисемитские предубеждения могут из недоброжелательных косых взглядов превратиться в погромы по полной программе. Краковский погром 1945 года был первым, что Лемы увидели, выйдя из поезда. Кто-то, у кого за спиной такие воспоминания, имел достаточно причин, чтобы уехать из Польши, когда в марте 1968 года прозвучали первые антисемитские речи от руководства страны.

Однако что-то задержало Лема. Что? Снова: я не вижу другой причины, чем рождение Томаша.

Уж точно причиной не могло быть отсутствие заинтересованности Лемом на Западе. С середины шестидесятых Лем укреплял свои позиции на тамошнем издательском рынке. В 1968 году они были достаточно сильные, чтобы эмигрировать куда угодно. Об этом свидетельствует хотя бы приглашение в Западный Берлин на границе ноября и декабря 1969 года.

Лем выехал в рамках проекта «*Comenius*»[336], традиции которого на Западе живы до сих пор. Он проводится в честь Яна Амоса Коменского (1592–1670), философа и предводителя чешских «братьев», на наследие которых могут претендовать чехи, поляки и немцы. Немцы вспоминают его имя по случаю культурных встреч со своими славянскими соседями.

Идеей этих встреч всегда были поиски взаимопонимания и избегание потенциальных конфликтов, потому немцам было

важно иметь польского писателя, которого, с одной стороны, любили и издавали в ФРГ, а с другой – который не был в ПНР в списках цензуры. Это не мог быть ни Мрожек, ни Милош, но им не подходили и пээнэровские писатели-аппаратчики.

*«Моё присутствие в Берлине – это весьма случайный результат польско-немецкого флирта – меня пригласили, потому что пристало пригласить какого-то не совсем политически уничтоженного парня из Польши»,* – автоиронично писал Лем Мрожеку[337]. Это не совсем так, о чём свидетельствует хотя бы заполненный график встреч Лема в Берлине.

Если бы приглашение Лема было «весьма случайным», то не было бы ежедневных встреч с немецкими издателями, политиками и читателями. А в письме Сцибору-Рыльскому Лем описывает это так:

> *«У меня уже нет сил от немецких стараний – я был там 12 дней: выступал, говорил, заседал, давал интервью, праздновал с издателями, рассматривал их предложения, обмазывал все части тела ароматными кремами в ванной, полностью из лазури, набрал денег немало, считая, что 100 долларов это 365 немецких марок! […] НО, СТАРИК, ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕНЬГИ У МЕНЯ НЕ ДЕРЖАТСЯ»*[338].

А Врублевскому писал так:

> *«У меня там был авторский вечер, меня представил сам бургомистр; пресса была на высшем уровне, один местный издатель, такой плейбой постарше, хочет купить все права на мои книги пожизненно, сперва вываливает мне на стол 1000 долларов аванса […]. Посмотрим, что из этого выйдет, поскольку «польская сторона внимательно рассматривает сделанные предложения» (польская сторона – это я) […]. Я жил в отеле Sylter Hof, причём эти подлецы, которые уничтожили нам страну и столицу, платили мне 50 марок суточных, а за авторскую вечеринку вообще дали 500. Завтраки входили в оплату за отель, а на обеды и ужины меня постоянно приглашали, так что о них я мог не заботиться и с чистой совестью могу грабить магазины, выискивая самые необычные вещи […] Брат! Эти сволочи, из-за проигранной войны, устроили себе просто шёлковую жизнь, маслом и мёдом намазанную сверху донизу. Чтобы подчеркнуть свою польскость, упившись, я вслух затягивал «Партизанскую долю»*

*и другие наши национальные песни»*[339].

Упомянутым плейбоем-издателем был Лотар Бланвалет (1910–1979), который заработал состояние, открыв для западнонемецкого читателя серию исторических романов о маркизе Анжелике. Его предложение Лем подробнее представил своему австрийскому агенту Францу Роттенштайнеру: аванс составлял круглую сумму в три тысячи марок, а речь шла не о пожизненных правах, а о пяти или десяти годах[340], но Лем считал, что выходит одно на одно (в 1969 году он предвидел, что на писательскую пенсию уйдёт не позднее 1979-го).

«Польская сторона» на самом деле никогда не намеревалась подписывать этот договор. Во время первой встречи Бланвалет произвёл на Лема плохое впечатление «престарелого пана, который вообще не разбирается в литературе» («*ein alterer Herr, der von Literatur nichts versteht*»). Для Лема каждый немец в этом возрасте казался подозрительным (Капущинскому Лем написал, что, когда немцы делали ему комплименты за его хороший немецкий, он отвечал, что его знание языка скорее пассивное, так как во время оккупации у него было много возможностей послушать и намного меньше, чтобы говорить)[341]. Говорил он это исключительно удовлетворения ради.

*Sylter Hof* в записях Лема вспоминается как самый хороший отель, в котором он когда-либо жил в своей жизни. Из писем видно, что больше всего его восхищала ванная («выглядела один к одному как в фильмах про миллионеров»), а в особенности два её элемента – ароматная цветная туалетная бумага и «специальный крем для смазывания органов, чтобы были более эластичны для распутной жизни».

Лем тогда уже был знаком с лучшими отелями Праги, Москвы, Ленинграда и Восточного Берлина. В страны советского лагеря его приглашали разные учреждения, которые обычно старались принять его в наилучших традициях, какие только могли предоставить. Но всё равно только в возрасте сорока восьми лет Лем открыл бальзам для тела (который сегодня можно увидеть в каждом европейском трёхзвёздочном отеле) или мягкую туалетную бумагу (которая сегодня есть абсолютно везде).

Отель *Sylter Hof* стоит сейчас там же, где и тогда, – по адресу *Kurfürstenstrasse*, 116. Я посетил его недавно, устроив себе прогулку «по следам Лема». Там ничего не изменилось. Бетонно-алюминиевая архитектура в шестидесятых годах казалась, очевидно, привлекательно новой, сегодня она скорее отталкивает.

Это серьёзная проблема Западного Берлина. Там время как будто остановилось с момента объединения. Другие места,

связанные с Лемом (адреса, где он жил, любимые рестораны), тоже выглядят сегодня как тридцать-сорок лет назад. То, что когда-то для поляков было западноевропейской «*шёлковой жизнью, маслом и мёдом намазанной сверху донизу*», сейчас выглядит серо и просто по сравнению с Варшавой или Краковом. Такого сценария будущего, наверное, не предвидел даже Лем!

В Берлин он поехал сразу после возвращения из СССР. Возможно, это был самый важный его визит в Москву, потому что именно тогда дошло до скандала с Тарковским насчёт интерпретации «Солярис». Лем, должно быть, накричал на Тарковского и обозвал его «дураком». Бересю он описал это так: «*он вообще снял не «Солярис», а «Преступление и наказание». […], и уж совершенно ужасным было то, что Тарковский ввёл в фильм родителей Кельвина и даже какую-то его тётю. Но прежде всего – маму, а мама – это мать, а мать – это Россия, Родина, Земля. Это меня уже совсем рассердило*». После столь категоричного порицания фильма, который, к слову, позже был награждён в Каннах, странным кажется заявление (в том же разговоре с Бересем), что Лем оценивает фильм без просмотра («кроме двадцати минут второй части»), на основе «знакомства со сценарием».

С этой «второй частью» возникла, скорее всего, какая-то ошибка, так как речь, возможно, идёт о телевизионном показе «Соляриса» в ноябре 1974 года. Лем тогда писал одному из своих русских переводчиков, что видел первую часть, но выключил телевизор, потому что не смог выдержать до конца[342].

Похоже, что скандал Тарковскому он устроил даже до того, как увидел сценарий. Прашкевич и Борисов в биографии Лема описывают этот инцидент детально, на основании рассказа одного из свидетелей скандала – Лазаря Лазарева (1924–2010), критика и литературного коллеги Тарковского (в титрах «Соляриса» и «Андрея Рублёва» он числится *редактором сценария*).

В разговоре с писателем об адаптации его книги должен был участвовать сценарист, то есть в данном случае Фридрих Горенштейн (1932–2002). Это он ввёл в «Солярис» новые линии. Проблема в том, что Горенштейн – даже больше, чем Тарковский, – не имел дипломатического таланта, вероятно, в отличие от Лазарева, которого режиссёр сам попросил присутствовать во время встречи с Лемом в надежде на его умение улаживать споры.

Лем, очевидно, не мог понять, зачем в разговоре принимает участие кто-то, кто не является ни режиссёром, ни сценаристом. Ему казалось, что Лазарев выступает представителем

«Мосфильма», то есть кто-то наподобие политрука[343].

Причины введения новых линий в фильм Лазарев объяснил просто – речь шла не о «матери России», а об экспозиции. Фильм – не роман, у него свои правила.

И одно из них состоит в том, что если зритель абсолютно ничего не знает о герое, то в итоге потеряет к нему интерес. Особенно если всё начало фильма действие сводится к перемещению по пустым помещениям (именно так начинается книга «Солярис»).

Роман – особенно написанный от первого лица – можно начать так, как начинается «Солярис»: герой, о котором мы ничего ещё не знаем, просто появляется на космической станции. Прошлое мы открываем постепенно, из его воспоминаний.

В фильме так нельзя. Решения типа закадрового монолога или *flashback* с надписью «ДВАДЦАТЬЮ ГОДАМИ РАНЕЕ» редко дают хорошие результаты, угрожая незапланированной комичностью, потому так охотно этими инструментами пользуются создатели пародий «Голый пистолет» или «Остин Пауэрс». С этой же проблемой столкнулся и Стивен Содерберг, который тоже добавил в «Солярис» земное начало, показывающее прошлое Кельвина и Хари.

Андрей Тарковский ценил писательский талант Горенштейна и потому доверил ему модификацию сюжета «Солярис». Однако он совершил «грубую тактическую ошибку», сказав об этом Лему. Он начал разговор непосредственно с переделок сюжета! Лем выслушал его «со строгим выражением лица», после чего холодно ответил, что, по его мнению, в романе есть всё необходимое и он не видит причин что-либо переделывать.

На что Тарковский использовал аргумент, который режиссёры часто используют в художественных рабочих спорах: «у меня достаточно проектов, мастерства и опыта, прошу довериться моему видению». Он спросил Лема, знаком ли он с его творчеством, а если нет, то, возможно, хотел бы что-то посмотреть. «Не знаком и у меня нет на это времени», – прозвучало в ответ. А стоит признать, прозвучало это весьма обидно для Тарковского и Лазарева, которых ранило то, «что и как говорил им Лем». Это ведь не были торговые переговоры, они пришли к нему как творческие люди к творческому человеку, оказывая ему уважение и ожидая от него того же в ответ – а были отруганы, как какие-то профаны.

Видя, что всё это приближается к скандалу, Лазарев пытался получить от Лема хотя бы словесное согласие на предлагаемые изменения. Он услышал только «делайте, снимайте» и решил, что больше из этого разговора уже ничего не выйдет, потому начал

прощаться, хотя из его воспоминаний получается, что Тарковский был готов ругаться до последнего, что, возможно, имело бы ещё худшие последствия.

Когда они вышли из отеля «Пекин», в котором происходил этот скандал, то выдохнули с громким «уфф!». Чувствовали себя как после тяжёлого физического труда. «Представь себе, что было бы, если бы с нами был Фридрих!» – пошутил Тарковский, и оба рассмеялись.

Когда Лем вообще прочитал сценарий? Уж точно не до разговора. До конца 1968 года не было понятно, будет ли фильм вообще снят[344] – Тарковский не был любимчиком власти, равно как и Горенштейн.

В апреле 1970 года Лем писал к Сцибору-Рыльскому: «*До меня дошла сплетня из Москвы, что Андрюша Тарковский начинает снимать «Солярис», уведомив своё начальство, что Лем его сценарий одобряет, так что я накропал письмо, что не знаю и не одобряю*». В этом же письме к другу он писал, что «какие-то другие два режиссёра «Мосфильма» хотят снять что-то о Пирксе. «Веду с ними замедляюще-осторожную корреспонденцию»[345].

О знакомстве со сценарием «Соляриса» Лем пишет только в 1973 году, когда фильм… сошёл с польских экранов:

> *«Братья-венгры украли у меня Пиркса, переделав его на ТВ-сериал без моего согласия, просили разрешения на «ТВ-адаптацию», я понял, что это обычное представление, а сейчас так «интерпретировали» это на фильм, что я сопротивляюсь – вижу, что обманули, а вынужден сидеть и помалкивать. Ты, может, удивишься, но я даже не видел «Солярис» – сначала болел, потом фильм уже сошёл с экранов, но я как-то не сильно переживаю – сценарий я читал и не был в восторге, даже совсем наоборот»*[346].

В интервью с Бересем он говорил, что больше всего жалел о проектах фильмов, которые они подготовили вместе с Яном Юзефом Щепаньским: «Рукопись, найденная в ванне», «Возвращение со звёзд» и «Насморк». Это была бы единственная возможность показать в кино романы Лема так, чтобы не противоречить его замыслам («*Слоёный пирог*» Вайды не был ни адаптацией романа, ни полнометражным фильмом). Киноновеллы (сегодня мы называем их тритментами) впервые вышли в печати в 2008 и 2009 годах в собрании произведений Лема (издательство «Агора»)[347].

То, что из «Возвращения со звёзд» ничего не получится, было понятно ещё в 1968 году. Александр Форд, который должен был

это снять, сначала не нашёл сопродюсеров, а потом вынужден был эмигрировать из-за антисемитской чистки. После этого провала Лем больше не питал великих надежд на «Рукопись, найденную в ванне», однако написал вместе со Щепаньским новеллу, а потом пытался вносить требуемые поправки. Зря:

> *«[Съёмочная группа] ПЛАН отказалась от сценария […] так по-хамски, как мне ещё не отказывали, и я сказал себе, что быстрее моя лысина зарастёт волосами, чем я дам им когда-либо что-то своё, а уж Павел граф Коморовский [режиссёр в том числе «Приключений пана Михала». – Прим. авт.] повёл себя как оборванец и последний хам, что при случае можешь ему передать, и даже в первом порыве ярости я написал ему прекраснейшее письмо, но потом плюнул на всё и выбросил его в мусорку. Дело в том, что он приехал, отнял полдня у меня и Яся, я записал весь разговор с ним на магнитофон, мы сделали все правки, какие он хотел, а потом он отбросил всё и даже не сказал «извините» […]. Я понимаю всю мерзость институции, но это не освобождает некоторых графьёв от необходимости иметь хотя бы остатки savoir-vivre»*[348].

С инициативой снять адаптацию «Насморка» обратился западнонемецкий продюсер Иоахим фон Витингофф. Режиссировать должен был австриец Альф Брюстеллин[349]. Лем вместе со Щепаньским приготовили в 1978 году киноновеллу (в переписке с Тадевальдом и Роттенштайнером Лем называет её уже капиталистическим «тритментом»), дошли даже до этапа подписания договора на адаптацию и выплаты аванса, но фильм никогда так и не был снят.

Я сомневаюсь, мог ли он вообще быть снят. Из корреспонденции видно, что продюсер начал проект, чтобы получить финансирование от властей Берлина, которое выплачивалось за съёмки в этом городе. Разумеется, те, кто читал «Насморк», понимают, что перенесение событий именно этого романа в Западный Берлин было бы невозможно без значительных изменений – всё ведь начинается с эпизода проезда по автостраде. Ввиду географии Берлина это должно было бы происходить на территории ГДР, что было на тот момент невозможно, а в перспективу объединения Германии тогда никто не верил. Всё это Лем терпеливо пытался объяснить в письмах[350], но, вероятно, безуспешно. Смерть Брюстеллина в дорожном происшествии в ноябре 1981 года резко сделала всё это беспредметным[351].

Ничего не вышло из планов Анджея Вайды снять в Мюнхене адаптацию «Футурологического конгресса». Ничем не закончилась и инициатива съёмок в Голливуде «Непобедимого» (но это хотя бы принесло Лему две тысячи долларов за продажу прав)[352].

В 1970 году к Лему обратился Леопольд Новак из киностудии «Иллюзион» с предложением снять «Расследование». Этот фильм как раз был реализован. Марек Пестрак в 1973 году снял его по-партизански, в технике, приближенной к тому, что десятилетия спустя получит своё название – «кино с нулевым бюджетом». Лему фильм понравился[353], хотя позже в разговоре с Бересем он смеялся над дилетантством Пестрака: «у своей тёти в ванной комнате он проявлял пробные снимки, […] в таких условиях это было мастерство». Относительный успех низкобюджетного «Расследования» привёл к тому, что Пестрак получил в СССР шанс всей своей жизни – результатом советских планов снять фильм о Пирксе стала экранизация «Дознания» – фильм «Дознание пилота Пиркса».

«Меня мороз по коже продирает за Пестрака, как подумаю, что вы сейчас скажете по поводу его «Дознания пилота Пиркса», – сказал Бересь в интервью с Лемом, на что писатель ответил: «Достаточно, если мороз будет продирать режиссёра». Сегодня «Дознание пилота Пиркса» кажется до смешного неловкой экранизацией. Речь даже не о слабых спецэффектах – там плохое почти всё: актёрская игра, диалоги, монтаж, сценография, спасает картину только музыка Арво Пярта.

Фильм укрепляет репутацию Пестрака как «польского Эда Вуда», режиссёра, объединившего огромный энтузиазм к созданию фильмов с полным отсутствием чутья языка кино. Но честно признаюсь, что мальчиком я смотрел его в 1979 году с открытым ртом, а сцена, в которой у Кальдера (Збигнев Лесень, постоянный актёр Пестрака) отрываются руки из-за перегрузки в момент попытки пройти через щель Кассини, произвела на меня огромное впечатление. Как говорят знатоки, «золотой возраст для *science fiction* это двенадцать лет».

Но семья не разрешила мне пойти на «Больницу Преображения» Эдварда Жебровского, премьера которой состоялась в том же году. Я сильно обижался на них, хотя сегодня не считаю фильм детской историей. На тот момент я не был знаком с книгой, потому на основе названия представлял себе что-то вроде медицинского триллера и, помню, задумывался, что там должно быть показано, если это страшнее оторванных рук Кальдера.

«Больница Преображения», в свою очередь, легко пережила

испытание временем. Я бы сказал, даже слишком легко, особенно если вспомнить финальную экзекуцию. Потому меня удивляли жалобы Лема на этот фильм в разговоре с Бересем. Он посвятил ему больше всего внимания – около пяти страниц одних только жалоб, без каких-либо положительных аспектов.

Эти жалобы, если присмотреться к ним поближе, кажутся весьма странными. Лем оценивает не язык кино, а историческую правильность – хотя действие романа «Больница Преображения» происходит в выдуманной больнице в несуществующей местности. «*Если немцам было приказано убивать определённую категорию людей, то в рамках этой акции они не убивали никого другого. Они педантично придерживались приказов. […] Режиссёр же в этом фильме сделал братскую могилу для всех, гибнет даже санитар Юзеф. […] а особенно мне вытянули жилы все сцены с этой еврейской докторшей. Обратите внимание, что уже первое её появление увенчано фрагментом, в котором она объясняет своё происхождение. Это 1940 год […] Еврейка в подобных обстоятельствах никогда бы не отважилась так поступить*», – говорил он Бересю, как будто не понимая, что аналогичные обвинения можно выдвинуть также и его книге, причём начиная с самого важного: если это 1940 год, то откуда там вспомогательные украинские организации?

Видение немцев как воплощения неразумной, уничтожающей силы взято из прозы Лема. Лучшее доказательство – что Стефан Тшинецкий, герой «Больницы…», во втором томе в качестве еврея попадает в лагерь смерти, а ведь (как нас убеждает вездесущий рассказчик) Тшинецкому всего лишь не повезло выглядеть как скрывающийся еврей. Возможно, санитару Юзефу тоже так не повезло?

Как обратила внимание Агнешка Гаевская[354], общей темой многих – и фантастических, и реалистических, и серьёзных, и юмористических – произведений Лема является тайна, которую скрывает герой и открытие которой грозит ему изгнанием из общества или смертью. Будет ли это Ийон Тихий, переодетый роботом, или Эл Брегг без бетризации, или астронавты «Солярис», скрывающие свои создания F, или почти все персонажи «Рукописи, найденной в ванне» (с главным героем во главе), или Трурль, переодетый в собственную машину – куда больше, чем один роман Лема заслуживает называться «Маской».

Это название подходило бы и к «Больнице Преображения», в которой много персонажей, скрывающихся за разными масками. Здоровые притворяются больными, больные – здоровыми, циники – идеалистами, а идеалисты – циниками, поляки – немцами, немцы – поляками. Лема, вероятно, разочаровало в

фильме Жебровского то, что он проигнорировал эти подтексты его романа. Но он не мог сказать этого прямо, чтобы не снять собственную маску.

В семидесятых годах вокруг экранизации Лема была большая шумиха. Фильмы получили награды на фестивалях («если уже взяли на фестиваль, то должны были награждать, это как дети, играющие в войнушку, должны быть каждый минимум полковником»[355]), – так Лем язвительно прокомментировал Гран-при Тарковского в Каннах. Даже «Дознание пилота Пиркса» было популярно, по крайней мере, среди не слишком требовательных подростков, влюблённых в *science fiction*. Для Лема это была одна сплошная серия разочарований.

Бесповоротно пропало невероятное творческое вдохновение, которым Лем баловал своих почитателей в предыдущем десятилетии. В шестидесятых он издавал по две-три книги в год, причём все выдающиеся. А в семидесятых книги далее издавались, но уже всё чаще в формуле: «один премьерный рассказ и горстка изданных ранее», как в сборниках «Маска» (1976) или «Повторение» (1979).

На это жаловались даже критики: «Учитывая, что одноимённый и лучший рассказ сборника был издан ещё в 1974 году в варшавской газете «*Kultura*», читателя просто разводят на почти что 50 злотых, – писал в рецензии к сборнику «Маска» Станислав Бересь[356]. Жаловались также друзья и корреспонденты Лема.

О кризисе и выгорании Лем писал в письмах и до этого, что многократно замечали его друзья, среди них и Ян Юзеф Щепаньский. Однако в семидесятых годах что-то должно было измениться, потому что летом 1974 года Щепаньский написал: «Сташек Лем впервые, сколько я его знаю, лишённый идей. Он ничего не делает и твердит, что не видит смысла писать дальше»[357]. Их знакомство на тот момент длилось уже два десятилетия, поэтому если Щепаньский писал «впервые, сколько я его знаю», то можем верить, что действительно произошло какое-то изменение.

В 1978 году Лем так объяснял Владиславу Капущинскому:

> *«На вопрос, почему я давно не пишу, я не знаю настоящего ответа, хотя даю иногда разные, но на самом деле – не знаю. Может, из-за слишком большого успеха моих книг в мире? Отсутствие денег всегда было хорошим стимулом, как свидетельствует история литературы…»*[358].

А месяцем позже писал Ежи Врублевскому:

> *«Я не знаю, то ли я так расплылся, то ли какой-то огонёк во мне погас, если я уже год с лишним ничего серьёзного не написал и живу как рантье, получающий купоны от так называемой мировой славы. Может, и правы те, кто говорит, что бедность – это естественное состояние творца, нужное, и что нет лучшего толчка к писательству, чем элементарный голод»*[359].

Другое дело, что потеря вдохновения была явлением относительным. Если бы Лем оставил после себя только то, что написал после «Гласа Господа» – который считается условным концом его «золотой эпохи», – его бы и дальше вспоминали как одного из лидеров польской фантастики. Он бы оставил три выдающихся романа («Насморк», «Осмотр на месте» и «Фиаско») плюс много прекрасных новелл, рассказов и «апокрифов». При таком сценарии мы бы дальше «говорили Лемом», цитируя «Профессора А. Донду» или «Воспитание Цифруши». Цитата из рассказа «Собысча»[360] о том, как Трурль хочет создать идеальное общество, но, к сожалению, у него постоянно получаются «прямоугольники, марширующие подозрительно ровным шагом»[361], всегда вспоминается мне, когда речь заходит о политических утопиях.

Критики семидесятых особенно враждебно реагировали на лемовские апокрифы. Теоретические размышления на тему такого жанра квазипрозы появлялись уже на страницах «Фантастики и футурологии». Первым настоящим апокрифом был «*Non serviam*», изданный сначала в томе «Бессонница» (1971). В том же году вышла и целая книга, состоящая из таких произведений, – «Абсолютная пустота» (1971).

Войцех Журковский на страницах «*Nowe Książki*» назвал её «умственной мастурбацией», закончив своё высказывание утверждением, что книгу рекомендует, но ему она не понравилась. Ян Вальц в издании «*Współczesność*», в свою очередь, назвал «Абсолютную пустоту» «несмешной шуткой». Время проголосовало за писателя, а не критиков.

Сегодня это классика. Такие произведения, как «Сексотрясение» (о том, как в 1988 году человечество потеряло сексуальное влечение из-за таинственной катастрофы, и правительство вынуждало граждан размножаться во имя общественного блага, но молодёжь пряталась в лесах, старшие предоставляли фальшивые справки о неспособности, а из Дании контрабандой перевозили гастрономические альбомы, демонстрирующие, как есть яичницу через трубочку) или

«Группенфюрер Луи XIV» (про бывшего эсэсовца, который за награбленное золото построил себе копию французского двора в южноамериканских джунглях), или «*Non serviam*» (вероятно, лучший в прозе Лема ответ на вопрос «чем есть личность?» и «чем идеальная симуляция отличается от реальности?»).

Единственный образцовый роман этого времени – это «Насморк». В первой половине июня 1975 года Лем в последний раз обратился к методу, который помогал удерживать его высокую трудоспособность в шестидесятых, – дважды выехал в Закопане, чтобы там писать «в монастырском уединении», как он это описал когда-то Канделю[362]. Тогда он написал радиопостановку и один новый рассказ о Пирксе, а также о Трурле и Клапауции (они вышли в томе «Повторение», 1979). Однако самым важным был роман «Насморк», с которым Лем «воевал уже долго», а в Закопане «почти закрыл». В начале декабря того же года он был готов[363], а вышел в следующем году.

Общую структуру сюжета Лем приготовил ещё летом 1969 года. В июне он пересказывал его Францу Роттенштайнеру[364], в июле – Виргилиусу Чепайтису[365]. В первой версии события должны были происходить в Риме, в отеле сети Хилтон (которую Лем использовал в следующем году, во время написания «Футурологического конгресса»). В июле уже не было Хилтона, появились зато серные купальни в Неаполе. Герой должен был быть детективом, а не астронавтом. Тогда появился черновик, который Лем прочитал Барбаре Лем вслух, и с удовольствием писал Чепайтису, что эта история порядочно её напугала. С написанием книги Лем, однако, ждал до момента, пока не сможет поехать в Италию и увидеть описанные места воочию[366]. Этого, однако, так и не произошло, и Лем в итоге изменил планы, равно как и профессию главного героя.

Непосредственным вдохновением к написанию стало интервью с Эдвином Олдрином, которое Лем прочёл в «*New York Times*». В 1973 году он сам признался в интервью, что его захватила психологическая ситуация астронавта, который после возвращения с орбиты ощущает, что всё самое важное в его жизни уже произошло. Вероятно, Лем тогда, в возрасте пятидесяти с небольшим, ощущал себя так же. В то время он хотел назвать роман «Грипп»[367], однако в итоге наделил своего героя болезнью, которая мучила и самого писателя уже двадцать лет и была основной причиной регулярных поездок в Закопане.

Однако можно сказать, что Лем все эти двадцать лет сражался с желанием написать «Насморк». Он всегда хотел написать детективный роман, в котором убийцей окажется

случай – к его собственным жизненным перипетиям это подходило больше, чем классический детектив с Холмсом или Пуаро. Во время войны люди погибали потому, что, возвращаясь домой, выбирали не ту улочку. Лем выжил во львовском погроме потому, что, когда его группа должна была быть расстреляна, как остальные, немцы резко отменили операцию.

«Испорченный детектив» и «Расследование» были попытками написать детективные истории с безличностным убийцей. Первую Лем забросил на половине, второй был крайне недоволен (из писем видно, что изданная версия сильно расходилась с первичными идеями). Окончание «Расследования» разочаровывает – в отличие от окончания «Насморка». Только в этом романе Лему удалось наконец выдумать убийцу – очаровывающего и одновременно случайного. Больше я не напишу, ведь, возможно, читатель ещё не знаком с этим романом – только скажу, что этот роман является одним из моих любимых.

Случай распорядился, чтобы Лем успел закончить этот роман. Он работал над ним больше двух лет. Если бы дотянул до 1976 года, возможно, эта книга никогда не была бы дописана. В 1976 году было уже невозможно повторить то, что Лем ещё мог сделать в июне 1975 года, то есть креативный марафон в Закопане (Щепаньский с завистью отмечает, что его друг за две недели написал полторы книги – то есть бóльшую часть «Насморка» и большой фрагмент «Повторения» – и вздыхает при этом, что тоже хотел бы так уметь; это ещё одно доказательство, что потеря вдохновения после 1968 года была явлением очень относительным). В следующем году в это же время Лем был так близок к смерти, как ещё никогда раньше, со времён войны. И снова к этому привёл случай.

В июне 1976 года Лем пошёл на операцию удаления простаты методом, который тогда считался ультрасовременным – с использованием электрокоагуляции и без скальпеля, то есть в теории – абсолютно безопасным для пациента. Тень предстоящего несчастья видна в записях Щепаньского, который сразу после операции проведал друга в Катовицах – потому что его оперировали именно там, а не в Кракове.

> *«Я ездил к нему после обеда с Анджеем Мадейским [соседом Лема, врачом, мужем Ноэми Мадейской, которая Лема и Щепаньского десять лет назад угостила псилоцибином. – Прим. авт.]. Операция была проведена самой современной технологией, но в больнице не работает туалет и никто не убирает санитарные*

*комнаты. Я оббегал весь город, чтобы купить парафиновое масло»*[368].

Лем тем временем отправил жену с сыном на каникулы в Устку. Они полетели самолётом – не по причине богатства, а только потому, что билетов на поезд не было. В Устку – не потому, что так хотели, а потому, что именно туда можно было взять путёвку через Союз писателей, где был Дом творческого труда. Они не знали, что происходит с их мужем и отцом, потому что в то время, чтобы звонить из Устки в Краков, надо было провести целый день на почте, и это при условии заказа «молниеносного» звонка. Барбара Лем узнала с большим опозданием от своей сестры (матери Михала Зыха), что после операции, сделанной в таких условиях, появились серьёзные осложнения.

Она решила сейчас же вернуться домой вместе с сыном. О покупке железнодорожного билета, равно как и билета на самолёт, не могло быть и речи. В пять утра она нашла таксиста, готового ехать в Краков. Томаш Лем вспоминает, что они ехали на старом белом «Мерседесе», который не мог разогнаться больше чем восемьдесят километров в час. По приезде в Краков водитель отказался искупаться, согласился только помыть ноги в тазике и погнал обратно.

Оказалось, что после возвращения домой у Лема случилось резкое кровотечение из раны внутри мочевого пузыря, причём началось какое-то заражение, вызванное, вероятно, недостаточной стерильностью многоразового шприца (так Лем сказал Щепаньскому). Краковские больницы не хотели исправлять ошибки катовицкой халтуры. Жизнь Лему спасли Мадейские, доставив его в бессознательном состоянии в Катовице. И так писатель, фантазия которого достигала звёзд, был в шаге от смерти из-за грязи. «Чуть не сдох», – со свойственной ему лаконичностью описал Щепаньский[369].

Всю эту ситуацию Лем с юмором описал Врублевскому – когда всё было позади и он чувствовал себя «отреставрированным телесно». Он радовался, что «Барбара с ребёнком была на Балтийском море», потому что «это отсутствие защитило её от многих трудных потрясений»[370].

Больше всего, однако, его радовало то, что больница стала серьёзным поводом, чтобы не участвовать в церемонии вручения ему Государственной Награды I степени за достижения в литературе. Комитет был вынужден прислать её. Более того – это была ещё и причина его отсутствия на Евроконе, который в 1976 году проходил в Познани.

С первого же конвента, в Триесте в 1972 году, европейские любители *science fiction* пытались пригласить на него Лема. Первый раз он отказался от приглашения, потому что «ему не хотелось», но его отсутствие на польском конвенте грозило скандалом, если бы только не было такого серьёзного повода. Больница позволила ему выкрутиться, чем он был «премного доволен»[371].

Несмотря на беззаботный тон письма Врублевскому, трудно скрыть, что эта история стала переломным моментом в жизни Лема. Жизнь спасло ему то, что рядом были друзья, которые быстро отвезли его в больницу. Если бы он был сам в Закопане – мог просто истечь кровью прежде, чем до него бы доехала «Скорая». С тех пор он будет избегать рискованных поездок, уже не повторит безумных рейдов машиной в Грецию, никогда не поедет в СССР, не будет ездить в палатки с друзьями в Бещады. Его путешествия будут ограничиваться большими городами в Германии и Австрии, а также тамошними туристическими курортами, где всегда работают телефоны, ходят поезда и в больницах есть туалеты.

Трудно не заметить, что этот перелом в жизни Станислава Лема – июнь 1976 года – снова совпадает с переломом в истории Польши. Тонкая игра с режимом, которую Лем вёл предыдущую четверть века – будто рассказчик в «Гласе Господа» с военными властями, перестала быть возможной. Тот роман был аллегорическим описанием ситуации польских интеллектуалов в десятилетии Гомулки – в десятилетии Герека наступили новые правила.

Лем идеально отобразил эту эпоху в самом её расцвете в «Воспитании Цифруши». Наверное, ни одно его произведение не пробудило такого восторга у Яна Юзефа Щепаньского, который 8 ноября 1971 года записал в дневнике:

> «*В среду вечером у Лемов. Сташек читал новый рассказ. Видение фантастического королевства, настроенного исключительно на музыкальную реализацию гармонии сфер. И в углу сцены, где вкалывает королевский оркестр, сидит гигантский монстр – вонючее, косматое чудище (Гориллище), которое время от времени съедает какого-то музыканта или иначе сводит на нет их усилия. И все мудро объясняют, почему не получается хорошо играть, но о Гориллище ни слова. Сташек выслал это в «Szpilki». Интересно, решит ли цензура не заметить аллюзии. В свою очередь, в дневниках Анны Достоевской, которые я сейчас читаю, это Гориллище Европы так же*

*сидит в своём углу.*

*Достоевские в Дрездене запоем читают все книги, запрещённые в империи, что не мешает им любить царя и пренебрегать либерализмом*».

Метафора «Гориллища, сидящего в углу» будет появляться в дневниках ещё неоднократно, обычно как подытоживание встреч властей с писателями. Например, в 1972 году Ян Блоньский на встрече краковского Союза писателей поднимает тему издания произведений Гомбровича (в собрании участвовали также Лем и Щепаньский). Представитель министерства ответил, что «существуют барьеры, которые нельзя так просто обойти из-за соседства, которое определила нам история», – «Лемовское Гориллище в углу», – добавил Щепаньский от себя.

Из фракционной борьбы между натолинцами и пулавянами, которая велась на протяжении всех шестидесятых годов, не получилось ничего. Натолинцы покончили с пулавянами в 1968 году, остатки пулавян взяли реванш в 1970-м, однако были слишком слабы, чтобы ввести социалистическую демократию, о которой мечтали в 1956 году – большинство вождей этого течения вынудили эмигрировать или отправили в отставку. Остались только «вторые игроки» – такие как Яблоньский или Ярошевич.

Возможно, Лем был прав, объясняя в 1956 году Сцибору-Рыльскому, что любая демократия в этом режиме есть и всегда будет иллюзией, так как в ее основе лежит политическая полиция, а не какая-либо идеология. Из герековской либерализации вышло то, что тупое Гориллище, которое символизирует власть, начало хаотично пожирать людей.

Это не была просто метафора. Угроза физического насилия ощущалась почти физически – в мае 1977 года, как раз в день первого причастия Томаша Лема, прогремела страшная новость о смерти замученного «какими-то неизвестными» Станислава Пыяса. Через полгода «неизвестные» побили ксёндза Анджея Бардецкого, сотрудника «*Tygodnik Powszechny*». Люди из непосредственного окружения Лема стали получать странные анонимки и звонки с угрозами, им казалось, что за ними следят на улицах (а сегодня мы знаем точно, что следили). Судя из писем и дневников, угроза была сильнее, чем в шестидесятые, так как действия режима стали ещё более непредвиденными.

Комментируя в 1977 году в письме к Канделю первый номер нелегального литературного журнала «*Zapis*», в который знаменитые авторы без псевдонимов отдавали свои произведения, отброшенные цензурой (в первом номере вышли Анджеевский,

Брандис, Фицовский и Новаковский), Лем отмечал, что «95 % этих текстов могли быть изданы при Гомулке», «ТАК сузилось пространство свободного высказывания!»[372]. Лем был в необычной ситуации, ведь власти хотели иметь его при себе. Они уже смирились с тем, что не выйдет сделать из него партийного писателя – но в среде польской интеллигенции, которая всё больше поляризировалась, он мог стать писателем, которого однозначно ассоциировали с оппозицией, как его друзей – Щепаньского или Мрожека.

Лему всё время из-за этого было «можно больше». Ему сходили с рук какие-то свободные заявления, за которые других бы наказали отказом выдать загранпаспорт или запретом публиковаться. Лем осознавал всё положение вещей – об этом пишет в своих воспоминаниях Томаш Лем, – но не имел с этого какой-то пользы. Сложно играть первую скрипку в оркестре, который по очереди пожирает Гориллище, даже если оно временно занято остальными скрипачами.

Любопытство Яна Юзефа Щепаньского касательно реакции цензуры на «Воспитание Цифруши» не было удовлетворено. В 1971 году цензор даже не увидел этот рассказ в глаза – Кшиштоф Теодор Тёплиц, главный редактор «*Szpilki*», отказался опубликовать его, очень вежливо пояснив, что всем в редакции очень понравилось, но «особенно в настоящее время» он не видит возможность это напечатать[373].

Лем тяжело пережил этот отказ. Майкл Кандель, который тогда навестил его в Кракове, вспоминал, что Лем показал ему «Воспитание Цифруши», сокрушаясь над свободой слова в ПНР. «Такие вещи сегодня цензурируют!» – Щепаньский записал в своём дневнике разговор с Лемом, в котором тот фантазировал, как будет «вешать цензоров», когда Польша получит независимость[374].

Рассказ вышел лишь в 1976 году, в томе «Маска», ясное дело в «*Wydawnictwo Literackie*», в котором традиционно Лем публиковал вещи, требующие специальных связей в комитете цензуры. Повесть «Маска» – написанная несколько ранее, в июне 1972 года, как всегда, в Закопане[375], – тоже на первый взгляд кажется аллюзией, шитой слишком белыми нитками, чтобы это пропустила цензура: действие происходит в мире «средневековья роботов», который напоминает мир «Кибериады», но вместе с тем здесь всё серьёзно. Героиня-рассказчица является машиной-убийцей, которую тиран, напоминающий всех этих «кибериадовских» Жестокусов, но на этот раз ни капли не смешных, приказал сконструировать с целью убийства дворянина (тот по какой-то причине попал в королевскую немилость).

Машина выглядит как красивая женщина, а её задание состояло в том, чтобы соблазнить дворянина и убить его в укромном месте. События происходят в мире роскоши, похожем на мир герековского благосостояния.

Почему цензура это пропустила? И вновь ответ: потому что варшавская «*Kultura*», издание Януша Вильгельма, то есть «Вильгельма Ини», могла больше. Вильгельм был в то время занят серьёзными чистками в мире кино, хотя символично закопал топор войны с Лемом.

«Воспитание Цифруши», «Маску» и «Профессора А. Донду» (рассказ об африканской стране, которая проходит период модернизации – наподобие герековского – у их плановиков вышло, что вертолётизировать страну выйдет дешевле, чем проложить дороги, потому они купили лицензию на вертолёт и… так далее) власти восприняли так же, как и предыдущие произведения Лема. Цензор сделал вид, что не понял.

Лема очень развеселило, что на новый 1975 год он получил письмо с поздравлениями от первого секретаря Эдварда Герека. Герек – точнее, кто-то, кто писал это письмо и подсунул ему на подпись, – утверждал, что больше всего из произведений Лема любит «Мнимую величину», «Абсолютную пустоту» и собственно «Маску»[376]. Эти названия попали в письмо просто потому, что были тремя новейшими произведениями Лема, но если принимать во внимание содержание «Маски», из этого вышла забавная история.

Как «польский писатель, произведший фурор на Западе», Лем идеально вписывался в герековскую пропаганду успеха. Если бы он ещё получил Нобелевскую премию! Власти в начале семидесятых, казалось, питали эту надежду, что вылилось в один из самых загадочных эпизодов из серии «Лем и ПНР», которым был неожиданный визит Францишека Шляхцица в дом писателя в Клинах в ноябре 1972 года.

Из интервью, данного Бересю десять лет спустя, получается, что Лем никогда так и не узнал, что произошло. Он запомнил только странные слова Шляхцица, который, рассматривая полки с заграничными изданиями книг Лема, прокомментировал, что карьера Лему удалась «на удивление хорошо, несмотря на то что мы не помогали и даже немножко мешали». Это загадочное «мы» в устах шефа безопасности означало «мы, ведомство». Шляхциц в шестидесятых был в МВД «вторым после Мочара» (который, в свою очередь, был «вторым после Гомулки»). В 1970 году он неожиданно поддержал партийных «либералов», что дало ему повышение и он стал «вторым после Герека».

Как и Мочар, Шляхциц хотел создать сеть «своих людей»

в разных сферах, в том числе среди интеллигенции и писателей. Откуда ему пришло в голову, что Лем может быть хорошим кандидатом на «его» человека, можно только догадываться.

Возможно, его логика была проста: Лем пока что ничей, *ergo* – как во времена колониальных завоеваний – тот, кто его завоюет, тот поставит свой флаг на *terra nullius* в доме в Клинах. На самом деле Лем столько достиг в жизни, что его нельзя было переманить талоном на «Фиат», но Нобелевской премии у него до сих пор не было. Шляхциц, вероятно, поверил своим людям в управлении, что они в состоянии это организовать. Кажется, он как-то расплывчато предложил это Лему – по крайней мере, так показалось самому писателю. Так он сказал Щепаньскому, который посетил его сразу после Шляхцица (25 ноября).

Это был, разумеется, нонсенс, потому что в Нобелевском комитете ничего нельзя было решить просто так. Чтобы предложить им кандидатуру, нужно было много лет вести с ними тактическое и тайное сотрудничество, как видно было на примере приятельницы Лема – Вислявы Шимборской. Таинственность, равно как и такт, не входили, однако, в компетенцию Францишека Шляхцица и его подчинённых. Об этом свидетельствовал хотя бы сам этот визит.

С его стороны это выглядело так, что Шляхциц просто по случаю служебной поездки в Краков спонтанно посетил своего любимого писателя. В действительности этот спонтанный визит был объявлен с упреждением (трубку поднял четырёхлетний тогда Томаш Лем, который в своей книге вспоминает, что на прозвучавшее из динамика «Говорит секретарь Центрального Комитета Францишек Шляхциц» он, не задумываясь, ответил «Говорит Томек»). Поскольку в Краков Шляхциц прилетел служебным самолётом, а по городу передвигался с кортежем служебных машин, то о тайном спонтанном визите часть города узнала сразу, а некоторые – например, воевудский комитет, краковский Союз писателей, «*Wydawnictwo Literackie*» – даже заранее[377].

Шляхциц пытался вести себя так, как будто это был обычный дружеский визит. Он похвалил сырник (в Кракове он назывался творожным пудингом) тёщи Лема. Выпил бокал вина. Вот и камерный разговор о литературе. И только так, по случаю, при нём присутствовали взволнованный секретарь воевудского комитета ПОРП Юзеф Кляса, охранники и личный адъютант, который в двадцать три тридцать прервал разговор бесцеремонным: «Товарищ, самолёт ждёт». Если Нобелевский комитет и рассматривал кандидатуру Лема, то после этого визита у него не было ни малейшего шанса.

Власти пытались заполучить Лема любой ценой, так как семидесятые годы принесли ей открытый бунт среди писателей и интеллигенции. На оппозиционные инициативы шестидесятых Лем смотрел на расстоянии, как Хогарт в «Гласе Господа».

Этому было две причины. Во-первых, *spiritus movens* этих инициатив были интеллектуалы прошлого поколения, которые построили свои позиции и авторитет ещё до войны – Домбровская, Эстрайхер, Слонимский, Яструн, Ванькович, Анджеевский. Лем, Блоньский, Мрожек и Щепаньский происходили из следующего поколения, которое дебютировало после войны, а в шестидесятых ещё не имело такого авторитета в этой сфере. Лема считали специалистом по инопланетянам, Блоньского – молодым способным полонистом, Щепаньского – автором заметок путешественника, Мрожека – шутником. За делом «Письма 34» в 1964 году они наблюдали очень внимательно, но только наблюдали. Они не пытались пробиться в число подписантов, это было бы тогда несерьёзно.

Второй причиной было то, что те инициативы сознательно представлялись как аполитические. «Письмо 34», направленное премьер-министру Цыранкевичу (который охотно выставлял себя как приятеля людей культуры и искусства), начиналось с вопроса «ограничения распределения бумаги», и как бы мимоходом вспоминалось о «цензуре». Лем аллегорично описал это в «Гласе Господа», что интеллигенция высказывала настороженность тем, как Вильгельм Ини управляет Проектом, но не хотела открыто с ним ругаться.

И первое, и второе поменялось в семидесятых годах. Во-первых, сейчас уже Лем, Блоньский, Мрожек и Щепаньский были авторитетами, за которыми внимательно наблюдали младшие поколения. Например, Загаевский и Корнхаузер, которые в 1974 году в книге «Не представленный мир» обвиняли их поколение в эскапизме. Всё труднее было избежать однозначного положения.

Не менее важным было то, что изменился характер оппозиционных инициатив. В 1975 году в ответ на запланированную смену Конституции ПНР (первоначально было запланировано вписать в неё руководящую роль ПОРП, вечный союз с СССР и зависимость гражданских прав от того, как граждане выполняют свои гражданские обязанности; под влиянием протестов эти предписания несколько смягчили) начали собирать подписи под «Письмом 59» – открытым письмом, которое не отправили напрямую премьер-министру, а адресовали международному общественному мнению, согласно с подписанным в том же году в Хельсинки Заключительным актом

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Подписи под этим письмом начали собирать в Варшаве по инициативе Яна Ольшевского, Якуба Карпинского и Яцека Куроня. В Краков письмо попало к началу декабря как готовый документ, в котором ничего нельзя было изменить – что было чрезвычайно важно, потому что на собрании потенциальных подписантов (в нём приняли участие Лем, Загаевский, Корнхаузер, Шимборская, Филипович и Щепаньский) раскритиковали некоторые пункты как «наивные и утопичные».

Постулаты письма Щепаньский резюмировал 4 декабря 1975 года в своём дневнике. Он ответил, что Лем занимал на этом собрании наиболее радикальную позицию – предлагал вместо этого письма лаконичное сообщение «Прочь с коммунизмом!», и единственный в итоге не подписал. «Его сопротивление кажется мне достойным проявлением самостоятельности – даже отваги. Я не горд собой, несмотря на то что сознательно соглашаюсь с жертвами», – писал Щепаньский.

Какими жертвами? Никто тогда не знал. Как автор книг о путешествиях Щепаньский больше всего боялся двух вещей: отказа выдачи паспорта и запрета печататься. Того же боялся, вероятно, и Лем, но нельзя всё сводить только к этому страху. Лем тогда был самым знаменитым в мире писателем из всех участников краковского собрания, а вероятно, также среди всех подписантов этого письма. В результате он подписал его, но лишь два месяца спустя, когда фамилии подписантов не читали на радио «*Wolna Europa*» (тогда же подписал и Тадеуш Ружевич, который оттягивал это по тем же причинам)[378].

Это обстоятельство в итоге подвергнет дружбу Лема и Щепаньского тяжёлому испытанию. В 1977 году начал свою работу «Летучий Университет», переформированный в 1978 году в «Общество научных курсов» (ОНК). Это был конкурентный вызов, брошенный монополии государственного университетского образования – лекции вели разные специалисты, признанные в своих сферах, в том числе Владислав Бартошевский, Ян Стрелецкий, Ежи Едлицкий, Тадеуш Ковалик или Анджей Дравич. В Кракове к организации занятий присоединился также Щепаньский, который подписал декларацию основателей ОНК. В январе 1978 года он пригласил к сотрудничеству Лема. Тот согласился провести лекцию о футурологии в монастыре норбертанок, однако на тех условиях, что Лем примет приглашение сестёр-монашек. Де-факто лекция прошла в программе ОНК, но формально – нет. Лем отказался подписать декларацию ОНК.

В этот раз Щепаньский уже не одобрил поведения друга, как в

декабре 1975 года. Он принял аргументы Лема («как всегда очень убедительные»), но записал, что «нам обоим было обидно и неудобно». Тремя днями позже (23 января) он записал: «Утром Сташек принёс мне обоснование своего места в ОНК в письменном виде. Я впервые видел его в таком возбуждённом состоянии. Комментируя текст, он чуть не плакал».

Чего Лем боялся? Репрессии, ударяющие по кому-то, в тоталитарных режимах редко задевают только этого одного человека. Рикошетом достаётся также коллегам, подчинённым, семье и друзьям. Если кто-то профессор – пострадают его студенты и докторанты. Если драматург – проблемы будут у режиссёров и актёров, чьи фамилии указаны в снимаемых в спешке афишах.

Дневник Щепаньского в это время полон опасений, что его сопротивление властям ударит рикошетом по кому-то ещё. Он выполнял много социальных ролей, одной из которых было заседание в комитете государственных наград. Он постоянно задумывался, когда его выгонят оттуда? Не выгнали – позволили даже подать кандидатуру Лема (как оказалось, её также подал партийный писатель Войцех Жукровский). Как я уже писал, Лем получил эту награду, но пребывание в больнице счастливо позволило ему избежать участия в церемонии.

У Лема в то время были похожие проблемы. Собственно, в 1975 году начала выходить в «*Wydawnictwo Literackie*» издательская серия «Станислав Лем рекомендует», в основе которой лежала гениальная идея – гений польской фантастики представляет серию выдающихся произведений этого жанра по собственному авторскому выбору со всего мира и из разных эпох.

Если бы Лем подписал «Письмо 59» на том декабрьском собрании и его фамилию прочитали на радио «*Wolna Europa*», серия, вероятно, закончилась бы на двух первых книгах, изданных в 1975 году: «Невероятные истории» Стефана Грабинского и «Убик» Филипа К. Дика (с которым Лем имел много проблем – далее в книге это будет описано подробнее). Появились тем временем первые проблемы с книгами, которые Лем особенно хотел издать, – «Пикник на обочине» Стругацких, «Волшебник Земноморья» Урсулы Ле Гуин и «Тигр! Тигр!» Альфреда Бестера.

Эта третья не нравилась властям по идеологическим причинам: американская *space opera* всегда имела в себе империалистические ростки. Они заметны, по правде говоря, и в «Непобедимом» Лема, выдержанном в том же жанре (какой там должен царить строй, если человечество высылает на чужие планеты не научно-исследовательские корабли, как в «Возвращении со звёзд» или «Эдеме», а вооружённые до зубов

военные космолёты?), но одно дело – собственный империализм, другое – американский.

Книги Стругацких и Ле Гуин не нравились не из-за содержания, а из-за переводчиков, которые работали над текстами. Стругацких переводила Ирена Левандовская, которая часто работала над книгами вместе с Витольдом Домбровским – оппозиционером, подписантом протеста против изменений в конституции, которого в 1976 году вписали в списки цензуры. И если тут «*Wydawnictwo Literackie*» смогло настоять, то ситуация со Станиславом Баранчаком, который перевёл Ле Гуин, обстояла намного хуже.

Как члена-основателя Комитета защиты рабочих, издающегося под собственной фамилией в оппозиционной прессе, в 1977 году Баранчака уволили по дисциплинарным причинам из Университета Адама Мицкевича в Познани и подвергли тотальному запрету. Лем пытался воспользоваться своими связями, чтобы перевод вышел под фамилией жены Баранчака, и в какой-то момент, в 1977 году, казалось, что это может получиться. Готовый к изданию «Волшебник Земноморья» пришлось задержать из-за решения секретаря ЦК ПОРП Ежи Лукашевича, ответственного за прессу и пропаганду[379].

Лем был в ярости, и в августе 1978 года заявил, что разрывает сотрудничество с «*Wydawnictwo Literackie*». Фактически это означало разрыв сотрудничества со всеми пээнэровскими издательствами. В «*Iskry*» в следующем году ещё по инерции вышло «Повторение» с заранее подготовленными текстами. Но факт оставался фактом: Лем добровольно внёс себя в списки цензуры.

Решение он, вероятно, принял раньше – он затянул эту игру только из-за Баранчака. В марте 1978 года вышел первый текст Лема в парижской «*Kultura*», подписанный взятым из «Свадьбы» Выспянского псевдонимом «Хохол».

В тексте под названием «Прогнозы Хохла» Лем представил собственное видение будущего ПНР. Он не видел для своей страны никакой надежды – предвидел крах экономики, нарастание террора, упадок науки и культуры, которую заменят «спорт и массовые развлечения вроде цирка […], которые недаром так ценятся в СССР, вот только стремятся к бессмысленности».

Как Лем видел в этом собственное будущее? Из писем, написанных во второй половине семидесятых годов, видно, что он чувствует себя «рантье», получающим купоны от мировой славы. Он уже не должен был писать, достаточно было того, что

получает деньги с очередного перевода в какой-то далёкой стране.

На случай усугубления террора – с возможностью которого Лем считался, очевидно, постоянно, начиная как минимум с шестидесятых, – оставалась эмиграция. В октябре 1976 года – между проблемой с простатой и ситуацией с ОНК, Щепаньский записал в дневнике, что Лем «впервые сказал, что близок заявить властям, что как «паршивый еврей» хочет выехать в Израиль […]. У него паранойя, что его уничтожат, и одновременно он стыдится этого».

К счастью, поездка в Западный Берлин в 1969 году инициировала лавину последующих приглашений. В 1972 году он поехал во Франкфурт, в 1977-м – в Берлин, в 1978-м – в Вену, в два последние путешествия беря также семью (пока что только туристически – на остров Сильт и в Альпы).

Томаш Лем поездки в отпуск с отцом вспоминает несколько меланхолично. «Я невыносимо скучал, как мопс», – пишет он, правда, ещё в контексте поездок в Закопане, где единственным развлечением для ребёнка было «рисовать машинки с Мареком Грехутой». В Австрии и Германии не было интересней. Так он описывал пребывание на острове Сильт в 1977 году:

> *«Проливные дожди, холодный ветер, невозможность найти общий язык с одногодками, скука, отец, закрывшийся газетой, поездка автобусом с немецким гидом, сочетающаяся с укачиванием мамы, бассейн с морской водой и искусственными волнами, цыплята на вертеле и пони, которого мама самопожертвенно вела за уздечку, чтобы развеселить меня, – так это выглядело, если коротко».*

Австрия зато выглядела так:

> *«Отец не был гением логистики, что в сочетании с глубокой верой во всё, что написано, привело к тому, что, слишком доверившись рекламной брошюрке и заплатив залог, мы отдыхали в подвале у какого-то тирольца. Мама провела каникулы на кухне, где даже не было окна, отец смотрел по телевизору Уимблдон или поглядывал на дождь за окном, отрываясь от «Stern» или «Spiegiel», где писали о блокаде австрийских дорог из-за забастовки водителей фур. […]. Когда погода улучшилась, а дороги разблокировали, мы начали ездить на экскурсии. Схема была похожа. Из «бедекера» отец вычитывал информацию о Большой Горе. Потом мы ехали туда машиной и в*

*ресторане с тирольской музыкой ели шницель с картошкой фри или шатобриан в беарнском соусе (больше всего отец вспоминал шатобриан из ресторана неподалёку от местности Ладис и Обладис)».*

Когда я читал это, меня охватил тот же холодный страх, что когда-то мои дети напишут воспоминания обо мне. Так как я тоже не представляю себе лучшего отдыха, чем «бассейн с морской водой и искусственными волнами» и поездки машиной к Большой Горе с целью съесть шатобриан, что, вероятно, согласно фрейдовской теории можно назвать реакцией на позицию моего отца: «встаём в четыре утра, чтобы покорить гору Орля Перць» (я покорил её в возрасте десяти лет, чтобы никогда туда не вернуться – тогда я отдал бы всё за каникулы, когда можно ничего не делать и читать книги, например, Лема).

Лем эти поездки описывал с удовольствием, смешанным с обидой, что немцам и австрийцам так хорошо живётся, несмотря на их преступления во времена Второй мировой войны. В 1977 году он писал Ежи Врублевскому:

> *«Там ужасное процветание и невероятное материальное благополучие. А у нас есть как есть – об этом я тебе не должен рассказывать. Я возвращаюсь в страну в конце сентября, а сейчас поездом еду в Берлин. А эти бараны, которые проиграли войну, понятия не имеют о том, как им хорошо, – жалуются на миллион забот и проблем. Подогревают себе море, всё у них РАБОТАЕТ и вообще, такая жизнь, как там, очень раздражает польского человека! Как же несправедлива История!..»*[380]

Похоже, он в 1979 году описывал пребывание в «подвале у какого-то тирольца» и поездки машиной к Большой Горе:

> *«Летом того же года мы были долго в Австрии, в Вене, Шладминге на юг от Зальцбурга, в арендованном «апартаменте», так называемом симпатичном деревянном домике, было нам очень хорошо, почти каждый день выезжали на экскурсии машиной, потому что там на каждую гору можно въехать машиной, а на вершине всегда тебя ждёт кайзершмаррн [так называемый императорский омлет с ванилью и изюмом. – Прим. авт.], пиво и венский шницель»*[381].

Описанная выше «машина» была первым автомобилем в

длинном списке машин Лема, которую он наконец полюбил. Как я уже описывал, гэдээровские двухтактники и итальянский «Фиат» были для Лема источником постоянных разочарований. В свою очередь, король тогдашнего польского автопроизводства «Фиат 125», купленный в 1971 году, никогда так и не получил признания Лема, так как, проехав всего 25 тысяч километров, потерпел серьёзную аварию:

> *«Я въехал в «Варшаву», которую вёл какой-то тупица, и без всякой причины на пустой прямой дороге, как сумасшедший, затормозил. Хоть удар был несильный, оказалось, что наш польский «Фиат» слабенький очень – вроде бы только фара разбилась и погнулась воздушная решётка, но внутренняя сторона фары пробила трубку охладителя, вода вытекла […], залатать нельзя было, потому что в таком хитром месте образовалась дырка, что теперь у нас нет машины!»*[382].

Лем, к счастью, заработал столько валюты, чтобы – теоретически! – ему хватило на покупку новой машины на Западе из салона. Однако оставалась проблема, что он не жил на Западе. В ноябре 1972 года он начал бомбардировать своего западнонемецкого переводчика и агента Вольфганга Тадевальда письмами с просьбой купить машину от его имени[383].

Это было непросто, поскольку Тадевальд жил в Ганновере, а Лему было намного ближе до Западного Берлина (который в отличие от ФРГ не требовал визы, потому что формально был ничейный политически и административно). К этой проблеме прилагались также управленческие формальности и оформление нотариальной доверенности на Тадевальда для их улаживания в Германии от имени Лема[384]. В январе 1973 года всё было готово, писатель принял окончательное решение, касающееся версии и комплектовки автомобиля[385]. Он стоил 19 144 марки (ввиду инфляции тогдашней марки можно пересчитать их почти 1:1 на сегодняшний евро), не считая польской ввозной пошлины. В полном восторге, Лем описывал это Сцибору-Рыльскому:

> *«Я решился на такую до чёртиков дорогую машину, понимая, что такие разрешения [необходимо было получить разрешение Министерства Финансов. – Прим. авт.] не раздают направо и налево, так что я пошёл ва-банк и обчистил все валютные счета […]. Ну что ж… модель 250, объём 2778 см, 130 лошадок, 190 – максимальная скорость […], цвет нежной, бледно-жёлтой срачки, потому что Бася не дала согласия на*

*более броские раскрасы – не годится, мол. Да и за те другие доплачивать надо было, например есть IKONEN GOLD, то есть можешь иметь ЗОЛОТОЙ МЕРСЕДЕС!!! […] но придётся доплатить 900 марок сверху»*[386].

«Бледно-жёлтая срачка» базовой модели называлась «*Ahorngelb*». С момента, как Лем в апреле 1973 года сел за руль «Мерседеса», он уже никогда не пересядет на машину другой марки.

Год спустя он жаловался Чепайтису, что «Мерседесы» выпускают уже не такие качественные, как раньше (мне, в свою очередь, любопытно, смогла ли фирма «*Daimler AG*» определить, когда впервые они получили подобную жалобу… полагаю, году эдак в 1902-м). Лем писал: «сперва вентилятор сломался, потом что-то было с тормозами, а после откручивания гаек оказалось, что в нём что-то скрипит и пищит, как соловей в консервной банке»[387]. Как и многие, у кого была эта модель, Лем жаловался на слабый ход и высокий расход топлива – «40 литров на сто километров!» – писал он Роттенштайнеру о своём «*verfluchten Mercedes*»[388].

Ну что ж, нынешний водитель, развращённый повсеместностью двигателей с впрыскиванием, сразу обратит внимание на диссонанс между огромным объёмом двигателя (2,8 литра!) и слабой мощностью двигателя (130 лошадей!). Лем неудачно попал в последний год производства этой семьи двигателей, которая технически была разработана ещё в 1950 году.

Этими недостатками он объяснял, что своим «Мерседесом» уже не отважился бы поехать в автомобильный рейд по Европе – например, в такой, как в шестидесятых он делал на «Вартбурге» или «Фиате». Настоящая причина, вероятно, была другой. В момент написания этого письма Лем уже ощущал проблемы, кульминацией которых будет больничный эпизод в 1976 году. Другие проблемы со здоровьем – почки, зубы, сенная лихорадка – не отступали и давали о себе знать несколько раз во время разных путешествий. С 1972 года Лем начал постоянно носить слуховой аппарат (проблемы со слухом у него были с 1944 года, когда прямо перед ним взорвался советский снаряд).

Короче говоря, он писал Чепайтису, что не доверяет своей машине – имея в виду, очевидно, отсутствие доверия к собственному организму. Ведь Лем собирался ходить по горам пешком, а не ездить на машине. Из писем пятидесятых годов заметно, что для него не было большего удовольствия, чем

бродить по Татрам с любимой собакой Раджой. Он обошёл практически их все (по крайней мере, главный хребет).

Должно быть, он очень жалел, что именно тогда у него был сын, с которым можно было ходить в горы, к тому же – прекрасная машина, чтобы в эти горы поехать! Подвело только здоровье. В 1973 году он описывал Сцибору-Рыльскому что-то[389], что, вероятно, можно назвать прощанием с прогулками в Татрах (потом Лем ездил в Закопане только писать):

> *«Мы были втроём целый месяц в Закопане, в «Астории» и ходили по горам, на которых когда-то я добивался гениальных лыжных успехов. Томашек маршировал с первым собственным рюкзачком, очень горд тем, что взял вершины – такие, как Турни Мысьленицкие (на ногах!) и Сарние Скалки. Шли страшные дожди, и в «Астории» уже включили обогреватели, да и еда не очень – например, клёцки и треска не принадлежат к верху гастрономических утех! Машина была с нами, постоянно мокла и была ужасно грязной, но мыть было некогда. Ездит как-то, ничего. Хоть и не разрешают мне ехать быстро – 120 как максимум, когда с Семьёй. Пока что никаких проблем с ней не было, но всего 4000 км прошла […], в гараже помещается еле-еле – приходится к самой стене аккуратно прижиматься».*

«Аккуратное прижимание к самой стене» обычно выглядело как удар декоративными бамперами «Мерседеса» в эту самую стену, в которой до сих пор (до 2015 года по крайней мере) остались памятные углубления.

Дом в Клинах мог казаться молодой семье вершиной мечтаний в 1958 году, но двадцатью годами спустя его жителям надоедала теснота. Там постоянно жили Станислав, Томаш и Барбара Лемы, мама Барбары, так называемая девочка-служанка, а время от времени ещё и племянник Лема – Михал Зых вместе с мамой. В начале семидесятых Лем, озабоченный плохими оценками племянника по польскому, начал надиктовывать ему оригинальные диктанты, которые импровизировал в момент занятий со свойственным ему чувством юмора:

> *«Печень с лучком, быстро жаренная, только чтобы не горькая от желчи, прекрасная закуска. Чтобы её приготовить, нужно купить машину и гнать её до тех пор, пока кого-то не собьёшь. Печень мертвецу не нужна, так что из его внутренностей нужно вынуть печень и потом положить в холодильник. Труп выбрасываем или*

*ставим в поле как пугало от птиц. Из печенки стариков только паштет получится, она жилистая. Лучше всего печень молодых мальчиков, которые обычно ездят на велосипедах. Проще всего сбить такого, у которого нет ни тормозов, ни протектора. Печень, добытую таким путём, не бросают на разогретое масло, а ополаскивают в кислоте, а если под рукой есть булка, то из мозжечка делается фарш. Вкусный этот парень холодным в желе (с хреном). Только нужно хорошо почистить, чтобы не хрустел на зубах. Есть повара, которые рекомендуют почки, но их порой трудно переварить. Маленьких детей можно есть только в дни поста».*

Взрослый Михал Зых нашёл свою старую тетрадь с этими диктантами и издал её в 2001 году. В 2002 году в рамках Дня Дислексии был организован общепольский диктант по тексту Лема, что пробудило протест правого депутата – Антония Стрыевского. Он обвинил Лема и министерство науки в пропаганде «каннибализма, а в будущем – цивилизационной смерти». Министерство, к счастью, не обратило на это внимания.

Михал Зых и сейчас живёт в том доме, только радикально его перестроил, сделав комфортное пространство для небольшой семьи. Трудно себе представить сейчас, как там помещалось семеро человек (плюс собаки и коты). Лемы начали думать о перестройке дома не позднее 1976 года[390], ведь кроме слишком тесного гаража им мешало отсутствие места для книг.

Это естественно, что писатель хотел бы иметь хотя бы по одному экземпляру каждого своего издания. В середине семидесятых Лему не хватало места даже для ящиков, в которые он засовывал книги – потому что о гордом экспонировании их на полках уже давно не шло и речи. Мечта иметь дом побольше исполнится только в следующем десятилетии.

Вероятно, самым странным, что произошло с Лемом, была ссора с Филипом Диком. Потому я выделю под неё отдельную линию в этой главе.

Когда в 1991 году были опубликованы письма Филипа Дика, а среди них и его параноидальные доносы в ФБР, донос на Лема стал в Польше настоящей сенсацией. Написанный в сентябре 1974 года (до конца неизвестно, был ли он выслан в Бюро расследований), он предупреждал об «обезличенной группе» со штаб-квартирой в Кракове, действующей под криптонимом «Л.Е.М.» и имеющей цель внедриться в американскую научную фантастику. Из-за интриг, которые плёл Дик против Лема, в 1976 году польского писателя лишили почетного членства в

*SFWA (*Американском Сообществе Писателей Научной Фантастики и Фэнтези), которое дали ему тремя годами ранее[391].

Это всё звучало так сенсационно, что можно лишь обижаться на Лема – почему он не рассказал эту историю Фиалковскому или Бересю или не описал её в одном из автобиографических фельетонов. Если, однако, посмотреть на это в более широком контексте, то для Лема, кажется, вся эта ситуация не имела ни малейшего значения. Важнее для него тогда были проблемы со здоровьем и цензурой. Насколько я его знаю из писем и комментариев родных и друзей, он посвящал намного больше внимания покупке «Мерседеса», чем переписке с Диком. И правильно – ведь всё это волнение было обычной бурей в стакане воды.

Всё началось с того, что в «Фантастике и футурологии» (1970), третьей и последней из больших эссеистических книг Лема, Дик был представлен едва ли не графоманом.

Хоть почти обо всех американских писателях Лем высказывался там плохо, никогда не имея высокого мнения о жанре, в котором сам работал (вспомним хотя бы его критическое мнение о «Пирксе» или «Возвращении со звёзд»).

Когда он выслал эту книгу Францу Роттенштайнеру – австрийскому любителю фантастики, который начал с ним переписываться в 1968 году, восхищённый «Непобедимым», тот заметил, что оценка Дика несправедлива, потому что базируется главным образом на романе «В ожидании прошлого», который даже его самые верные почитатели не называют высоким достижением писателя.

Однако в условиях работы над монографией об американской *science fiction* за железным занавесом Лем был обречён на те книги, которые попали ему в руки – потому что кто-то привозил, потому что имелись в библиотеке, потому что как раз нашёл в книжном магазине во время одной из (немногочисленных в шестидесятых годах) поездок на Запад. Выбор описанных в «Фантастике и футурологии» произведений был – хочешь не хочешь, надо это признать – очень случайный (хотя и так удивляет своей многогранностью, особенно принимая во внимание обстоятельства).

Роттенштайнер предложил выслать Лему лучшие произведения Дика[392]. Лем, конечно, согласился и в начале 1972 года получил посылку (там были книги Клайва Стейплза Льюиса, Альгиса Будриса и Урсулы Ле Гуин, которые Роттенштайнер посчитал достойными). Австриец (как и сам Дик) считал лучшим произведением Дика «Человека в Высоком

замке» – альтернативную историю, в которой немцы выигрывают Вторую мировую войну. Лем был не в восторге. Он ответил Роттенштайнеру, что, по его мнению, эту идею лучше реализовал Отто Базиль в «Если б фюрер это знал!» (1966, первое польское издание 1993)[393].

Зато его поразил «Убик»[394], который он признал «двух мнений быть не может – лучшим» романом Дика. В июле 1972 года он заявил, что намеревается издать эту книгу в «своём дорогом издательстве»[395], как в письме к Роттенштайнеру он описал «*Wydawnictwo Literackie*» (ох, если бы директор Курц это увидел!). Роттенштайнер предложил свою помощь в поиске прав на перевод[396] и познакомил писателей между собой.

Только была одна проблема: «*Wydawnictwo Literackie*» не могло платить авторам в валюте. Право на это имели только три издательства: «*PWN*», «*PIW*» и «*Czytelnik*». Это не было прописано ни в одном законе или распоряжении, просто происходило из чего-то, что в ПНР было важнее, чем конституция и кодексы – бюрократической инерции. Так было всегда, потому, если бы «*Wydawnictwo Literackie*» вдруг попыталось нарушить эту систему, распределение валюты отобрали бы у кого-то другого. Этот кто-то, разумеется, при первой же возможности отомстил бы, так что никто не был заинтересован в том, чтобы нарушать эти правила. Всё в том режиме так работало[397].

Сначала Лем недооценил эту проблему[398]. В конце концов, он и сам был в такой же ситуации, так что ему хорошо знакомо решение. Писатель должен приехать за счет издательства, забрать гонорар в местной валюте и потратить всё на месте – так он поступал в Праге, Москве или Берлине.

Действительно, часто это решало проблему. Феномен популярности в ПНР латиноамериканской литературы – моё поколение зачитывалось им в возрасте средней школы – частично объяснялся тем, что тамошние писатели просто соглашались на это. Они приезжали в Польшу за счёт издательства, их селили в Варшаве или Кракове в дорогом отеле, а потом они тратили свои злотые на что хотели. Один купил лошадь, а второй – почти как герой Бареи – выехал одетый в пять кафтанов, ещё кто-то за одну ночь спустил всё на девочек и алкоголь, а на следующий день требовал в долг, чтобы хотя бы дотянуть до конца пребывания. Об их приключениях до сих пор ходят анекдоты среди ветеранов издательского рынка ПНР, и это, безусловно, заслуживает отдельной книги.

Планы Лема в любом случае предусматривали подобное решение проблемы: «Дик должен смириться с тем, что деньги сможет получить только в злотых», – писал он Роттенштайнеру

ещё в 1971 году[399]. Однако Дик был более трудным случаем, чем латиноамериканские авторы. В 1971 году распался его очередной брак, он был на пороге бездомности. Зависимый от амфетаминов и других наркотиков, по уши в долгах от дилеров.

В то же время, когда Лем переписывался с Роттенштайнером на тему возможности издать его роман в Польше, Дик стал жертвой воровства. Полиция подозревала, что он сам всё подстроил, чтобы иметь оправдание перед своими кредиторами. Судя по тому, как этот период своей жизни Дик описывает в романах «Валис» и «Помутнение», так могло быть на самом деле.

В феврале 1972 года Дик был приглашён как почётный гость на канадский конвент *science fiction* в Ванкувер. Он решил не возвращаться домой в Окленд, но в Ванкувере ему тоже некуда было ехать. Людям, которые пригласили его к себе домой, он быстро надоел – у него был нестандартный суточный распорядок, приступы страха или гнева, он приглашал гостей без ведома хозяев.

В марте он попытался покончить с собой. Потом начал лечиться от наркотической зависимости и, кажется, достаточно долго сохранял трезвость, но обезболивающее вещество, которое дали ему во время визита к стоматологу, привело к очередным галлюцинациям. В феврале и марте 1974 года они были особенно сильными.

Дик называл это «откровением 2-3-74». Он был убеждён, что с неба за ним постоянно наблюдает какое-то странное лицо. Он также считал, что до сих пор существует Римская империя, а он является христианином, преследуемым Нероном. Он утверждал, что находится в постоянном контакте с внеземным искусственным интеллектом, который назвал ВАЛИС.

Короче говоря, у Дика на тот момент были проблемы поважнее, чем переписка с Лемом, потому, вероятно, дело о его доносе обычно не упоминается в биографических текстах. Доносы в ФБР он писал на многих людей, с которыми встречался или переписывался, – все в равной степени являют собой сюрреалистическую ерунду (кроме коммунистической группировки под криптонимом «Л.Е.М», Дик открыл, например, международный заговор неонацистов, которые вынуждали его передавать кодированные сообщения в романах).

Самым важным для него было другое. После издания его романов высокими тиражами за железным занавесом его ожидали деньги. Его не интересовали идеи наподобие «поехать туда» и «потратить всё на месте», он хотел иметь доллары, которые выплатит своим кредиторам и за которые сможет купить наркотики.

Лем знал о зависимости Дика[400]. Он относился к этому с врачебной толерантностью, потому что для врача наркомания – не грех, а болезнь. «Он больной и нуждается в наличке», – писал он Роттенштайнеру[401]. Возможно, если бы американец напрямую задал вопрос, сможет ли он в Кракове достать какой-то товар, Лем бы ответил ему, что это вполне возможно – хотя бы через Ноэми Мадейскую, которая его самого угощала псилоцибином несколько лет назад. И всё разрешилось бы тогда менее драматично.

Из писем, которые кружили по схеме Лем-Дик-Роттенштайнер (мне известен только краковский источник – то есть то, что осталось в архиве Лема), выходит, что Дик изначально надеялся, что Лем войдёт с ним в сделку, при которой Дик заберёт долларовые гонорары за издание Лема в США, а Лем за это заберёт злотые, которые составляли гонорар Дика в ПНР[402].

Такая транзакция, вероятно, привела бы Лема за решётку, потому что валютные операции без согласия министерства были в ПНР преступлением. Но даже если представить себе, что нечто подобное было бы возможно, Лем не хотел чего-то подобного. Доллары в ПНР были на вес золота. Их держали на чёрный день, потому что человек никогда не знал, когда понадобятся продукты питания, лекарства или автомобильные запчасти, которые можно купить только за валюту. В шестидесятые Лем регулярно покупал за доллары кокс для отопления дома – за злотые его нигде нельзя было достать.

Между 1972 и 1973 годами Лем терпеливо настаивал, что у Дика нет другого выхода, кроме как приехать в Польшу и забрать свой гонорар в злотых. Дик сначала серьёзно подумывал над этим предложением, безуспешно пытаясь понять, сколько злотых у него останется, если вычесть стоимость путешествия, и сколько это будет в долларах. Но на этот вопрос никто не брался отвечать – ни Лем, ни директор Курц. Гонорар писателя в ПНР зависел от тиража. Тираж зависел от распределения бумаги, потому – в конечном итоге – от решения министерства. Наперёд писатель мог получить только аванс, но большинство расчетов происходило после выхода книги (Лем многократно жаловался в письмах к друзьям, что из-за таких расчётов устроил не один скандал).

Дик не мог этого понять и не верил таким объяснениям. И это очевидно. Экономика ПНР не была понятна даже психически здоровому человеку в трезвом состоянии – не случайно на родине этого политического режима родилась пословица «Без водки не разберёшься»[403]. Дик даже и без обычной паранойи имел право подозревать, что кто-то старается его обдурить.

Из писем Дика сразу видно, что их писал человек с эмоциональными проблемами. В марте 1973 года Лем предложил Дику, что «*Wydawnictwo Literackie*» может взять на себя все проблемы, связанные с покупкой билета (при условии, что перевозчиком будут польские авиалинии «Lot»)[404]. Одновременно он отмечал, что всё зависит от того, позволяет ли совершать такие путешествия «состояние здоровья Дика», что может быть попыткой поднять тему наркотиков. Дик, вероятно, намёка не понял, так как ответил с преувеличенным откровением, свойственным людям в маниакальном состоянии, когда им все вокруг кажутся лучшими друзьями. «Это так прекрасно, ваша вежливость довела меня до слёз», – отвечал он в апреле[405]. Что касается здоровья, он ответил, что, кроме высокого давления, его ничего не беспокоит. Лем ответил на это заявление письмом, в котором подчёркивал, что на данный момент не может заплатить Дику конкретную сумму[406]. В мае Дик отреагировал взрывом гнева – «я вынужден признать ваши комментарии за личную обиду»[407].

Неизвестно, что именно так раздражало Дика. Лем ответил осторожным письмом, в котором подчеркнул, что плохо говорит на английском, потому понимает, что его письма могут звучать как бред («*gibberish*»)[408], но он ни в коем случае не хотел обидеть Дика. В июне снова произошла смена настроения – в очередном преувеличенно радостном письме он выражал надежду, что «они останутся друзьями навсегда»[409].

Далее он хотел узнать, сколько получит за «Убик», и спрашивал это попеременно у Лема и Роттенштайнера. В июле 1974 года Лем отреагировал уже умышленно невежливым письмом, в котором писал, что «не хочет писать на эту тему» и все дальнейшие вопросы Дик должен направлять непосредственно по адресу: «"*Wydawnictwo Literackie*", ул. Длуга, 1, Краков». Он также заметил, что эту серию он редактирует ради социального блага и не имеет никакой выгоды, кроме «чиряка на заднице – такого, как письма, которые Вы пишете обо мне пану Роттенштайнеру»[410].

Дик угрожал, что отзовёт права на перевод, которые передал в 1972 году. Однако сейчас он ссылался на своё психическое заболевание (которое отрицал в письмах в 1973 году, говоря, что его беспокоит только давление). Он угрожал судебным процессом, в котором утверждал бы, что его вынудили подписать бумаги в момент, когда он был не в себе[411].

На самом деле всё это происходит как раз в период, когда с Диком разговаривают лица с неба, а император Нерон преследует его симулякрами. Насколько мне известно, на июльское письмо 1974 года Дик уже не ответил, по крайней мере Лем его не

получил. Какой-то реакцией, вероятно, был донос, написанный в сентябре того же года в ФБР[412].

Интересная вещь: Дик под этим доносом подписался совсем иначе, нежели на письмах Лему. Письма Лему имели размашистую подпись с именем и фамилией. Донос в ФБР выглядел, как будто бы его написал наполовину грамотный человек – печатными буквами было вписано «К. ДИК». Может, Дик подписался левой рукой? Но зачем? Это так же загадочно, как и причины, по которым он, собственно, эти доносы писал.

У Лема не было причин, чтобы бояться ФБР. Он не собирался в США. Вся афёра коснулась его посредственно – Дик рассказывал американским писателям, что Лем его обокрал. В это им было уже проще поверить, и этим объясняется факт, что его исключили из *SFWA*. Для Лема это было так же неприятно, как и тот факт, что он вынужден был объяснять Урсуле Ле Гуин, почему её книга не может быть издана (а значит, она не получит за неё гонорар). Он боялся, что в этой ситуации Ле Гуин может поверить скорее Дику – это был ещё один повод, почему Лем так злился на коммунистический режим в 1978 году, когда объявил окончание всякого сотрудничества с пээнэровскими издательствами.

А теперь посмотрим на эту ситуацию ещё раз, но с перспективы времени и другого политического строя. Как объяснить то, что два популярных романа – один об ученике в школе магии, а второй о взрыве на базе на Луне – не могут выйти из-за бюрократии и цензуры? Я ещё помню тот режим, но не удивлюсь, если молодое поколение или иностранец не поймёт ничего из вышеприведённых объяснений.

Я начал этот раздел с заявления, что Лем в семидесятых чувствовал себя счастливым человеком. Если приведённые выше описания проблем и препираний это перечеркивают, то спешу объяснить, что, несмотря ни на что, я вижу огромную разницу между настроением писем в этом десятилетии и прошедшем.

В семидесятых годах Лем и его приятели имели понятного противника – коммунистическую систему. Но вот раньше, в шестидесятых, их постоянно мучила неуверенность, что это с ними что-то не так или с их страной. Не так уж просто принять второй ответ, отсюда и сомнения Лема, Мрожека, Блоньского, Щепаньского…

Герековское Гориллище принесло им хотя бы то, что все они лишились сомнений. Уже была непоколебимая уверенность. Сомнения могли касаться разве что стратегии сопротивления, но не его необходимости.

Решаясь в 1978 году на внутреннюю эмиграцию, Лем ожидал, что она будет долгой. Мы помним, что в марте 1978 года в

«Прогнозах Хохла» он не видел никакой надежды для Польши, ожидая только террора и распада.

Однако, как это бывает время от времени в истории нашей страны, надежда была ближе, чем кто-либо другой – даже Лем – мог предсказать. В октябре 1978 года прогремела новость, что поляк стал Папой Римским. Почему это было важно для Лема – фантаста и атеиста? Прежде всего потому, что власти запаниковали, не зная, как на это реагировать. Гориллище впервые почувствовало себя сконфуженным, испуганным и несмелым.

Щепаньский описывает, как в тот памятный день на собрании краковского Союза писателей представители Гражданской милиции вместе с партийными представителями заявляли об антипольском заговоре Епископата как раз в тот момент, когда буфетчица сообщила им всем новость. Партийный представитель замер, после чего повернулся к представителю Гражданской милиции: «Через десять минут я хочу иметь у себя на столе досье этого кардинала», – и покинул собрание[413].

Остался только Владислав Махеек, который уже почти тридцать лет пил кровь Лему, Щепаньскому и Блоньскому. Он обратился в сторону работников «*Tygodnik Powszechny*»: «Я первым выставлю вам пол-литра. Теперь мы все будем вам задницы целовать».

Лем знал Кароля Войтылу лично. Это не было какое-то близкое знакомство, как со Щепаньским, но они порой встречались в редакции «*Tygodnik Powszechny*» и несколько раз на домашних дружеских встречах.

Этот вечер – 16 октября 1978 года – Лем провёл у себя дома с друзьями – Блоньским и Щепаньским. Настроение царило прекрасное. «Чувство полного домашнего уюта – среди своих», – записал в дневнике Щепаньский.

# IX
# Мир на Земле

Кажется, Лем никогда не наблюдал за общественными делами с таким оптимизмом, как осенью 1980 года, когда писал другу «*I am in a moderately good state of mind*»[414] – «Я в меру в добром расположении духа». В более ранних, равно как и позднейших письмах, порой заметна радость писателя, когда он рассказывал про горные поездки, игры с сыном или модели машин, но, когда речь шла о политике и обществе, он всю жизнь был пессимистом. На этом фоне «в меру доброе расположение духа» выглядит почти эйфорией.

Потому что такое настроение царило тогда в Польше. Я был тогда ребёнком, но хорошо помню эйфорию взрослых. Победные забастовки случались в Польше и раньше, хотя их никогда никто не называл забастовками – только простоями в работе. Ранние успехи, однако, были случайны и чаще всего локальны – работникам удавалось склонить власть к какой-то мелкой уступке наподобие отмены повышения цен на продукты питания или небольшие повышения зарплат.

30 августа 1980 года, однако, произошло нечто беспрецедентное. Забастовки закончились не жестоким усмирением, как до того, а принуждением власти сделать более серьёзные уступки. Рабочим признали право создать Независимый Самоуправленческий Профессиональный Союз «Солидарность». Это дало полякам надежду на свободу, которую они в результате обрели, но не так быстро, как тогда надеялись самые отъявленные оптимисты.

Лем к ним не принадлежал, но в его жизни тоже началось десятилетие самых больших политических перемен со времён войны. В отличие от всех предыдущих – это закончится счастливо.

В начале восьмидесятых всё ещё продолжалось загнивание администрации Герека. Зиму 1979/1980 вспоминали потом как зиму столетия. Страна, которая и без того уже рассыпалась, сейчас была полностью парализована – не было света, поезда замерли на путях, сугробы отрезали от цивилизации целые города.

Потом очень быстро наступил август 1980-го и прекрасный карнавал свободы, когда невозможное стало возможным – разрешали показы фильмов, которые до того были отложены на дальние полки, принят закон о цензуре (что парадоксально, это было хорошей новостью, потому что, по крайней мере, прежнюю

систему неофициальных запретов и списков заменили прозрачные правила игры), директорами во всех творческих объединениях были кандидаты, чьи имена ранее ассоциировались с оппозицией. Во главе Союза польских писателей стал Ян Юзеф Щепаньский.

Вскоре, однако, наступило 13 декабря 1981 года и травма военного положения. Вернулось унижение людей, и воцарился триумф аппарата агрессии. Началось десятилетие стагнации. И наконец – круглый стол и частично свободные выборы 4 июня 1989 года, которые закончились таким ярким поражением прежней власти, что под конец 1989 года премьер-министром стал оппозиционер Тадеуш Мазовецкий, знакомый Лема из редакции «*Tygodnik Powszechny*». Что за политические американские горки!

Так же, как и раньше, очередной поворот в истории Польши сильно отразился на жизни Лема. Он был в эйфории, когда вся его страна была в эйфории «Солидарности», и был в депрессии, когда вся страна была в ярузельской депрессии. В момент, когда начались эти великие качели, перед ним было ещё двадцать пять лет жизни, но он уже вошел в ту фазу, когда люди много что делают в последний раз.

Обычно мы не осознаём этого. Томаш Лем предполагал, что его отец в конце семидесятых осознавал это, и его всё время преследовала мысль, что он чего-то не успеет.

В октябре 1979 года Лем в последний раз купил новую машину[415]. Это снова был «Мерседес», но в этот раз Лем сам уладил все формальности во время своих визитов в Берлин – возможно, подозревая, что все его автомобильные проблемы до этих пор происходили от того, что кто-то чего-то недосмотрел во время получения машины. Это была модель «*280 SE*» зеленоватого оттенка под названием «*Mimosengelb 618*». В Польше эта серия «Мерседесов» ассоциируется прежде всего с «*W 126*». Эти машины и сегодня имеют репутацию «неуничтожаемых», этот лемовский был продан в 2008 году на благотворительном аукционе. Это было хорошее предложение, так как машина имела низкий пробег как для своего возраста (сто с небольшим тысяч километров). Лем немного им радовался. Михал Зых вспоминает[416], что его дядя, который на самом деле никогда не был таким хорошим водителем, как писал об этом в письмах друзьям в шестидесятые годы, начал бояться самого себя за рулём.

На новом «Мерседесе» он в основном ездил в Краков за покупками, но в один день вернулся напуганный – ему казалось, что он стукнул кого-то на парковке. Он попросил Михала, чтобы тот поехал проверить, что там случилось, и, если необходимо,

возместил ущерб потерпевшему. На месте Михал определил, что дядя, вероятно, ударился в какой-то столбик, но это был уже конец самостоятельных поездок Станислава Лема за покупками. С тех пор это задание взял на себя Михал. Когда он впервые появился в отеле «*Cracovia*», чтобы забрать газеты для Станислава Лема, ему вместе с прессой вручили эклеры из пекарни отеля (которая, кстати говоря, работает до сих пор – по крайней мере, работала, когда я там был в 2015 году). Он был удивлён этим, но понял смысл этого приобретения много лет спустя, когда делал ремонт дома в Клинах.

Лем тайком саботировал усилия своей жены, которая делала всё, чтобы он похудел, отправляясь в Краков под разными предлогами, он покупал сладости, которые потом тайно съедал в гараже. Он выбрасывал обёртки за шкаф, который Михал Зых отодвинул только после смерти писателя, уже в следующем веке.

В 1979 году Лем в последний раз почувствовал вдохновение написать новый роман. Позже будет ещё «Фиаско», но последний роман, который Лем писал с радостью, по собственной непринуждённой воле, был «Осмотр на месте». Это предпоследний художественный текст, если не принимать во внимание новеллы «Мир на Земле».

Идея появилась летом 1979 года. Он описал её в письме Роттенштайнеру так: Ийон Тихий возвращается на планету Энтеропию, описанную в «Путешествии четырнадцатом», и узнаёт, что вообще не понял, что происходило с этими курдлями. Потому он пишет «опровержение» – такая была начальная версия названия.

Оказывается, что на планете царит конфликт, который является аллегорией земного конфликта Восток – Запад. Одна империя – Люзания (Лем описывает «Америку через 500 лет») – выбралась наконец из цивилизационных кризисов: таких как «террор, анархия и так далее», вводя общественную «синтетику», то есть «синтетическую этику», которая предполагала, что в Люзании никто никому не может нанести вред, даже если хотел бы – ему не позволят искусственно модифицированные законы природы. Вторая, Курдляндия, пошла по иному пути. Населяющие её курдли, которые оказались мистификацией, потому на самом деле это были не животные, а их имитации (в письме к Роттенштайнеру: *Pseudotiere*), приводимые в действие силой мышц самих жителей. А всё это ради идеологии возвращения к первичным идеалам, когда прадавние жители этой планеты пряталась от метеоритов в курдлях.

Описанное выше краткое содержание «Осмотра на месте» кажется ужасно тривиальным. Тут ещё нет третьей империи

(Кливии), нет дискуссии философов, нет швейцарской линии, нет Батареи Апробирующих Модулей, сражающейся с Батареей Оппонирующих Модулей, то есть всего, что заставляет многих почитателей Лема – в том числе меня – называть «Осмотр на месте» одним из его лучших романов. Должно быть, Лему самому было жаль таланта на написание очередной аллегории с банальным политическим ключом. В начале декабря 1980 года он начал писать «Осмотр…» заново. Одним из свидетелей этого был Ян Юзеф Щепаньский, который 7 декабря записал в своём дневнике:

> *«У Баси Лем на именинах. Сташек рассказывал мне свою новую книгу (пишет её как раз). Невероятный размах фантазии и потрясающие способности интеллекта всегда меня поражали. Это какой-то вид пирамид, пагоды фантастических миров и аллегорий, которые вырастают одно из другого. И как же смешно! Встаёт в 4 утра и пишет, катаясь по полу от смеха. Завидую!»*

Это уже был тот самый, второй, «Осмотр на месте». К первому не подходило бы описание «какой-то вид пирамид». Роман, который в итоге получился, значительно более сложный, чем его первая версия.

Добавлена была целая земная линия, в рамках которой Ийон Тихий пытается понять, что на этой планете вообще происходит, на основании противоречивых источников – как инопланетянин, пытающийся понять Землю на основании «Правды» или «*International Herald Tribune*» (так Лем описал это Бересю). Помогают ему в этом искусственные интеллекты, которые пытаются добыть из этих источников что-то усреднённое.

А из-за того, что это почти невозможно, эти интеллекты собираются в группы – Батарея Апробирующих Модулей (БАМ), Батарея Оппонирующих Модулей (БОМ) или Батарея Уточняющих Модулей (БУМ). В конце входит Модуль Согласования Гипотез (МОСГ). Тихий что-то читает, что выглядит так (с небольшими сокращениями):

> *«Планету населяет разумная раса (БАМ), две разумные расы (БОМ), зависит от точки зрения (МОСГ). Энциане – человекообразный вид (БАМ), их человекообразность – личиночная стадия метаморфозы […] (БОМ), они лишь по-разному одеваются (БУМ). […] Пол выражен отчётливо (БАМ). Нет полов (БУМ). Они есть, но противоположны земным (БОМ)»*[417].

Лем, вероятно, отобразил здесь одно из своих интеллектуальных приключений, во время которых его прекрасный «МОСГ» пытался понять проблему, черпая из разных источников. В земной библиотеке Тихий не мог ничего узнать о том, существуют ли курдли – как утверждают курдлянские источники (КУР) – или являются мистификацией, как утверждают люзанские (ЛЮЗ). И как понимать всё это с полами? Потому он отправляется в своё последнее межзвёздное путешествие – а то, что он понял в результате осмотра на месте, я вам не расскажу, потому что роман действительно читается так, как написал его автор – «катаясь по полу от смеха».

Прочтение такой простой аллегории «Восток – Запад» невозможно, потому что появляется третья империя. Кливия. Как её интерпретировать? Китай? Третий рейх? Этот роман слишком хорош для таких простых интерпретаций.

Ежи Яжембский рассказывает прекрасный анекдот о том, как Лем критиковал его эссе, в котором Яжембский представил последовательную интерпретацию «Осмотра на месте» как холодной войны. «Так вы же сами мне это сказали!» – аргументировал удивлённый Яжембский. «Не надо было мне верить!» – выдал ему Лем[418].

«Ни с одной книгой я не мучился так, как с «Осмотром…», – говорил он Бересю. И оно того стоило! Когда он нашёл правильную формулу, работа пошла как по маслу, как во время тех великих творческих извержений шестидесятых годов.

Сюжет он обдумал в сентябре 1980 года[419]. В середине декабря готово было «уже около 100 страниц»[420]. В канун Рождества Лем дошел до сто двадцатой страницы[421] и – как видим из следующего письма – закончил описывать кульминационную сцену «разговора философов», в которой на тему Люзании и Курдляндии спорят Поппер, Рассел, Фейерабенд, а вдобавок ещё Шекспир и один Выживший в холокосте, который вмешивается в дискуссию интеллектуалов, вероятно, как *porte-parole* самого Лема, говоря, что не нужно создавать идеальный строй, достаточно такого, в котором один человек не убивает другого, чтобы из его шкуры сделать себе абажур.

В начале января готовы были уже сто семьдесят страниц[422], что означало приближение окончания работы над черновиком. В марте Лем выслал окончательную версию (снова!) в «*Wydawnictwo Literackie*», потому что карнавал «Солидарности» перечеркнул все старые обиды. Баранчака тоже вычеркнули из списков цензуры, и, наконец, мог выйти «Волшебник Земноморья», хоть он и попал в книжные магазины (как и «Осмотр на месте») только в следующем году, когда Лем уже

пребывал в своей берлинской квазиэмиграции.

Я чувствую особую близость с этой книгой также потому, что это была первая книга Лема, самостоятельно купленная мной в книжном магазине. Раньше я читал всё, что было у меня дома, у одноклассника дома или, наконец, в библиотеке. В 1982 году тринадцатилетним мальчиком я впервые мог самостоятельно пойти в книжный магазин (которого уже не существует) на варшавском проспекте Объединения и купить новую книгу Лема!

Лем вложил в этот роман своё разочарование Западом. «Запад больше не рай», – писал он в 1982 году в письме Тадевальду[423]. Писателя раздражало, что Германия и Австрия не понесли никакого наказания за Вторую мировую войну и жили в благосостоянии, которого даже вообразить себе не могли поляки или русские, которые теоретически были в лагере победителей.

Больше всего его злило то, что западное общество не осознавало того, как им хорошо, – постоянно только жаловались, что им всего мало. Лема особенно раздражали левые политические силы Западной Европы со своими жалобами на капитализм и радостным непониманием, что есть вещи намного хуже, чем духовная пустота и пресыщенность. Уже в 1977 году он жаловался в письме, что в Германии основой мыслей «интеллигентных молодых людей» являются марксизм и жалоба на «скуку, происходящую от Пресыщенности и Общего Уровня Спокойствия»[424]. Подобные мотивы заметны и в других письмах: Лем жаловался, что все интеллигентные немцы – это левые, а когда Лем целенаправленно искал консерваторов, они все оказывались идиотами. Он действительно их искал – когда Тадевальд хотел свести его с группой политически неравнодушных молодых людей в Вуппертале, он напрямую ответил, что согласен, только если речь идёт о ХДС/ХСС[425][426].

Правые политические силы Германии разочаровали Лема спором, который позднее был назван (несколько с преувеличением) спором историков («*Historikerstreit*»). Его основы были чисто политические. Немецкие интеллектуальные работники, прежде всего Эрнст Нольте, их неформальный гуру, начали подвергать сомнениям прежнее понимание холокоста как явления беспрецедентного, единственного в своём роде, и описывать его как убийство с грабежом. Жестокое, преступное, непростительное, но всё же объясняемое. А ко всему прочему, не такое уж и исключительное, потому что и Сталин, потому что и Мао…

В Германии в семидесятых и восьмидесятых такая переоценка имела не только характер интеллектуальных игр, потому что возникали, что очевидно, и политические последствия.

Официальная риторика послевоенной политики ФРГ была таковой, что раздел страны и разные «акты покаяния» являются ценой, которую Германия вынуждена заплатить за ужасные преступления Третьего рейха. Однако если бы оказалось, что Гитлер не был таким исключительным преступником, а только таким же, как многие другие, то почему Германия сегодня должна понести такое страшное наказание за его деяния, если Россия не искупает преступлений Сталина?

Лем считал такую логику абсурдной, хотя бы потому, что хорошо знал СССР и ФРГ, а потому понимал, что всё как раз наоборот. Жители России страдали из-за преступлений Сталина ещё много лет после его смерти, а жители ФРГ «перебирали сотни видов цветных кальсон» и плавали «в бассейнах с подогретой морской водой» (так он писал в письмах).

Как неисторик, он не чувствовал себя компетентным, чтобы непосредственно включиться в этот спор. Весной 1979 года он решил, однако, обратиться к знакомой формуле апокрифа и выдумал фиктивного немецкого историка Хорста Асперникуса[427], якобы специалиста в этой сфере, который подытожил исследования над человекоубийством в общем и холокостом в частности в двухтомной монографии «Человекоубийство». Так была создана «Провокация» – наверное, наиболее спорный из всех его апокрифов, потому что единственный кажется рецензией реально существующей книги. Вышел он летом 1980 года в ежемесячнике «*Odra*».

Провокация удалась. Лем с радостью хвалился Роттенштайнеру в письме, что дружественный ему журналист «*Tygodnik Powszechny*» вывел некоего «профессора М.» из Института новейшей истории Польской академии наук на разговор, в котором тот утверждал, что прекрасно знает книгу Асперникуса[428]. Со времён детства Лема ничто не радовало так, как этот фокус!

Ради оправдания «профессора М.» я добавлю, что такая книга действительно должна была родиться. Асперникус – согласно Лему – детально описал историю разных массовых убийств до Гитлера и после, доходя аж до современного терроризма (Лем/Асперникус описывал в том числе «левый» терроризм семидесятых, а его тезисы отлично подходили бы для описания современного террора исламистов).

Всю литературу, анализирующую феномен нацизма, Асперникус делит на три школы – гангстерскую, социоэкономическую и нигилистическую. Они соответственно представляют Гитлера либо как бандита, который хотел заполучить еврейское имущество, либо как последствие

экономического кризиса и упадка Веймарской республики, либо как воплощение чистого зла.

Асперникус отрицает все эти интерпретации. Грабёж ничего не объясняет, так как *per saldo* Третий рейх сам доплачивал за убийство евреев. С чисто циничной точки зрения выгоднее было бы оставить их в живых и эксплуатировать как рабсилу. Социоэкономическая школа объясняет ещё меньше. Если бы Гитлер заботился только о пропаганде (как некоторые утверждают), он бы не делал из холокоста тайну. Представление Гитлера как гения преступления противоречит идее, что его действия были великой саморазрушительной неудачей.

Лем как Асперникус обращает внимание на мелочь, которую обычно пропускают авторы альтернативных историй типа «если бы Гитлер выиграл войну» (равно как и современные версии – «а-ля Польша должна была с Гитлером пойти против Сталина»). Гитлер не мог выиграть эту войну, даже если бы ему удалось победить СССР. Известно, что Америка в 1945 году уже имела бы атомную бомбу независимо от ситуации в Европе, а у Германии её не было, потому что побочным эффектом антисемитских чисток в университетах был паралич ядерной физики.

Потому – объясняет Лем/Асперникус – чем дольше бы Гитлер был при власти, тем страшнее было бы поражение Германии, потому что в лучшем – то есть худшем – случае всё закончилось бы атомными налётами на Берлин в 1945 или 1946 году.

Чем Асперникус объясняет холокост? Здесь Лем – как якобы рецензент «Человекоубийства» – становится более осторожным, но обращает внимание на странную склонность нацистов к кичу и глубоко противоречивому переплетению садизма с пуританством. Асперникус считает, что Гитлер и его последователи, как толпа недоучек, примитивных выскочек, поддались первичному инстинкту. Они повели себя как пещерные люди, вооружённые автоматами. Атавизм выиграл в борьбе с разумом. Этот же механизм привёл к тому, что современные (Лему) террористы действуют в разных Красных Бригадах (если бы это было написано сейчас, то послужило бы прекрасной иллюстрацией террора так называемого Исламского государства).

«Провокация» показала Гитлера не как мастера преступления, гениального политика или манихейского демиурга зла, а как обезьяну с гранатой. Это созвучно с критическим воззрением на *homo sapiens*, которое заметно даже в самых ранних текстах Лема («Человек с Марса»), равно как и в его творчестве позднейшего периода – в шутках над бледнотиками, клеюшниками и тошняками, а также идее изменить положение вещей (в виде бетризации в «Возвращении со звёзд» или этикосферы в «Осмотре

на месте»). Люди сами для себя оказываются самыми страшными врагами.

И как будто в роли подтверждения лемовского пессимизма карнавал оттепели, начатый «Солидарностью», закончился страшной ночью 13 декабря 1981 года. Сразу после полуночи перестали работать телефоны, а на первой программе радио и телевидения на повторе крутили речь генерала Ярузельского о введении в Польше военного положения.

Лем узнал обо всём первым в доме – он как всегда встал ещё до рассвета. Он услышал обо всём по радио. Кроме речи Ярузельского, из которой мало что можно было понять, можно было ещё переключиться на канал «*Wolna Europa*», что он, конечно, сразу и сделал.

Барбара Лем вспоминает, что муж разбудил её в состоянии наивысшего возбуждения, а согласно воспоминаниям Томаша – он тогда спал в одной комнате с матерью – было пять утра. Писатель сразу же приготовил бумаги, которые признал опасными на случай обыска, и попросил жену с сестрой, чтобы помогли ему сжечь эти документы за домом[429].

Это сейчас там располагается обустроенный городской парк, а в 1981 году в заборе дома в Клинах была задняя калитка, которая выходила на дикое поле. Лем сжигал там неудавшиеся версии книг. След от костра я видел в 2006 году и благодарю за это Михала Зыха. Случайный наблюдатель, который вышел бы в поле на рассвете 13 декабря 1981 года, увидел бы странную картину: три силуэта, закутанные в халаты, в тапочках среди сугробов снега таскали в костёр новые и новые печатные страницы.

Что Лем хотел сжечь? Хоть писатель постоянно следил за тем, чтобы его фамилия не появилась ни на одном публично распространяемом списке подписантов, он давно поддерживал оппозиционные инициативы, в которых принимал участие его друг Ян Юзеф Щепаньский. Участвовал в работе Общества научных курсов и Польского независимого соглашения – подпольного *think tank* (аналитического центра), разрабатывающего решения для будущей независимой Польши (хотя независимость тогда и казалась чем-то более далёким, чем межзвёздные путешествия, однако первый некоммунистический премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, также связанный с этим Соглашением, использовал в заграничной политической практике выработанные этой организацией положения.

Лем мог бояться, что после периода относительной оттепели вернётся что-то наподобие сталинского террора. Сегодня мы знаем, что этого не произошло. Хотя военное положение тоже

принесло смертельные жертвы, но как раз Лему, вероятно, ничего не угрожало. Однако его страхи были более чем понятны. Ведь 31 августа 1939 года во Львове семья Лемов тоже чувствовала себя в безопасности – никто тогда не поверил бы, что уже совсем скоро по воле Сталина и Гитлера люди будут забивать друг друга палками насмерть из-за неправильного происхождения.

Томаш Лем описывает тогдашнее состояние отца как депрессию. Станислав Бересь между ноябрём 1981-го и августом 1982 года провёл с Лемом больше десяти встреч, результатом которых была цитируемая мною книга «Так говорит… Лем». Её последний раздел называется «*Черная безвыходность ситуации*».

Лем, должно быть, чувствовал себя пленённым в чем-то подобном. Он знал, что эмиграция не лучшее решение. Его предупреждал об этом Славомир Мрожек. Его ментор со студенческих времён, профессор Хойновский, с которым Лем постоянно поддерживал контакт, тоже считал свой выезд из страны наибольшей в жизни ошибкой[430].

Вместе с тем Лем не мог забыть, что из Львова из всего их рода живым остался только Марьян Гемар – именно потому, что вовремя уехал. Благодаря этому он не только спас себе жизнь, но и избежал всех страданий и страхов, которые стали уделом Самюэля, Сабины и Станислава Лемов.

Лем многократно – в 1968 и 1976 годах – задавал себе вопрос, который так типичен для этой страны между Балтийским морем и Карпатами. *Уже? Сейчас*? Через мгновение наша страна снова превратится в ловушку без выхода и начнётся очередная резня?

И в очередной раз задавая себе этот вопрос, сейчас он ответит «да». Из воспоминаний Томаша выходит, что отец называл разные аргументы в пользу эмиграции, на первый взгляд очень логичные, но было видно, что настоящей причины такого решения он не хочет открывать. Томаш предполагает – и трудно с ним не согласиться, – что основную роль сыграла военная травма.

Первым барьером было получение паспорта. Насколько известно, Лему никогда не отказывали в выдаче загранпаспорта, но в 1973 году ему случилось в последний момент отзывать своё участие в Книжной ярмарке во Франкфурте, потому что управление не успело вовремя рассмотреть его заявление[431]. Если бы сейчас в прошении выдать паспорт он искренне написал, что думает об эмиграции, то мог самым обычным образом его не получить. Потому он пошёл на хитрость, воспользовавшись поводом, каким были формально незаконченные съёмки «Насморка» в немецкой студии.

Через три недели после введения военного положения Лем

отправил Вольфгангу Тадевальду открытку – письмо, лишённое конверта, чтобы цензура не мучилась с его прочтением, в которой упомянул о встрече по поводу съёмок «Насморка», которая якобы произошла во время его предыдущего пребывания в Западном Берлине[432]. Это была мистификация, но польские власти не имели возможности её проверить – с другой стороны, у Лема было достаточно вещественных доказательств того, что работа над фильмом идёт беспрерывно. Он подписал договор и получил первый транш аванса. В этой ситуации, если бы власти отказали ему в загранпаспорте, то гарантировали бы себе очередной международный скандал – Лему даже не нужно было на это намекать, это напрямую вытекало из описанного в письме фиктивного сценария: вот в середине апреля немецкие сценаристы будут ждать польского писателя в Берлине, но узнают, что его не выпустили из страны…

Паспорт он, конечно, получил. Он добрался до Берлина 14 апреля и на следующий же день выслал Тадевальду письмо, в котором искренне рассказал о своих переживаниях. Из того письма видно, что писатель ещё сам не знал, что с собой делать. Он не исключал и того, чтобы попросить политического убежища в одной из трёх стран – ФРГ, Австрии или Великобритании.

Его самой большой тревогой была судьба сына: он предпочитал не прерывать обучения Томаша, который в 1983 году должен был окончить начальную школу. Вместе с тем Лем не хотел, чтобы сын оставался в Польше до 18-летнего возраста, когда его призовут в армию (из-за военного положения резервистов мобилизовывали, не обращая внимания на такие причины, как обучение или семейные обстоятельства). В этом вопросе Лем, однако, преувеличивал. Действие режима военного положения приостановили 31 декабря 1982 года, а 22 июля 1983 года отменили вовсе, но в апреле 1982 года никто не мог этого предсказать. Это с тем же успехом могло тянуться десятилетиями.

В итоге, к счастью, обошлось без таких решений, как политубежище. Станислав Лем никогда не был эмигрантом. Его продлившаяся до 1987 года квазиэмиграция формально всегда считалась стипендией. Сначала с помощью своего немецкого издателя Лем получил стипендию берлинского *Wissenschaftskolleg zu Berlin* на академический год 1981/1982 (кстати говоря, первый для этого учреждения). Позже при помощи Роттенштайнера он уехал в Австрию по приглашению тамошнего Союза писателей.

Хотя настоящим поводом выезда было отсутствие доверия к власти Польской Народной Республики, формально Лем всё время пользовался паспортом ПНР, равно как и его семья. Он

избегал резких движений, которые имели бы необратимые последствия. Когда осенью 1983 года в «*Die Welt*» написали, что Лем «выбрал свободу» (тогда таким эвфемизмом назвали его эмиграцию), он выслал в редакцию опровержение, заявив, что просто принял приглашение австрийского Союза писателей, а не эмигрировал[433].

Вместе с тем уже весной 1983 года Лем был точно уверен, что в Польше для него нет места. В письме к Тадевальду он описывал свою запланированную на июнь поездку в Польшу как «последний раз»[434]. Об этом свидетельствуют воспоминания Томаша Лема – тогда пятнадцатилетнего юноши – об этом визите:

> *«Утром в день отъезда из Польши отец помылся, оделся, вытащил из кармана кошелёк и начал методично выбрасывать из кошелька банкноты – 100 злотых с Варынским, тысячи с Коперником, может, там были даже «Болики и Лёлики», то есть банкноты с Мешко I и Болеславом Храбрым. Потом он так же обошёлся с мелочью, которая со звяканьем также оказалась в мусорной корзине.*
>
> *Видя моё удивлённое лицо, он объяснил, что мы никогда уже не вернёмся в Польшу, потому нам не нужны «злотувки».*
>
> *Я нажаловался на отца тёте, и деньги вернулись туда, где должны были быть. Родители традиционно закрылись в ванной, где мама объяснила что-то отцу, но когда он вышел, то не выглядел так, будто его удалось переубедить».*

Лем больше не хотел оставаться на территории, пребывающей под контролем советского блока. Он забрал семью в Западный Берлин, ограждённый Берлинской стеной, потому до Вены, следующего этапа их эмиграции, пришлось добираться по воздуху – ни один другой способ не оправдывал себя, так как предполагал пересечение территории ГДР.

Томаш Лем вспоминает, что семья летела самолётом из Берлина до Вены, а их вещи поехали поездом. Из писем видна более сложная ситуация. Их вещи – в том числе «Мерседес»! – поехал к Вольфгангу Тадевальду, домашний адрес которого был указан в экспедиционном письме. В письме к Роттенштайнеру Лем раздумывал над сценарием, описанным Томашем, но писал, что это было бы слишком дорого[435].

В том же письме он писал, что переживает о паспорте Томаша – может, речь шла о том, что приближалась дата

окончания действительности документа? – и что гэдээровские и чехословацкие пограничники могут воспользоваться этим, чтобы задержать его сына. Окончательно Лем вылетел 23 июля 1983 года в Ганновер[436], куда поехал также «Мерседес» вместе с остальными вещами. Они встретились с Тадевальдом и поехали в Австрию машиной – разумеется, не через Чехословакию, а через Баварию[437], где провели ночь в Розенхайме. До Вены они доехали 28 июля[438].

С формальной точки зрения семья Лема поехала вместе с писателем на каникулы. На самом деле, ещё до того, как Лем приехал за ними в Польшу, все дальнейшие действия были спланированы: Томаш Лем больше не вернётся в Польшу, а пойдёт в американскую школу для детей дипломатов[439]. Жена писателя, Барбара Лем, о которой в письмах того времени Лем почти не вспоминает, появится только после 1985 года, когда до Лема дойдёт, каким тяжёлым испытаниям он подверг её. Ведь во всех этих точных расчётах он забыл об одном факторе – человеческом организме: своём собственном.

Аденома простаты, которую Лему удаляли в 1976 году, была доброкачественной опухолью – «благодушной аденомой», как называл её сам Лем[440], но через семь лет после операции наступил рецидив. Сложилось неудачно, так как это произошло сразу после приезда в Вену, хотя первые проблемы Лем чувствовал ещё в Берлине (так он говорил Фиалковскому). Под конец октября 1983 года было необходимо хирургическое вмешательство. Лем провёл в Венской больнице 6 дней. У него не было страховки, потому за всё платил из своего кармана – отдельно за каждый день госпитализации, а также за все врачебные услуги – операцию, анестезию, диагностику. Это стоило ему сорок семь тысяч шиллингов (в пересчёте с учётом инфляции: около семи тысяч евро)[441].

Как оказалось, этой операции было недостаточно. Возможно, этого касался анекдот, описанный Томашем Лемом:

> *«– В доказательство своей признательности я хотел бы подарить вам свою книгу с автографом, – сказал отец хирургу после операции.*
>
> *– Спасибо, мне очень приятно. Жаль только, что я не смогу её прочитать.*
>
> *– Но почему?*
>
> *– Я не могу читать. У меня отслоена сетчатка.*
>
> *– ???»*

Лем вскоре был вынужден пойти в больницу, так как оказалось, что опухоль хоть и небольшая, но снова «выросла,

зараза»[442]. Уже были метастазы. Очередная операция в 1985 году, как и та катовицкая в 1976-м, закончилась инфекцией:

> *«Дорогой Вергилиус,*
> *смеяться я уже не смеюсь ни над чем после всех этих операций и Операций. После последней из них 7 дней было всё хорошо, а на 9-й день с сильным кровотечением меня «апять» привезли в больницу и снова провалялся там 4 дня. После чего, инфицировав мочевой пузырь австрийскими заразами, меня отпустили домой, о чём я узнал, когда свалился с 39-градусной лихорадкой и доктор Добрый (тут они такие) сразу начал стрелять по моим Микробам. Я до сих пор глотаю какие-то Таблеты, так уже чувствую себя нехудшим образом»*[443].

Чёрный юмор, заметный в письмах того периода, напоминает тот, который ощущался в Леме на границе пятидесятых и шестидесятых, когда у него случались шутки на тему решения жизненных проблем покупкой цианистого калия. Томаш Лем пишет, что спустя годы его отец признался, что в Вене его мучили мысли, чтобы покончить со всеми проблемами в ближайшей заводи, но «меня разубедило чувство того, что выглядело бы это весьма неэстетично».

Станислав Лем в этот период жизни либо умирал, либо работал, часто и то, и другое одновременно. Потому огромное бремя силой обстоятельств легло на Барбару Лем. Она фактически стала главой семьи, а кроме того – что она вспоминает хуже всего – семейным водителем. В связи с состоянием здоровья писателя эта почётная обязанность легла на жену, которая вовсе не была в восторге от этого[444].

Вождение большой машины в чужом городе не принадлежит к числу удовольствий. Барбара Лем до того ездила по Кракову небольшим трёхдверным «Фиатом 128 Берлинетта»[445]. Теперь же ей пришлось водить огромный лимузин в Вене – городе уникально недружелюбном для водителей, с огромным количеством резких поворотов, односторонних, тупиковых и крутых улочек. К этому прибавлялась также легендарная невежливость венцев. «Вена – это город, в котором живётся как в раю, но люди там страшные. Дотошные, хамские, ворчливые», – вспоминает Джонатан Кэрролл, американский писатель, с которым Лемы познакомились, так как он тогда тоже переехал в Вену и был учителем Томаша Лема в американской школе[446].

Станислав Лем не принадлежал к числу людей, которые легко прощают «дотошность, хамство и ворчливость». Барбара Лем – совсем наоборот. В любом случае, она старалась найти

положительную сторону, потому всячески сдерживала мужа от жалоб на австрийцев (о чём Лем говорил Фиалковскому), но в разговоре со мной признавала, что большинство контактов с чиновниками, продавцами, поставщиками (а из-за того, что она была главным водителем в семье, всё это выпадало ей) были для неё трудными и неприятными.

Она рассказала мне, как однажды привезла мужа в больницу и забыла поставить «Мерседес» на ручник. Когда они вернулись, то застали машину не совсем там, где оставили: «Мерседес» прижался к слегка помятому заборчику. Их там уже ждали двое полицейских, которые не поздоровались с Лемами, не наказали их, не поучали – непонятно было, что им нужно. Барбара Лем решила взять инициативу на себя, прежде чем говорить начнёт её муж. «Вот, это на ремонт этого забора», – сказала она, протягивая им несколько банкнот. Они спрятали их в карман и ушли, не прощаясь. Забор не был отремонтирован до конца пребывания Лемов в Вене[447].

Самой большой радостью для Лемов были частые визиты друзей из Польши. Ещё в Берлине Лем подружился с Владиславом Бартошевским, который тоже тогда получил стипендию в *Wissenschaftskolleg* и жил в соседнем доме в красивом районе частных домов *Pacelliallee*.

Лем с Бартошевским были ровесниками, да и сошлись в вопросе миропонимания – одинаково ощущали себя чужими в Германии, где главная ось интеллектуального спора проходила между марксистской утопией и националистическим ревизионизмом. Оба они успели болезненно ощутить на собственной шкуре побочные эффекты как тевтонской национальной гордости, так и коммунистической утопии: как одно, так и другое ассоциировалось у них обоих с горами трупов и колючей проволокой. Так что им вполне можно простить гиперчувствительность, которая современному читателю может показаться излишней, как в этих воспоминаниях Бартошевского:

> *«Лем не скрывал от немцев своих воззрений. Порой это принимало гротескный характер. Когда-то в Берлине Сташек посетил меня и мою жену в квартире Wissenschaftskolleg. Он сел в свой зелёный «Мерседес» […], как тут какой-то водитель начинает ему сигналить. На что Сташек открывает окно и начинает кричать: «Ах ты, фашист, такой сякой, твои миллионами наших убивали, а ты мне сейчас будешь тут сигналить?! Тот ошеломлённый смотрит на него, что-то там показывает, а Сташек снова за своё, с ещё большей агрессией. Я сидел*

*возле него, а жена моя не поехала с нами. И что в результате оказалось? Что вежливый немец только хотел обратить наше внимание, что в «Мерседесе» Сташека задние двери были не закрыты (смеется).*

*В другой раз мы с женой выезжали из Вены в Баварию, таксист должен был отвезти нас на вокзал. Приезжает австриец в возрасте, а Сташек выходит из дому в рубашке – был конец лета, – поднимает руку в фашистском приветствии и начинает страшно фальшиво петь гитлеровский гимн: Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! («Сомкнём ряды! Пусть будет выше знамя!..») Это начало Horst Wessel Lied – гимна гитлеровских штурмовиков СА! Таксист онемел. Смотрит на Сташека, потом на меня и говорит: «Господа, простите, этого нельзя петь». А Сташек – на немецком: «Мне – можно!»*

*[…]*

*Когда-то мы оказались в одном отеле с участниками конференции, организованной Aspen Institute – левыми по политическим взглядам. Спускаемся вниз, а там накрывают банкет, огромные горы еды, а на вершине одной из них ананас.*

*– Смотри, – говорю, – левые будут ананасами объедаться.*

*– Будут… или не будут, – бормочет Сташек и смотрит на меня двусмысленно. А потом быстро открывает дверь, я хвать ананас, сую под плащ – и за ним в «Мерседес»*[448].

Другим знаменитым венским гостем Лемов был Здзислав Найдер, основатель Польского независимого соглашения. Во времена военного положения его приговорили к смертной казни, потому что его работа на радио «*Wolna Europa*» квалифицировалась как «измена Родине». Когда он звонил Лемам, то представлялся «Говорит пан висельник». Томаша Лема, который отвечал на эти звонки, это заинтриговало, а родители посчитали, что по этому случаю стоит посвятить сына в тайну сотрудничества Станислава Лема с Польским независимым соглашением и парижским изданием «*Kultura*».

Позднее он и сам был втянут в конспиративную деятельность, поскольку отец дал ему задание выбросить из его текста для «*Kultura*» характерные стилистические обороты, по которым можно было бы его идентифицировать. «Это было непростым заданием, так как отец любил старопольские выражения, такие как из сенкевичевской эпохи – «бога ради», «мой боже», «сперва»

и тому подобные, которыми, кстати говоря, перезаразил лемологов с профессором Яжембским во главе – и не на все исправления он тогда согласился», – вспоминает Томаш.

Принимая во внимание всё это, трудно поверить, что у Лема было время ещё хоть что-то писать, а ведь в Вене родилось ещё два романа. Точнее, полтора, так как «Мир на Земле» настолько короткий, что я был бы готов квалифицировать его как повесть, если не новеллу[449].

Однако у Лема тогда не было особо выбора. Из его первых писем квазиэмиграции заметно, что он удивляется – как дорого жить при капитализме. Его бюджет окончательно разрушили больницы – в современной Польше автор бестселлеров тоже быстро бы поиздержался, если бы не имел медицинской страховки, а у него открыли какую-то онкологическую проблему, требующую нескольких операций и госпитализации, оплачиваемых из кармана пациента. В июне 1984 года Лем должен был заплатить очередные 123 тысячи шиллингов[450] по счетам за лечение, а это был ещё не конец.

В конце концов, даже если бы у него было прекрасное здоровье, вероятно, его также удивил бы рынок венской недвижимости. В 1982 году писатель знал цены Западного Берлина, и ему казалось, что в Вене должно быть почти так же. Если в Берлине сперва (в семидесятых) он мог позволить себе снимать квартиру на *Ku'damm*[451], а потом (в 1982-м) – дом на *Pacelliallee*, то почему в Вене должно было быть хуже?

Ответ был прост: в Берлине невидимая рука рынка недвижимости пользовалась тем, что в случае Третьей мировой войны (с этим шансом на тот момент все считались) этот город не удастся сохранить. Соответственно – дома были дешевле, а следовательно, дешевле была и аренда жилья. Вена, столица нейтральной Австрии, не казалась такой очевидной мишенью.

Лем ещё в 1983 году надеялся, что его семья переедет прямо с уютной *Pacelliallee* в такой же уютный домик где-то на периферии Вены – это, по крайней мере, следует из тогдашней корреспонденции с Роттенштайнером[452].

Однако на практике оказалось, что в рамки финансовых возможностей Лема может поместиться только коммунальная квартира от австрийского Союза писателей, который был готов предоставить её Лемам некоммерчески, но за плату. Квартира была большой (четыре комнаты в анфиладе) и в прекрасном районе – *Freundgasse*, сразу возле *Margaretenstrasse*, то есть главной артерии четвёртого района. «10 минут пешком от центра!» – радовался Лем в письме Тадевальду[453]. Однако годы спустя Томаш Лем вспоминал:

*«Размещение в сочетании с фактом, что в те времена машины не были оборудованы катализаторами выхлопов, было смерти подобно. Проветривание какой-то из комнат грозило отравлением выхлопными газами – открывать можно было только окно на кухне, которое выходило во двор. Привыкание к гулу машин, проезжающих непосредственно под старыми, неплотными окнами от рассвета до заката, требовало упорства».*

Я много писал о проблемах со здоровьем Станислава Лема, так как эта книга о нём, но Барбара и Томаш Лемы также имели проблемы с аллергией, что, вероятно, было связано с тем, что большую часть жизни они провели в Кракове, одном из самых грязных городов Европы. Лем начал искать дом, который можно будет снять исключительно коммерчески.

К сожалению, объявление «знаменитый писатель срочно ищет дом в аренду» привело к тому, что на семью Лемов бросились, как коршуны, агенты недвижимости, пытающиеся «пронюхать о финансовых возможностях экзотического клиента с Востока», – как это назвал Томаш Лем, описывая одно из предложений – дворец под Веной, где «огромное пространство стоило бы как-то заселить слугами», но съём которого точно выходил за пределы возможностей Лемов.

К счастью, в октябре 1983 года (то есть в том же месяце, из которого неделю Лем провёл в больнице) появилось наконец хорошее предложение – дом при *Geneegasse*, небольшой улочке, размещённой в 13-м районе – *Hietzing*. Дом располагался на самом деле далеко от центра, и район был так плохо сообщён с городом, что это заставляло Лемов постоянно ездить автомобилем, зато там была хоть какая-то тишина, немного напоминавшая ту, которая царила в краковском доме в Клинах.

Как раз об этом доме при *Geneegasse* и рассказывал Бартошевский. Семья Лемов прожила там четыре года, до самого конца венской эмиграции, которая формально – повторюсь – эмиграцией не была. Там же были написаны последние прозаические книги Лема, хотя на этот раз сложно указать точные даты. В разговоре с Фиалковским он говорил, что первичные версии были созданы ещё в Берлине, в 1982 году, чего нельзя исключать, так как у Лема в запасе всегда было несколько завалявшихся черновиков. В его архиве сохранились разные романы, обрывающиеся на второй странице или даже раньше.

Работа над «Миром на Земле» точно была начата в Берлине. Фиалковскому Лем говорит, что в *Wissenschaftskolleg* его больше всего удивила возможность заказывать книги из библиотеки на любую тему. Он воспользовался этим, чтобы понять, как именно

должна выглядеть каллотомия (сегодня чаще используется термин «каллозотомия») – страшная неврологическая болезнь, которой, по книге, страдает Ийон Тихий после разрыва связи между левым и правым полушариями мозга. С Тихим произошло это в результате его самого опасного и последнего космического путешествия – на Луну. Нашу Луну, Земную. Туда его выслало специальное агентство ООН по делам Луны, *Lunar Agency*, назначив ему криптоним ЛЕМ (*L.E.M. = Lunar Efficient Missionary*), к сожалению, Тихого на Луне атаковали «*Lunar Expedition Molecules*».

Идея этой предпоследней книги пришла Лему в голову ещё в 1969 году, когда вместе с большой частью населения Земли он смотрел трансляцию посадки «Аполлона-11» на Луну. Как писал он тогда в письме к Чепайтису, его всё время мучила одна мысль: «разместив соответствующий суперлазер на Луне, можно было бы им уничтожать целые города и земные континенты? Ведь тогда военные действия получили бы следующий пункт и вошли бы в совершенно новую Эпоху». Его веселило то, что хоть его лично и не было на Луне, но там был «*Lunar Excursion Module* – то есть что-то мне близкое»[454].

Новелла развила идею, намеченную ранее в одном из последних апокрифов Лема, «*Weapon Systems of the Twenty First Century or the Upside-down Evolution*», согласно которому гонка вооружений в конце концов приведёт к тому, что суперимперии вместо «суперлазеров» начнут выдумывать микроскопическое, самореплицирующееся, дешёвое оружие, напоминающее некросферу из «Непобедимого». В «Мире на Земле» мир восстановился только благодаря тому, что суперимперии перенесли свои гонки на Луну – там можно было постоянно уничтожать оппонента нужным «суперлазером», а к тому же наслаждаться сладким чувством того, что на его территории нет никаких боеголовок или бункеров.

Согласно приписке в конце книги Лем закончил писать её в мае 1984 года. До конца холодной войны оставалось ещё каких-то пять-шесть лет. С одной стороны, можно сказать, что «Мир на Земле» это неудавшийся прогноз, а с другой – описание боевых роботов, которых там встречает Тихий, тревожно напоминает современные «гибридные войны» и «гуманитарные интервенции».

> *«– Здравствуй, – сказал он. – Здравствуй! Дай тебе Бог здоровья. Что ты такой неотчётливый, приятель? Ну хорошо, что ты наконец пришёл. Иди-ка сюда, ко мне, побеседуем, песни попоём, порадуемся. Мы тут тихие,*

*мирные, войны не хотим, мы войну не любим. Ты из какого сектора?.. – добавил он совершенно другим тоном, словно внезапно заподозрил, что следы его «мирных начинаний» слишком хорошо видны. Наверное, поэтому он переключился на более подходящую программу – вытянул в мою сторону огромную правую руку, и я увидел, что каждый палец его был стволом»*[455].

В конце оказывается, что лунные нанороботы (Лем не использует этого понятия, потому что его изобрели на добрых десять лет позже, но, вероятно, именно об этом шла речь), которые возникли на Луне в результате гонки вооружений, проникают в Тихого и вместе с ним летят на Землю, чтобы погубить цивилизацию, а вместе с тем и упомянутый в названии романа мир на Земле – для Лема, можно сказать, это в каком-то роде хеппи-энд.

В любом случае окончание «Мира…» и так веселее, чем у «Фиаско» – последнего романа Лема. Большая часть текста была готова в январе 1985 года; в письме к Роттенштайнеру писатель описал общую фабулу, добавляя, что осталось «ок. 20 страниц» (на 256 написанных)[456]. Он писал, что сюжет апеллирует ко всем линиям, которые он когда-либо описывал в *science fiction*, включая даже томик «Сезам и другие рассказы» и «Астронавтов».

Экипаж космического корабля «Эвридика» напоминает экипаж из «Астронавтов» или «Магелланова облака». Там есть – или, точнее, его нет – пилот Пиркс, потому что в первом разделе «Бирнамский Лес» Лем его убивает. Экипаж «Эвридики» оживляет КОГО-ТО. Действительно ли пилота Пиркса – вопрос открытый, равно как и в новелле «Существуете ли вы, мистер Джонс?».

Так же как и в «Магеллановом облаке», заданием экипажа является установление контакта с цивилизацией квинтян. Астронавты знают о ней столько же, сколько знает Кельвин из «Соляриса» или Тихий из «Осмотра на месте» – они получают противоречивые данные в библиотеке.

Квинта, кажется, напоминает Землю из «Мир на Земле». Долгая холодная война привела к такой радикальной гонке вооружений, что на приветствие планета реагирует чем-то, что «Эвридика» воспринимает как агрессию. Астронавты должны провести «мирную миссию», в результате которой Пиркс – не Пиркс вопреки собственным намерениям становится для квинтян уничтожающим монстром – таким как герой «Человека с Марса».

«Фиаско» можно обвинить в автоплагиате, который становится очевидным в сравнении романа с рассказом «Хрустальный шар», который астронавт читает на борту

«Эвридики», чтобы убить время. Эти рассказы – как замечала Агнешка Гаевская[457] – являются очередной лемовской аллегорией из серии «Холокост в космосе»: люди выдумывают хитрость, чтобы уничтожить термитов, что на самом деле означает, что цивилизация одних существ хочет уничтожить цивилизацию других. В «Фиаско» это играет такую же композиционную роль, какую раньше играло упоминание о конкистадорах – является сигналом, что встреча двух цивилизаций должна закончиться полным фиаско одной из них.

Это название, однако, можно понимать шире. У меня нет доказательств, что Лем уже в 1984 году – работая над «Фиаско» – хотел прощаться с *science fiction,* но появляются признаки чего-то подобного. Прежде всего, независимо от чёрного юмора, с которым он описывал Чепайтису свои перипетии с «добродушной аденомой», писатель, должно быть, ожидал скорую смерть, если опухоль «снова выросла, зараза», и по причине метастазов, из-за которых «мне уже радикально живот порезали»[458].

На тот момент у Станислава Лема впереди было ещё двадцать лет жизни – но это мы знаем сейчас. Тогда, если диагностировали метастазы, несколько лет уже было чудом (либо оказывалось ошибочным диагнозом, как заметила моя мама, терапевт на пенсии, с которой я консультировался по медицинским аспектам этой книги).

Лем не принадлежал к числу пациентов, которые верят тому, что говорят врачи. Перед операцией в 1976 году он попросил Тадевальда найти медицинскую литературу по своей болезни, подчёркивая, что всё должно быть издано не ранее чем в 1975 году, потому что его интересовало актуальное состояние проблемы[459]. Во время написания «Фиаско» он всё время задумывался, сколько ещё ему даст времени его «благодушная зараза».

В 1985 году Лем писал Чепайтису:

> *«А сейчас в журнале Stern идёт с продолжением последний роман Грэма Грина, его же невозможно читать, обычные приличия должны были заставить Старика, которому мозг известь выела, вовремя остановиться, а так бегут себе диалоги: «сказал», а потом она «сказала», на что он «сказал», и снова кто-то что-то «сказал»*[460].

Я думаю, что Лем хотел посредством «Фиаско» сойти с ринга непобеждённым, как чемпион по боксу, который не идёт на последний бой, чтобы защитить титул, а просто отказывается от карьеры. И ему это удалось.

Несмотря на страшные условия, в каких он писал этот

роман, – так далёкие от Дома творческого труда в Закопане! – «Фиаско» читается хорошо. Даже не мешают эти постоянные аллюзии на другие произведения Лема. За каждым разом эти более ранние идеи (Пиркс как шофёр космических автобусов, невозможность Контакта, астронавт, шокированный развитием цивилизации годы спустя, и так далее) выстроены уже лучше. Возвращаясь к боксёрской метафоре, чемпион вызвал на ринг своих бывших соперников и нокаутировал каждого из них, чтобы потом накинуть шёлковый халат и уйти в темноту.

Ещё в Берлине Лем подписал договор на «Фиаско» с Зигфридом Унзельдом из издательства «*Suhrkamp*» и получил соответствующий аванс. Согласно договору, книга должна была быть написана на польском, но оригинальный текст должен был выйти в немецком переводе – Унзельд хотел сильной премьеры.

В 1985 году Лем, однако, поддаётся соблазну, который предложил ему Клаус Штеммлер из конкурентного издательства «*S. Fischer Verlag*»: сто тысяч марок за то, что «Фиаско» выйдет именно там. «Унзельд принял это за предательство, но мне очень нужны были тогда эти деньги», – говорил Лем Фиалковскому. «*Fischer*» нуждался тогда в сильной премьере, ведь они праздновали столетие в 1986 году, потому он был готов купить всё.

Лем прибегнул к уловке, которую подробно описал Тадевальду в письмах в феврале 1985 года[461]. Договор с «*Suhrkamp*» от 17 апреля 1983 года был заключен на роман под названием «Побеждённый» (*Der Tiefbesiegte*), который «*Suhrkamp*» должен был издать вместе с «Непобедимым» (*Der Unbesiegbare*). Лем объяснил это так, что раз «*Suhrkamp*» не защитил права на издание «Непобедимого», Лем перестал работать над этим проектом и занялся чем-то совсем другим, то есть романом «Фиаско». Это было некрасиво – договор договором, но ведь Унзельд лично постарался, чтобы Лем получил стипендию в *Wissenschaftskolleg*[462], рассчитывая, разумеется, что за это получит роман только для своего издательства.

Поступая так, писатель рисковал поссориться с «*Suhrkamp*», потому что разве можно после чего-то подобного поверить и выплатить очередной аванс за новую книгу? Это была бы ещё одна улика, указывающая, что у Лема тогда не было уже писательских планов на будущее.

Действительно ли он так сильно нуждался в деньгах? Лемы не жили бедно, но пребывание в Вене требовало от них понижения стандартов, к которым они привыкли в Кракове или даже в Берлине, а больничные перипетии только ещё больше ослабили их финансовое положение. Если бы не это, он вообще не

написал бы «Фиаско» – ни под каким названием, ни для какого издательства.

В 1986 году он писал Чепайтису со свойственной для него смесью гордости и горечи:

> *«Австрия, кажется, нам надоела, и если бы я знал, как тут живётся, то не принял бы приглашения от австрийского Союза писателей, хотя тогда не получил бы австрийской государственной награды по литературе, которую теперь мне должны вручить в конце марта этого года»*[463].

Как манны небесной, возвращения ждал Томаш Лем – так, по крайней мере, кажется из его воспоминаний. Вся эта эмиграция была им воспринята «не очень охотно, если выражаться дипломатично»[464]. Наверное, ни один пятнадцатилетний подросток не обрадовался бы, услышав от родителей: «Попрощайся со всеми друзьями, больше их не увидишь – найдёшь себе новых там, куда мы едем, разумеется, как только выучишь их язык».

Я немного всё упростил, но похоже на то, что Томаш Лем услышал от родителей в 1983 году именно это. Станислав Лем осознавал, что его сын не знает немецкого, а потому возникнет проблема с поисками собственного места среди ровесников, но он решил уладить это по-своему. Если он сам выучил английский, читая книги со словарём, то и Томаш справится!

> *«Он велел мне явиться к нему в кабинет с чистой тетрадкой и ручкой. Короткими солдатскими указаниями – он как раз писал статью и встретился со мной из чувства долга – объяснил, что немецкая грамматика имеет только четыре падежа, а не семь, как польский или латынь, и что меня это должно обрадовать.*
>
> *– Ты же знаешь латынь? – отец замолчал.*
>
> *Я развеял его ошибку.*
>
> *[…]*
>
> *– Есть три артикля: der, die и das, а также несколько времён, – говорил отец, постоянно записывая в тетради свои знаменитые, абсолютно нечитабельные иероглифы. – Вот я тебе расписал для начала. Глаголы ставь в конце предложений, существительные пишутся с большой буквы. Здесь, – с видом некоторых сомнений он подал мне два пыльных толстенных тома, – словарь. Это мой лучший. Пожалуйста, не потеряй его».*

Из писем, которые писались в то время, видно полную уверенность Станислава Лема в том, что он всё это делает исключительно для блага Томаша. Он хотел защитить его от армии, от прозябания в стране, лишённой перспектив, хотел дать ему то, чего не получил сам от своего отца – космополитическую профессию, статус гражданина мира, который – как герои «Гласа Господа» или «Насморка» – свободно путешествует и поедет работать туда, куда его позовёт интересное предложение, а не туда, куда его распределит какой-то политрук.

Насколько помним, в интервью Станислава Лема регулярно появляется мотив обиды на отца из-за позднего отъезда из Львова: я обратил внимание, что это обвинение может противоречить фактам – оказывается, что Самюэль Лем задержал выезд как максимум на несколько месяцев, и то лишь руководствуясь благом для сына. Речь шла о том, чтобы Станислав Лем не потерял академический год и сдал летнюю экзаменационную сессию – они уехали сразу после неё.

Я допускаю, что эти обвинения скрывают более глубокую обиду, которую Станислав Лем не хотел воплощать в слова, чтобы не говорить слишком много о собственном происхождении. Больше всего он жалел, что отец не позвал его на такой разговор, какой он провёл с Томашем, и не сказал ему – скажем, в 1939 году, – что ситуация в Европе становится нестабильной, мы эмигрируем за океан, вот тебе учебник – учи язык.

Томашу Лему в 1986 году было восемнадцать. Из писем Лема этого периода видно, что сын на тот момент ещё не знал, как видит будущее. Он не знал, где учиться (в Польше? в Вене? а может, в Америке? – отец об этом мечтал). До последнего момента, то есть весны 1987 года, не было понятно, будут ли это точные науки или скорее что-то гуманитарное. В письмах к Чепайтису и Роттенштайнеру заметен огромный размах – от промышленного моделирования до истории, от литературоведения до программирования.

Однако если такие темы появляются в письмах, значит, Лем много об этом думал и, вероятно, многократно дискутировал с Томашем. Последний в своих воспоминаниях таких разговоров не описывает, что правда, но, судя по другим, описанным, я могу представить, что это было более-менее так: отец выражает своё мнение касательно того, какой выбор считал правильным, но потом не слушал контраргументов (другое дело, что одним из побочных эффектов общего ухудшения здоровья в Вене были проблемы со слухом – Лем жаловался в письмах, что меняет аппараты, но это не даёт результаты)[465].

Под давлением отца Томаш Лем выбрал тот сценарий,

который Станислав Лем считал лучшим для него, – физика в Принстоне. Если бы Станислав Лем мог, как в «Путешествии двадцатом Ийона Тихого» оптимизировать собственную биографию гиперпьютером, то выслал бы учебный пакет себе самому, адресуя его во «Львов, июнь 1939». Томаш на самом деле исполнил мечту Станислава и защитил в США диплом по космологии, но вернулся в Польшу, чтобы работать переводчиком, на что отец отреагировал, дипломатично выражаясь, без энтузиазма.

К счастью, Лемам было куда возвращаться. Благодаря осторожной политике Станислава Лема, который не попросил убежища, открыто не осудил режим, а когда у их паспортов заканчивался срок действия, он прилежно подавал прошение о выдаче новых документов в пээнэровском посольстве, в ПНР им ничего не грозило.

В апреле 1984-го они приехали в страну на Пасхальные праздники[466]. Ничего не случилось, их впустили и выпустили без всяких проблем. Единственной проблемой, которая сопровождала все семейные путешествия Лемов из Вены в Краков, была такса, которую Томаш назвал Протоном, а Барбара – Тупечем. В самолёте с ним была проблема, потому что действовало ограничение веса до десяти килограммов, а Тупеч, как вспоминает Томаш Лем, принадлежал к породе рубенсовских такс. Его кузен Михал Зых изобрёл прекрасный способ решить эту проблему, который состоял в очень быстром расположении пса на весах, чтобы в следующее мгновение с преобаятельнейшей улыбкой и полной уверенностью в голосе заявить стюардессе: «Ровно десять килограммов», но это решение не всегда срабатывало, поскольку Михал не мог всегда путешествовать вместе с Лемами. В поездах проблема, в свою очередь, была такая, что пассажирам, которые ехали транзитом, нельзя было выходить на территории Чехословакии. Тупеча, таким образом, нельзя было вывести на прогулку. «Проводники были не в восторге, когда четвероногий пассажир примерялся сделать свои физиологические дела просто посреди коридора», – пишет Томаш.

В феврале 1987 года Станислав Лем написал в парижскую «*Kultura*» статью «Должны ли мы желать удачи Горбачёву?»[467], который имел форму диалога Оптимиста с Пессимистом. Это, вероятно, была первая фиксация его собственных поисков: даст ли начатая новым вождём в 1985 году политика перестройки какие-то надежды жителям стран на восток от Лабы? Если проще: то есть ли у него шанс вернуться в ПНР?

Пессимист, по правде говоря, в этом разговоре ставит лемовский диагноз – если Горбачёву удастся модернизировать

СССР и защитить этот режим от коллапса, будет плохо. Если ему не удастся, будет ещё хуже. В конце, однако, Пессимист ставит диагноз, который в устах Лема звучит положительно: «Если само дальнейшее существование человечества может наполнить нас надеждой на лучшее завтра – я отвечу “да”.

Летом 1988 года Польшу парализовала следующая волна забастовок. Власти оказались в ловушке. Они не могли снова вывести на улицу танки, потому что не было уверенности, кого в случае конфликта поддержит Горбачёв или в кого солдаты направят дула автоматов. 16 сентября 1988 года начались переговоры власти с оппозицией на вилле Министерства внутренних дел в Магдаленке, которые привели в следующем году к дискуссиям за круглым столом, а те, в свою очередь, – к мирной передаче власти.

Жизнь Лема снова переплелась с очередным поворотом польской истории. Собственно, тогда он принял окончательное решение возвращаться. В октябре он начал систематически заканчивать свои венские дела[468] – закрыл банковские счета, разорвал договор о найме дома, дал распоряжение пересылать почту на свой краковский адрес. Зимние праздники 1988/1989 года семья провела уже в своём доме.

# Эпилог
# Faciant meliora potentes [469]

В 1996 году мне было двадцать семь лет, и – после того как я попробовал несколько разных профессий – я выбрал сферу, в которой беспрерывно остаюсь вплоть до сегодня: культурная журналистика. Мой шеф, главный редактор не существующего сегодня еженедельника *«Wiadomości Kulturalne»* Кшиштоф Теодор Тёплиц, спросил меня сначала о темах, над которыми я мечтаю работать.

Тогда я ещё не знал, что знакомство Тёплица с Лемом уходит корнями в пятидесятые годы. Потому на его вопрос я рефлекторно ответил, что моей мечтой является интервью с моим любимым писателем. «Это можно устроить», – ответил Тёплиц и потянулся за телефоном.

Я не мог поверить своему счастью. Когда всё было договорено, я инстинктивно прокричал: «Сегодня самый прекрасный день моей карьеры!» «Не слишком ли рано для таких заявлений?» – засмеялся тогда Тёплиц. Что ж, от молодого парня это действительно прозвучало несерьёзно, но с другой стороны – я на самом деле не знаю, какое предложение мог бы получить сейчас, чтобы обрадоваться так, как радовался тогда.

Меня предупредили, что у Лема проблемы со слухом, потому я должен говорить громко, чётко и медленно. Кто знает меня (или слушает мои выступления на радио), тот знает, что хорошая дикция не принадлежит к числу моих немногочисленных достоинств, но я старался, как мог. Лем отвечал на те вопросы, которые я ему задавал (из многих рассказов мне известно, что так происходило далеко не всегда).

Несмотря на моё обожание Лема как прозаика, я не соглашался с его публицистикой – а после «Фиаско» он занимался почти исключительно ею. В свободной Польше его называли краковской Кассандрой. В печатаемых с 1992 года фельетонах в «*Tygodnik Powszechny*» и «*Odra*» он постоянно жаловался, что мы впустую тратим чудом обретённую свободу. Ему ничего не нравилось – ни в политике, ни в технологиях, ни в экономике. В 1990 году в президентской избирательной кампании он поддержал, что правда, Тадеуша Мазовецкого, но – как говорили по телевизору – главным образом потому, что его пугали те, кто стоял за Валенсой (тогда это были братья Качинские). Лем даже если когда-то был за кого-то или что-то, то всегда только потому, что был против кого-то или чего-то другого.

«Мне не нравятся правые, меня воротит от левых, но мне не подходит и центр», – как-то так выглядел типичный политический комментарий Лема. Подобным образом он сформулировал это и в книжном интервью с Фиалковским, который был его редактором в «*Tygodnik Powszechny*».

Лем так же оценивал и прогресс цифровых технологий, высказываясь на эту тему в фельетонах, печатаемых в польскоязычном «*PC Magazine*» в 1993 году. Во времена, когда все восхищались благами интернета и компьютеризации, Лема пугали их последствия.

В 1995 году немецкие журналисты спросили его, боится ли он антиматерии. Лем ответил, что больше боится интернета, что послужило сенсационным заголовком для польской, немецкой и ещё бог знает какой прессы: «Лем считает, что интернет опаснее, чем антиматерия!» – мало кто обращал внимание на логические объяснения самого Лема: интернет ведь уже существует, потому угрозы, которые он несёт, ближе и реальнее, а антиматериая – это нечто такое, что ещё предстоит исследовать на основе одной случайно пойманной молекулы, которая сразу же распадётся, так что все возможные угрозы касаются гипотетического (далёкого) будущего.

Насколько мне известно, Лем был тогда единственным автором, который занимался технологиями и последовательно пугал угрозами развития интернета. Остальные скорее восхищались его возможностями. Тогда среди этих «остальных» был и я, хотя в 2013 году сам написал книгу, которая предостерегает от угроз, – мне понадобилось больше десяти лет, чтобы заметить то, от чего Лем предостерегал с самого начала. Его скептицизм в вопросе интернета был частным случаем одного конкретного правила, которое заметно буквально во всей прозе и публицистике Лема, начиная с «Человека с Марса». Лем считал, что *homo sapiens* – это такой вид обезьяночеловека, который, что бы ни изобрёл – будь то камень или космолёт, – в первую очередь использует это для причинения вреда своему ближнему.

Если так было со всеми изобретениями в истории – порохом, паровой машиной, автомобилем, самолётом, – то почему так не должно произойти с интернетом? Лем просчитал – кстати, очень близко к правде, – что нам принесёт компьютерная сеть: новые виды преступности, против которых полиция и закон будут бессильны. Новые средства агрессии между странами, позволяющие парализовать компьютерное оборудование страны так, чтобы не было понятно, откуда произошло нападение. Тотальная глупость, потому что в потоке информационной ерунды будет всё труднее отделить зёрна от плевел.

Лем не считал себя пессимистом, лишь реалистом. Когда сегодня мы читаем его фельетоны второй половины девяностых, то разделяем его точку зрения. Как наивно было ожидание, что именно интернет будет той первой в мире технологией, которая принесёт только благо! Лем, однако, был на тот момент одинок в своих взглядах – не только в Польше, но во всём мире.

Он пытался полемизировать с оптимистами, которые выдвигали, например, такие гипотезы: что благодаря интернету хирург мировой славы из США сможет дистанционно провести операцию где-то в африканской деревне. Лема это не переубеждало, потому что он знал, что ни одна цифровая диагностика не заменит личного контакта врача с пациентом[470].

И был прав! И снова здесь подействовало проклятие Хлориана Теоретия Ляпостола – предупреждения Лема тогда проигнорировали. Его, разумеется, воспринимали как авторитет, но с авторитетами часто на практике получается так, что мы вежливо их слушаем, когда они говорят, а потом поступаем по-своему.

Так же было тогда и со мной. Как и многие представители моего поколения, я тогда смотрел на будущее Польши, мира, технологий и вообще всего с огромным оптимизмом, который сегодня тревожно напоминает оптимизм, с которым Самюэль Лем смотрел на будущее польского Львова в межвоенное время. Понятно, что мне тоже много чего не нравилось, но я верил, что в общем и целом всё идёт в хорошем направлении.

«Осмотр на месте» Лема я (и не только я!) интерпретировал так, словно это была первая версия романа, которую Лем уничтожил в 1979 году. Империя Люзания была для меня простой аллегорией Запада, а потому 1989 год казался мне глобальным триумфом Люзании. Я представил это видение Лему, чем пробудил его протест – он ответил мне словами, мудрость которых я понял намного позже.

Он утверждал, что я упрощаю его роман, потому что Люзания – это не аллегория западных ценностей, а их пародия. «Я хотел показать, что открытое общество не такое уж и открытое, потому что всё в нём решают деньги», – сказал он тогда. И оно ненамного лучше, чем общество, в котором всё решает какой-то диктатор.

Когда я хотел услышать от Лема что-то хорошее на тему новых технологий, то услышал известную мне из фельетонов в «*PC Magazine*» тираду на тему вредного контента интернета и язвительное замечание, что технологии упрощают террористам возможность «взрывать самолёты». «Я не имею ничего против прогресса, только предостерегаю, что люди используют его

главным образом для того, чтобы сделать другим плохо», – подытожил писатель.

Я не полемизировал с ним, так как интервью должно помочь читателю познакомиться со взглядами того, кто отвечает на вопросы, а не журналиста, который их задаёт. Хотя, разумеется, я с Лемом тогда не соглашался и даже – сегодня мне стыдно за это! – написал в газету полемику с ним, в которой защищал оптимистические позиции[471].

В этой полемике я задавался вопросом: «Почему Лем отказывается от своего оптимизма именно тогда, когда его оптимистическое утверждение, что диктатура должна пасть, потому что глупость должна проиграть в борьбе с мудростью, наконец, подтвердилось?» Не прошло и года, как наступило 11 сентября 2001 года – первое и, к сожалению, далеко не последнее доказательство, что Лем был прав, а XXI век будет выглядеть так, как он предвидел, а не как в оптимистических видениях девяностых. Глупость сегодня триумфует, мудрость – терпит поражение.

В каком-то моменте разговора нас прервала летняя гроза, которая прошла над Краковом. Молния ударила совсем близко, и вдруг в доме в Клинах погас свет. Лем оживился, как будто получил какую-то хорошую новость. «Подождите секунду, я сейчас включу генератор!» – выпалил он и буквально выбежал из кабинета. Через мгновение раздался ужасный грохот, как будто от корабельного двигателя – как я позже узнал, это и был *грохот корабельного двигателя*. Лем вернулся счастливым.

Как я узнал много лет спустя[472], Лем долго медлил с решением вернуться в Польшу, а Томаш и Барбара, в свою очередь, не могли этого дождаться. Писатель придумывал много искусственных барьеров и напоминал, что при всех своих недостатках жизнь в Вене имеет много преимуществ. В Вене гораздо проще был доступ к мировым медиа, и там не выключали свет по любому поводу (или вовсе без повода).

Семья искала всяческие способы опровергнуть эти доводы. Проблема оторванности от мировых медиа была решена с помощью установления на крыше новой гигантской спутниковой антенны, на монтаж которой было тогда выдано специальное министерское разрешение. Сегодня, во времена цифрового телевидения, эта тридцатилетняя антенна бесполезна, но её демонтаж слишком дорогой, более того – она являет собой нечто наподобие памятника – ретрофутуристического напоминания, что в восьмидесятых годах XX века считалось современным.

Куда хуже было с отключением света, который действительно был проблемой всех пригородов аж до вступления Польши в

Евросоюз, что повлекло за собой модернизацию инфраструктуры. Живя много лет под Варшавой, я сам помнил, что, когда приближалась гроза, нужно было всё сохранить и выключить компьютер, потому что вот-вот снова выключится свет – дай бог, чтобы в этот раз только на час, а не на всю ночь, потому что бывало и такое.

Сегодня эти проблемы решаются просто – покупается любой удобный генератор в любом строительном магазине. В ПНР, однако, таких продуктов на рынке не было. Не говоря уже о том, что не было самого рынка.

По спецзаказу Лема и снова со специальным министерским разрешением была изготовлена определённая конструкция на Заводе железнодорожной автоматики Польских государственных железных дорог. Я не называю это «оборудованием», потому что это не совсем то, что можно перенести в другое место и включить там. Это не продукт массового производства – это уникальная единоразовая конструкция, требующая собственного помещения – отдельного сарая на заднем дворе.

Сарай скрывал в себе инсталляцию, напоминающую декорации старого фильма *science fiction*. У неё были старомодные регуляторы, часы и идентификационные пластины; приводилась в действие корабельным двигателем, выхлопная труба которого эстетично была встроена в каминную трубу, выходящую из сарая. Я могу представить себе, сколько радости Лему – который ведь никогда так и не перестал быть тем мальчиком из «Высокого Замка» – приносил каждый повод поиграться такой Машиной.

Равно как спутниковая антенна на крыше, машина уже много лет стоит неиспользуемая. Она являет собой очередную достопримечательность дома Лема, хоть и вполовину не так удивительную, как сам дом.

Когда я побывал в нём впервые в жизни, моё чувство ориентации – как правило, оно меня не подводит – покинуло меня почти сразу. Дом полон антресолей – полуэтажей, четвертьэтажей, одна-третья-этажей и полутораэтажей, между которыми проходят ступени, порой одновременно ведущие вверх и вниз, как на картине Эшера. Сквозь этот лабиринт я пробрался только потому, что пользовался секретными рекомендациями Барбары Лем – «сейчас влево, потом вверх, потом вправо и сейчас уже прямо».

В конце концов я оказался в кабинете писателя – том знаменитом, известном по большинству фотографий – с гигантской библиотекой, в которой к части книг нужно подниматься по лесенке. С тех пор я бывал в его доме ещё несколько раз и успел понять несколько его секретов: например,

некоторые тайники – узкие, тесные и тёмные, втиснутые под лестницей или между половинчатыми этажами и скрывающие старые печатные машинки или запас бумаги.

Я не знал тогда истории этого дома, такой же сложной, как и сам Лем, но при этом демонстрирующей, как невероятно история переплела судьбу Польши и жизнь Лема, и не в каком-то эфемерном метафизическом смысле, но в самом что ни на есть реальном – в этом конкретном случае вполне материальном, из кирпича и цемента.

В отличие от первого дома Лемов в Клинах, в котором от решения о покупке до переезда прошли месяцы, этот второй дом строился целых десять лет, на протяжении которых не было понятно, кто и когда здесь будет жить. Но по порядку.

В середине семидесятых Лем начинает жаловаться на тесноту. Кроме постоянных жителей, к ним регулярно приезжают гости – например, странная австралийка, которая приехала к Лемам без предупреждения, объяснившись, что пишет научную работу о Леме, и какое-то время у них жила, потому что ей некуда было идти. Семья называла её Аделаида – по названию города, из которого она приехала (настоящее её имя затерялось в путанице истории)[473].

Лемы не хотели уезжать с улицы Нарвик. Здесь жили их приятели – Блоньские, Мадейские и пан Зависляк, который поддерживал лемовские машины в состоянии боевой готовности. Необходимость помогать друг другу в кризисных ситуациях – например, выталкивать машину из снежных сугробов (если верить письмам, Лем регулярно делал это для Блоньского, но тот никогда не ответил ему тем же из-за другого суточного распорядка), следить за домом во время дальних поездок или отвезти в больницу в случае внезапного кровотечения – связала между собой местную общественность. Если бы не помощь Мадейских, Лем, вероятно, насмерть истёк бы кровью в 1976-м.

Щепаньский, у которого постоянно были какие-то стычки со своими соседями в Касинке, предостерегал Лема, что он не должен так легкомысленно терять это сокровище, которым является проживание среди друзей. Но как поменять дом, не меняя адреса? Лемы думали о том, чтобы перестроить старый дом, но архитекторы не советовали. Вероятно, правильно – вышло бы некрасиво, да и много это бы не исправило.

Лемы в первую очередь нуждались в большом помещении для кабинета с библиотекой, а в старом доме его просто негде было сделать. Постройка ещё одного этажа – даже если бы технически

это было возможно (а похоже, что не было) – ничего бы не изменила.

Под конец 1977 года Лемы уже были почти готовы купить участок где-то «в 40 км от Кракова»[474], но в 1978 году им подвернулось отличное предложение. Власти выставили на продажу участок в окрестностях австро-венгерского форта 52 «Борек». Это было идеальное решение – семья могла переехать, не меняя своего окружения, просто переехав из одного дома на улице Нарвик в другой.

Лемы сразу же купили этот участок внушающих размеров – 0,27 гектара[475], на котором могли построить дом их мечты. Эта новость пришла вместе с хорошей новостью из Рима, и сегодня об этом хранится запись где-то под фундаментами этого дома, закопанная вместе с краеугольным камнем[476]. Она свидетельствует, что построение дома началось тогда, когда поляка выбрали Папой Римским.

В начале декабря 1979 года Лем описывал строительные работы Чепайтису. Дом тогда был на этапе между стропилами и «сырым состоянием». Лем выражал в письме надежду, что до того, как выпадет снег, удастся достичь «сырого состояния», позволяющего вести отделочные работы во время зимы. Участок был уже ограждён, а Лем купил для своих строителей фургон «Жук», «потому что с транспортом трудно было» (не забудьте об этом фургоне, если кто-то из читателей будет когда-то участвовать в конкурсе на перечисление всех машин Лема – каждый помнит о «Мерседесе», большинство знает о «Вартбурге», но мало кто слышал о «Жуке»).

Лем рассчитывал на то, что его семья в этом доме отпразднует Рождество в декабре 1981 года. К сожалению, это удастся аж через семь лет.

Первой проблемой было то, что ПНР – согласно идеологии марксизма-ленинизма – не разрешала иметь в личной собственности средства производства. Власти могли разрешить только мелкое ремесло, то есть «самозанятость». Однако существовали разные ограничения, чтобы случайно это ремесло не перестало быть «мелким», потому человек, предоставляющий строительные услуги (на всякий случай!), не может иметь в собственности фургон или бетономешалку, потому что из «самозанятого» лица он может стать владельцем средств производства, то есть эксплуататором пролетариата.

А без таких устройств, разумеется, нельзя справиться со строительными работами. Из этого следует, что все строительные услуги (как и все остальные) предоставлялись в ПНР в атмосфере моральной двусмысленности. Было заранее известно, что тот, кто

предоставляет услугу, хочет кого-то обмануть: либо страну, либо клиента. Клиенту оставалось только молиться, чтобы первое, а не второе, но в случае конфликта он и так не мог обратиться в суд, потому что в первую очередь это плохо закончилось бы для него самого.

Лемам дом должен был строить некий «пан Фредзя». Он всем казался каким-то странным. Щепаньский сразу назвал его мошенником, но описал его в дневнике следующим образом: «спортсмен атлетического телосложения, моряк, хитрец, постоянно шутит»[477]. Пан Фредзьо любил много и красочно рассказывать о том, какой красивый дом построит для Лемов, но за саму работу так охотно не брался.

Когда Лемы спрашивали пана Фредзя о расхождениях между обещанным им графиком работы и реальным положением дел или пытались разузнать какие-то конкретные сроки, то в ответ слышали только длинные монологи о личных проблемах строителя, у которого было много забот с чиновниками, кредиторами и коллегами. Вдобавок он ещё и разводился. Эти излияния он заканчивал обычно выводом, что единственный выход, который он видит, это самоубийство. Разумеется, самоубийства Лемы не хотели, потому не давили на него. Однажды Лемы, однако, прислушались ко мнению Щепаньского, что всё указывает на образ мошенника. Пан Фредзя принял это близко к сердцу. «Вот именно, похоже, я действительно мошенник», – прокричал он, после чего оказалось, что сразу после этого разговора он действительно совершил самоубийство.

Лемы остались с муками совести и недостроем, который удалось покрыть крышей только в 1980 году, однако до «сырого состояния» они не дошли даже в ноябре 1981 года[478]. Позднее, как известно, случилось военное положение, побочным положительным эффектом которого было то, что стройка наконец сдвинулась с места.

Военное положение было последним шансом для лемовского Гориллища, чтобы сожрать ещё каких-то музыкантов. Во всей Польше заработали верификационные комиссии, которые должны были проверить, достоин ли каждый конкретный гражданин продолжать работу в этой профессии.

Племянник Лема, Михал Зых, работал на Телевидении Кракова. Как «правого» по политическим убеждениям, его, конечно, верифицировали отрицательно – так же как и других редакторов, докторов, профессоров, актёров и директоров, его выбросили с работы, и он должен был искать себе новое занятие. Его новым работодателем стал его дядя.

Старый дом отошёл бы к семье Зыхов, потому Михал Зых

имел дополнительную мотивацию, чтобы как можно быстрее закончить строительство нового. После увольнения у него было не слишком много обязанностей, поэтому работа пошла быстрее. Во время редких приездов из венской эмиграции Лемы жили уже в своём новом доме. Семье там очень нравилось, и поэтому они ещё больше давили на писателя, чтобы эта эмиграция закончилась как можно быстрее – в конце концов, после написания «Фиаско» Лема уже ничто не держало на Западе.

Это была последняя книга Лема. Вольфганг Тадевальд со свойственной ему деликатностью несколько раз спрашивал у писателя, над чем он сейчас работает. Лем, однако, рекомендовал ему только то, что мы знали и в Польше, – то есть возобновлённое издание «Человека с Марса», а также книжные издания собранных фельетонов, начиная от «*Sex Wars*».

В 1989 году ещё могло казаться, что проблема здесь чисто техническая. Лем жаловался, что у него барахлят все печатные машинки и он никак не может купить новую, которая бы его удовлетворяла. В этот период писатели массово «пересаживались» на персональные компьютеры, но Лем пока что этого не хотел.

Он посчитал, что самым рассудительным компромиссом между традицией и прогрессом была электрическая печатная машинка, однако проблема была в том, что существовала одна-единственная машинка с польскими символами. Её производила гэдээровская фирма «*ROBOTRON*» (это название веселило Лема, потому что звучало так, как будто было взято из плохого *science fiction*). Лем просил Тадевальда купить её[479]. Фирма «*ROBOTRON*», однако, вскоре перестала существовать, вместе со всей ГДР, а эти машины быстро стали не нужны, равно как и спутниковая антенна на крыше Лема – машинка требовала специальных кассет с лентой, которую уже не производили.

В 1989 году ещё видны следы работы Лема над двумя проектами. Первый из них – это эссеистическая книга под названием «Жизнь в эпоху СПИДа», второй – нечто под названием «Книги, которых я никогда не напишу». Лем несколько раз убеждал Тадевальда, что уже собрал все материалы для обоих проектов, но не может назвать конкретных сроков[480].

Насколько мне известно, книги под этими названиями никогда так и не вышли, но не исключено, что Лем использовал эти материалы в фельетонах и эссе, опубликованных позднее в книжных изданиях – таких как «*Sex Wars*» или «Дорогие времена»[481]. Польский изголодавшийся книжный рынок в девяностые покупал всё, что имело фамилию Лема на обложке – особенно если обложка была кричащей, а название хотя бы намекало, что внутри, возможно, будет хоть что-то,

напоминающее приключения Пиркса, Трурля или Тихого.

В 1992 году Лем получил шанс политической карьеры. Бывший Генсек СССР Михаил Горбачёв написал ему письмо, в котором говорил, что «Сумма технологии» стала одной из самых важных прочитанных им книг, и приглашал его в правление своего «Горбачёв-Фонда»[482]. Лем почёл это за честь, но вернулись проблемы со здоровьем. Он снова был вынужден провести какое-то время в больнице, на этот раз из-за скачков давления[483].

В 1993 году к нему обратились из Голливуда – на этот раз с просьбой купить права на «Солярис»[484] за скромные пятьдесят тысяч долларов. Результатом этого проекта, как известно, стал фильм Содерберга 2002 года с Джорджем Клуни и Наташей Макэлхон в главных ролях. Помня о ссоре с Тарковским, мы, журналисты, тогда боялись, что Лем снова устроит какой-то скандал.

Моя тогдашняя коллега по редакции – Агнешка Минкевич – провела с Лемом разговор, в котором он сделал очень мягкое заявление, которое звучало следующим образом: «Художественное видение Содерберга кажется продуманным и последовательным, однако оно оторвано от оригинала»[485]. Для Лема – это просто комплимент! Бедный Тарковский никогда не дождался даже этого.

Возможно, благодаря этой популярности в девяностых Лема удалось бы разрекламировать на мировом рынке – в США, тем не менее писатель до сих пор не получил такой популярности, как в Германии и России, – но именно тогда стали возникать первые барьеры.

Прежде всего мешало его здоровье. Лем уже долгие двадцать лет отказывался от предложений из-за Атлантического океана – просто потому, что не хотел отправляться в такое долгое и тяжёлое путешествие. А сейчас, когда его постоянно мучили проблемы со спиной и кровообращением, это было уже невозможно по медицинским причинам.

В Штатах, однако, трудно сделать карьеру дистанционно. Писатель должен показываться на встречах с читателями, блистать в дискуссиях и давать интервью. Иначе читатели просто забудут о нём и купят книгу кого-то, кого они вчера видели по телевизору в программе Конана О'Брайена. Редкие примеры, опровергающие это правило, это авторы, которым профессионально подготавливали PR-кампанию, по которой писатель не должен был постоянно выступать на телевидении, потому что, например, во время его отсутствия книгу похвалит Опра Уинфри. В случае Лема это снова-таки было невозможно.

В этот период Лем отдалился от своего агента Франца Роттенштайнера. Тот обижался на Лема из-за «Фиаско» – ведь он сделал всё, чтобы «*Suhrkamp*» подписал с Лемом тот договор, устроил ему выплату аванса и помог в получении стипендии. Он хотел, чтобы с этих пор их сотрудничество проходило только в строгих рамках договора, на что Лем в 1991 году согласился[486], но сразу же пожалел об этом, потому что вдруг осознал, что этот договор слишком много возможностей даёт Роттенштайнеру.

Согласно этому документу, агент должен был получать процент от всех доходов писателя во всём мире, кроме двух исключений – немецкоязычных территорий (это было прерогативой Тадевальда) и бывшего восточного блока. Этот процент не зависел от того, действительно ли издание произойдёт благодаря стараниям Роттенштайнера или нет. Лем почувствовал себя обиженным и потребовал изменения условий. Корреспонденция резко стала неприятной, что закончилось в австрийском суде, и не в пользу Лема.

Это была пиррова победа Роттенштайнера – он отвоевал себе право представлять писателя, который не хотел его знать.

Я разговаривал об этой ситуации с Роттенштайнером в его венской квартире в 2006 году. Тогда он жалел, что всё так закончилось, и сказал, что хотел бы помириться с Лемом. Но было уже поздно[487].

В Польше мы знаем об этой ссоре из её побочного аспекта – по ходу процесса Роттенштайнер угрожал Лему опубликовать их корреспонденцию. Тогда появились домыслы и вопросы: «Что же Лем хотел скрыть?» Я могу ответить на этот вопрос, потому что я видел переписку Лема с Роттенштайнером и Тадевальдом. Их отношения выходили за рамки типичного сотрудничества «писатель – агент». Лем жил в Курдляндии, они – в Люзании. Лем просил их о разных товарах и услугах, недоступных для него в его краковском курдле, – автозапчасти (он порой присылал рисунок от руки «Фиата» или «Мерседеса» со стрелкой, демонстрирующей, о какой части идёт речь), лекарства и даже зубную пасту. Случались и письма типа: «Пожалуйста, купи платье для моей жены. Вот размеры».

Если речь шла о делах Лема, то это мелочь. Но поскольку друзья и родственники знали его как богатого человека с контактами на Западе, то просили его также помочь в личных делах – одолжить денег на адвоката из-за приближающегося развода, устроить приглашение в связи с запланированной эмиграцией или купить недоступное в Польше лекарство. Лем исполнял эти просьбы, обращаясь к своим агентам: «Пожалуйста,

перешли столько-то долларов на такой-то счёт» или «Пожалуйста, вышли такую-то мазь на такой-то адрес».

С этой точки зрения, эти письма являют собой кладезь информации о личной жизни третьих лиц, которые не могли потерять право на приватность только потому, что известный писатель был их другом, родственником или соседом. Много там также информации на тему обычной, ежедневной жизни Лема, потому угрозу их опубликовать он справедливо воспринял как шантаж.

Другое дело, что в тот период писатель отправлял много «разводных» писем (я вновь обращаюсь к дипломатичному термину Томаша Лема). Они были сухие, хоть и очень злые. Станислав Бересь, который оказался одним из адресатов такого письма, не смог сдержать улыбку, читая, хотя это и было очень обидно для него[488]. Такое же письмо получил от Лема в 1997 году даже знаменитый своим ангельским нравом профессор Ежи Яжембский, который в 1997 году получил стипендию в Гарварде. Лем решил, что раз Яжембский уезжает, то забросит писать свои гениальные послесловия для издающейся тогда серии «Собрания произведений»[489]. Ничего подобного не произошло, но писатель по своему обычаю сперва рассердился, а только потом позволил второй стороне объяснить недоразумение. В таких ситуациях конфликт обычно смягчала Барбара Лем. Например, она говорила позвонить на их домашний номер в такой-то день во столько-то часов. Её муж тогда ответит на звонок и покончит с этим делом. Так случилось, например, с Бересем и Яжембским.

«Гедройц недавно написал в «*Kultura*», как тяжела и грустна долговечность, потому что всё больше отмирает друзей человека и одиночество только растёт», – сказал Лем в интервью с Томашем Фиалковским в 2000 году, на пороге нового тысячелетия. С уверенностью он говорил о себе.

Последние годы Станислава и Барбары Лемов прекрасно увековечила на фотографиях Данута Венгель. Мы видим пару пожилых людей, которым хорошо у себя дома. В саду, о котором годами заботилась Барбара Лем, уже выросли большие деревья – Лемам этот сад стал целым миром. На выставке этих фото был Михал Зых, он рассказал о самой большой страсти своего дяди, которой было кормление птиц. Племянник привозил корма для птиц десятками килограммов – он заполнял огромными пакетами багажник до отказа и ехал к дяде с тётей. Лем умудрялся расходовать это всё за день, поскольку ничто не давало ему такого удовольствия, как сидеть на террасе дома и кормить птиц, которые стаями слетались к нему[490].

С середины девяностых Лем уже не писал тексты своей рукой: он диктовал их Томашу либо Войцеху Земеку – секретарю, которого он взял на работу летом 1996 года. В этом смысле Лем как-то смирился с интернетом. На самом деле он не читал имейлы и не отвечал на них собственноручно, но ему можно было отправить вопрос и получить на него ответ.

На особых условиях он сотрудничал с «*Tygodnik Powszechny*» – изданием, с которым уже полвека его объединяли близкие связи. За контакты с Лемом отвечал в редакции Фиалковский, который еженедельно появлялся в кабинете писателя, чтобы записывать его фельетоны на кассетный диктофон.

9 февраля 2006 года Фиалковский записал последний фельетон Лема, названный «Голоса из Сети»[491]. Как последний опубликованный текст писателя, он стал чем-то наподобие публичного завещания.

Лем отвечал в нём на вопросы русских интернет-пользователей, собранные на портале *Inosmi.ru*. Один из них звучал как: «Вы чувствуете себя поляком?» Все восемьдесят пять лет Лему задавали этот вопрос, не всегда с хорошими намерениями. В последние дни жизни он ответил на него просто: «А кем я должен себя чувствовать, бога ради?»

Вечером в тот же день он снова почувствовал себя плохо и поехал в больницу – в последний раз.

Самюэль Лем умер быстро, от инфаркта, на почте. Сабина Лем умирала целый 1979 год и умерла за три дня до восемьдесят седьмого дня рождения. Её сын ушёл подобным образом.

Томаш Лем вспоминает:

> *«Мы прощались несколько раз, но вплоть до того последнего раза всё наперекор судьбе заканчивалось счастливо. Сценарии всегда были подобны. Ночное падение с лестницы из-за инсулинового помрачения, падение в ванне из-за потери сознания и рассечение лба, внутреннее кровотечение, вызванное передозировкой обезболивающих лекарств после перелома ноги. Такие истории любят случаться в субботу вечером или ночью (отец ведь вставал в три часа утра). Порой необходимо было реанимирование во время транспортировки […].*
>
> *Потому последняя поездка в больницу с болезнью почек и воспалением лёгких не отличалась особо от предыдущих, в некотором смысле эта госпитализация проходила даже спокойнее, так как отец самостоятельно сел в «Скорую», а бывало, что врачи заносили его в*

*автомобиль с кислородной маской.*

*Его могила на краковском Сальваторском кладбище, вероятно, единственная без креста. Она напоминает мне своей формой книгу – а может, это лишь рефлекс, из-за которого любой прямоугольник, на котором виднеется надпись «СТАНИСЛАВ ЛЕМ», кажется мне книгой.*

*Но если это лишь книга, то её названием является латинское выражение, которое Лем сам выбрал для своей могилы: «FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES». Таким образом книгу своей жизни он назвал так: «Я сделал всё, что смог. Пусть те, кто сможет, сделают лучше».*

# Библиография

Тексты Лема я цитирую в основном по серии «Произведения Станислава Лема», которая вышла в издательстве «Агора *SA*» в 2008–2010 годах[492]. Важным исключением является трилогия «Неутраченное время», которую я цитирую по последнему изданию 1965 года.

Когда в книге я обращаюсь к интервью Береся или Фиалковского, то речь идёт, разумеется, о «Так говорил… Лем. Беседы со Станиславом Лемом» (Краков, «*Wydawnictwo Literackie*», 2002)[493] и «Мир на краю. Со Станиславом Лемом разговаривает Томаш Фиалковский» (Краков: *«Wydawnictwo Literackie»*, 2000; электронное издание: «*Cyfrant*», 2008). Если речь идёт о книге Береся, то с целью сравнения я проверял те же фрагменты в первом издании, опубликованном в 1987 году в «*Wydawnictwo Literackie»* как «Разговоры со Станиславом Лемом». Издания существенно отличаются – порой была произведена замена одних выражений на другие, что только подтверждает тезис, что игры Лема с обоими собеседниками не являются простыми оговорками, а представляют собой целенаправленно зашифрованные сообщения.

Лавры первенства в расшифровке Лема, безусловно, принадлежат Агнешке Гаевской. Её книга «Гибель и звёзды. Прошлое в прозе Станислава Лема» (польск. «*Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema») (*Познань: «*Wydawnictwo Naukowe UAM*», 2016) – это плод титанического, пионерского труда ради восстановления генеалогического древа всей семьи Лемов, военной и сразу послевоенной судьбы семьи (Гаевская, к примеру, узнала, что Северин Кахане – самая знаменитая жертва келецкого погрома 1946 года – был далёким родственником Лемов), раскрытия путаницы по поводу права собственности на львовскую недвижимость Лемов (в этой книге я упрощения ради пишу, что каменица на Браеровской принадлежала Самюэлю Лему, хотя это было несколько сложнее). Тот, кто интересуется этими темами, безусловно, должен обратиться к книге Гаевской.

Реалии трёх львовских оккупаций я показываю на основании двух книг – монументальной монографии Гжегожа Мазура, Ежи Сквары и Ежи Венгерского «Хроника 2350 дней войны и оккупаций Львова, 1 IX 1939–5 II 1946» (пол. «*Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 1 IX 1939–5 II 1946») (*Катовице: «*Unia*», 2007) и публикации Гжегожа Хрицюка «Поляки во Львове 1939–1944. Каждодневная жизнь» (польск. «*Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne»)* (Варшава: «*Książka i Wiedza*», 2000). Более того, я

прочёл много изданных воспоминаний и дневников, из которых часть цитирую в примечаниях автора – это в том числе воспоминания Янины Хешелес «Глазами двенадцатилетней девочки» (Киев: *Дух и Литера*, 2011) (польск. «*Oczyma dwunastoletniej dziewczyny*», Варшава: «*Żydowski Instytut Historyczny*», 2015).

В отображении русских и советских реалий в судьбе Лема первенство принадлежит Виктору Язневичу («Станислав Лем», Минск: «Книжный дом», 2014) и Геннадию Прашкевичу и Владимиру Борисову («Станислав Лем», Москва: «Молодая гвардия», 2015).

С начала пятидесятых жизнь Лема почти ежедневно описывалась в корреспонденции с друзьями и в дневнике его друга Яна Юзефа Щепаньского. Дневник я цитирую по пятитомному изданию «*Wydawnictwo Literackie*», опубликованному в 2010–2017 годах. Это же издательство опубликовало корреспонденцию Лема со Славомиром Мрожеком («Письма», польск. «*Listy*», 2011), Майклом Канделем («Слава и Фортуна. Письма Станислава Лема к Майклу Канделю 1972–1987», польск. *«Sława i Fortuna. Listy Stanisława Lema do Michaela Kandla 1972–1987»*, 2013) и к другим адресатам («Письма, или Сопротивление материи», польск. «*Listy albo Opór materii*», 2002).

Благодаря семье писателя и его секретарю Войцеху Земеку, я смог воспользоваться также неопубликованными письмами – прежде всего письмами к Александру Сцибору-Рыльскому, Ежи Врублевскому, Владиславу Капущинскому, Вольфгангу Тадевальду, Францу Роттенштайнеру, Ариадне Громовой и Виргилиусу Чепайтису. Ценным источником информации были также разговоры с Войцехом Земеком, Барбарой Лем, Томашем Лемом и Михалом Зыхом. А из всех «окололемовских» книг самой интересной, по моему личному мнению, является «Приключения в поле всемирного тяготения» (польск. «*Awantury na tle powszechnego ciążenia*») Томаша Лема (Краков: *«Wydawnictwo Literackie»*, 2009).

Бартош Тобола в своей магистерской работе «Образ Станислава Лема в польской прессе 1952–1961» (польск. «*Sylwetka Stanisława Lema w prasie polskiej w latach 1952–1961»)*, написанной под руководством доктора наук Войцеха Кайтоха (Краков: «*Uniwersytet Jagielloński»*, 2015), сосредоточился на особенно интересном периоде в жизни Лема, в котором из малоизвестного писателя он превратился в автора бестселлеров.

Донос Дика на Лема впервые опубликовал в 1991 году Пол Уильямс, распорядитель литературного наследия американского писателя и редактор многотомного издания «Избранные письма

Филипа К. Дика» (англ. «*The Selected Letters of Philip K. Dick»)*. В Польше чуть позже этот донос опубликовал в собственном переводе Лех Енчмык, главный редактор «*Fantastyka*» в материале «Существуете ли вы, мистер Лем?» (польск. «*Czy pan istnieje mister Lem?»*, «Fantastyka», сентябрь 1991). Остальные (нелемовские) подробности из жизни Дика я представляю по двум изданным в Польше биографиям Дика. Первая из них – это «Божественные вторжения. Жизнь Филипа К. Дика» («*Divine Invasions: A Life of Philip K. Dick*») Лоуренса Сутина. Вторая – «Человек, который помнил будущее» (польск. «*Człowiek, który pamiętał przyszłość», англ. «The Man, Who Remembered the Future*») Энтони Пика.

В конце осталось неловко упомянуть о цитировании самого себя. «Что такое сепульки? Всё о Леме» (польск. «*Co to są sepulki? Wszystko o Lemie»)* (Краков: «*Znak*», 2007) – это моя первая в жизни книга. Как дебютант, лишённый опыта, я сделал в ней много ошибок. Прежде всего – не сохранил рабочие записи. Я писал книгу сразу, просто на ноутбуке в Национальной Библиотеке в Варшаве. Я делал отсылки к высказываниям Лема в прессе или материалам о Леме, но не записывал источников для себя, так как не знал, что это нужно (теперь знаю!).

Восстановление всех источников требовало бы выполнения той же работы заново, потому по причине лени я в нескольких местах этой книги ограничусь цитированием фрагментов той первой – клянусь, что я ничего не выдумал и эти цитаты до сих пор можно найти где-то в недрах Национальной Библиотеки.

# Благодарности

В год премьеры этой книги[494] исполняется двадцать лет моей работы в «*Gazeta Wyborcza*». За эти годы я сформировался как журналист (и не только). Я многому научился. Это бесценное сокровище – сидеть за соседним столом с самыми выдающимися специалистами биографии, репортажа и интервью.

Это плохо обо мне свидетельствует, но лишь работа над этой книгой дала мне это понять. При ней я столкнулся с проблемами этики и мастерства – и мне очень помогла возможность задавать вопросы: «А как вы бы это сделали?» – людям, которые для меня в этой сфере являются неоспоримыми авторитетами. Я бы хотел начать эти благодарности необычно – с благодарностей коллегам из «*Gazeta Wyborcza*» за всё, чему научился от них за эти двадцать лет.

Я бы не смог написать эту книгу, если бы не помощь и доверие Барбары Лем, Томаша Лема и Михала Зыха, а также Войцеха Земека – распорядителя творческого наследия писателя. Благодаря им я имел доступ к неопубликованным материалам, мог задавать разные, порой очень странные вопросы, а также исследовать все закоулки обоих домов на улице Нарвик. Я надеюсь, я не подвёл их.

Много мне помог также Витольд Колодзей, который жил в одной квартире с «дядей Сташеком» на Бонеровской. Я благодарю за разговор, который позволил мне лучше понять несколько деталей из биографии писателя.

Агнешка Гаевская предоставила мне свою книгу ещё до её выхода в печать, а также прочла первую версию нынешней биографии. Ценные замечания и невероятные открытия, которые она сделала во львовских архивах, позволили мне избежать нескольких грубых ошибок. С большим интересом я ожидаю её следующую книгу – и рекомендую её всем адептам лемологии.

Я благодарю директора Анджея Курца за встречу, в которой он описал мне вторую сторону разнообразных споров Лема с «*Wydawnictwo Literackie*» – которое тем не менее оставалось его любимым издательством (и как видно из биографии и примечаний в этой книге, до сих пор остаётся литературным центром лемологии).

Андрей Павлышин помог мне увидеть Львов глазами Лема и глазами современного львовянина. Эти общие прогулки для меня были ценные не только с познавательной точки зрения, но и дали мне огромное личное удовольствие. Спасибо.

Виктор Язневич, русский переводчик Лема, помогал мне

неотрывно следить за прогрессом в русской лемологии. Благодарю его за помощь в понимании ситуации, в которой семья Лемов оказалась во время второй советской оккупации Львова (1944–1945), о чём до сих пор известно относительно немного.

Вместе с этой книгой создавался также фильм «Автор Солярис» в режиссуре Бориса Ланкоша. Это был прекрасный опыт для меня, который позволил по-новому взглянуть на творчество Лема, найти в нём то, что видит киношник, – ритм, звук, краски. Все тираны из «Кибериады» теперь для меня имеют лицо и голос Роберта Гонеры! Я благодарю всю съёмочную группу – Магду Ланкош, Михала Госьчика, Войцеха Анущика – и прошу прощения у тех, о ком не вспомнил. Было невероятно интересно смотреть, как работают профессионалы.

Поддержка Фонда Польско-Немецкого Сотрудничества профинансировала мои лемологические поездки во Львов, Берлин и Вену. Большое спасибо!

Наконец, я хотел поблагодарить издательство «*Czarne*», прежде всего Монику Шнайдерман за её ангельское терпение. Редактор Войцех Горнась и корректоры Катажина Рыцко и Камиля Зимницкая-Вархол спасли меня от ошибок, и имя им – легион.

В конце концов благодарю также Лукаша Найдера, который не только выдумал эту книгу, но и терпеливо пробивался через мои извечные «ну зачем это» и «этого же никто не купит». Если вы купили её, дорогой читатель, то благодарю вас особенно искренне. Ведь самая большая радость пессимиста – когда кто-то докажет ему, что он ошибался.

**notes**

# Сноски

# 1

Первая часть латинского выражения: *Feci, quod potui, faciant meliora potentes* – Я сделал всё, что мог, пусть те, кто сможет, сделают лучше. – *Прим. пер.*

# 2

Здесь и далее цитаты из «Высокого Замка» приведены в переводе Е. Вайсброта.

# 3

Цитаты из прозы Станислава Лема подаются на основании описанных в Библиографии (если не указано другое).

# 4

Stanisław Lem, *Powrót do prajęzyka*? w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

# 5

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

# 6

Об этом свидетельствует документ, который хранится в семейном архиве, – нотариально заверенная выписка, составленная в 1953 году из свидетельства австро-венгерского еврейского ЗАГСа во Львове; выписка подтверждает, что «фамилия звучит как Лем, а не Лехм».

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy… op. cit.*

# 8

Волей-неволей (*лат.*).

# 9

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 06.09.1975.

# 10

Barbara Mękarska-Kozłowska, *Burza nad Lwowem*, Warszawa: Polska Fundacja Kulturalna, 1996.

# 11

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 24.12.1978.

# 12

От ND – Narodowa Demokracja.

# 13

Все цитаты из интервью Станислава Береся взяты из книги Станислава Береся «Так говорил… Лем» (Беседы со Станиславом Лемом).

Tomasz Fiałkowski, *Swiat na krawędzi*, Cyfrant, 2000.

# 15

Tomasz Lem, *Awantury na tle powszechnego ciążenia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

# 16

Станислав Лем, письмо к Михаэлю Канделю, 10.11.1972.

# 17

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 6.04.1985.

# 18

Лемолог Виктор Язневич установил по польским публикациям начала XX века, что на самом деле это был «диплом доктора всех медицинских наук», то есть подтверждение получения отцом писателя научной степени. – *Прим. ред.*

# 19

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 20.08.1975.

# 20

Цит. по «Путешествие Пятое А, или Консультация Трурля», из «Кибериада», пер. с польск. А. Громовой.

# 21

Stanisław Lem, *Moje choinki*, «Przegląd», 16 grudnia 2002.

# 22

Anna Mieszkowska, *Ja, kabareciarz. Marian Hemar od Lwowa do Londynu*, Warszawa: Muza, 2006.

# 23

Лемолог Виктор Язневич установил по документам того времени, что упоминаемого здесь и далее (а также в книге Агнешки Гаевской) доктора Марека Вольнера на самом деле звали Гецель Вольнер. – *Прим. ред*.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy… op. cit.*

# 25

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому от 30.08.1973.

## 26

На самом деле писатель был внуком изобретателя, но дед больших денег заработать не сумел и практически ничего не оставил в наследство своей семье. – *Прим. ред*.

# 27

Stanisław Lem, *Zagłada i jej uwertura*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

# 28

Stanisław Lem, *Powrót do prajęzyka?*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

# 29

Wanda Ossowska, *Przeżyłam…* Lwów – Warszawa, 1939–1946, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

# 30

Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 1 IX 1930–5 II 1946*, Katowice: Unia, 2007 – если не указано другого, то далее даты и факты, касающиеся военного Львова, подаются по этому источнику.

# 31

Современное название улицы.

Zbigniew Domosławski, *Mój Lwów. Pamiętnik czasu wojny*, Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie, 2009.

# 33

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne*, Warszawa: Książka i Wiedza, 2000.

Это, кстати говоря, общее для других свидетельств вхождения русских во Львов – рефреном возвращается в этих описаниях удивление жалким видом победителей и их чертами лица, описываемыми как «монгольские» или «калмыцкие».

Wanda Ossowska, *Przeżyłam… op. cit.*

Karolina Lanckorońska, *Wspomnienia wojenne*, Kraków: Znak, 2007.

Barbara Mękarska-Kozłowska, *Burza nad Lwowem*, Warszawa: Polska Fundacja Kulturalna, 1996.

От УБ – управление безопасности.

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.*

Karolina Lanckorońska, *Wspomnienia wojenne, op. cit.*

# 41

Tadeusz Tomaszewski, *Lwów. Pejzaż psychologiczny*, Warszawa: WIP, 1996 – это воспоминания психолога мировой славы, который всю оккупацию пытался сохранить имущество и защитить сотрудников Университета Яна Казимира. Книга являет собой интересный исследовательский материал, касающийся академической жизни того времени.

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.*

## 43

Там же.

Там же.

# 45

Вообще-то «жидлячить» – это говорить по-польски с еврейским акцентом, а еврейского жаргона польского языка не существует. – *Прим. ред.*

Там же.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Stanisław Bereś, *Rozmowy ze Stanisławem Lemem*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.*

Там же.

# 51

Там же.

Там же.

Janina Hescheles, *Oczyma dwunastoletniej dziewczyny*, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2015.

Там же.

Tadeusz Tomaszewski, *Lwów… op. cit.*

Эти материалы показал Михаэль Празан в ужасающем документальном фильме «Einsatzgruppen. The Death Brigades», Francja 2009.

Здесь и далее все цитаты приведены по тексту: С. Лем, «Глас Господа», пер. с польск. Р. Нудельмана, А. Громовой, К. Душенко.

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

# 59

Там же.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy… op. cit.*

# 61

«Obłok Magellana» nad Lwowem [odcinek serialu Salon kresowy], reż. Jerzy Janicki, Polska 2003.

Władysław Bartoszewski, Michał Komar, *Prawda leży tam, gdzie leży*, Warszawa: PWN, 2016.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy… op. cit.*

Томаш Фиалковский, разговор от 25.08.2015 в Варшаве.

Brigitte Waks-Attal, Irena Gewerc-Gottlieb, воспоминания свидетелей истории записаны благодаря Обществу «Brama Grodzka» в Люблине, *teatrnn.pl/hi-storiamowiona/indeks/swiadkowie* (dostęp 28.02.2017).

Кремина нет в биографиях Глобоцника авторства Берндта Ригера, потому, вероятно, это не была близкая дружба, но, в свою очередь, без каких-либо знакомств Кремин не мог бы работать так, как работал. Источником информации об их дружбе являются рассказы выживших.

## 67

Воспоминания свидетеля приведены на основе: Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa… op. cit.*

Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

Paweł Goźliński, Jarosław Kurski, *Mój przyjaciel pesymista [wywiad z Władysławem Bartoszewskim / интервью с Владиславом Бартошевским]*, «Gazeta Wyborcza», 31.12.2008.

Filip Friedman, *Zagłada Żydów lwowskich*, Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1945, цит. по: Edward Jaworski, *Lwów. Losy mieszkańców i żołnierzy Armii Krajowej w latach 1939–1956*, Pruszków: Ajaks, 1999.

# 71

Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa… op. cit.*

Там же.

Edward Jaworski, *Lwów… op. cit.*

Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa… op. cit.*

# 75

False Papers Issued to Sophie Kimelman under the Name Zosia Nowak, United States Holocaust Memorial Museum, *http://collections.us-hmm.org/search/catalog/pa1156377* (dostęp 28.02.2017).

Стих В. Шимборской «Минута молчания по Людвике Ваврженской», пер. с польск. Н. Матвеевой-Пучковой.

«Операция “Рейнгард”», сборник «Хрустальный шар», пер. с польск. В. Борисова.

Такое название появляется в интервью Станислава Береся.

# 79

Капитуляция наступила 2 февраля 1943 года – это опять-таки вопрос моего презентизма, но мне кажется, что уже с этого времени каждый немец должен был бояться. Идеальным моментом была речь Геббельса 18 февраля 1943 года о том, что победа требует усилия «каждого немца», более-менее тогда Лем убегал из *Rohstofferfassung* (если принимаем за правду рассказ о Тиктине).

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.*

# 81

Там же.

# 82

Там же.

## 83

Справедливости ради следует заметить, что Пятая авеню во время написания «Человека с Марса» была улицей с двусторонним движением (односторонним оно стало с 1966 года). – *Прим. ред*.

Станислав Лем, от 28.11.1990.

# 85

Виткаций – сокращённое имя, под которым известен польский писатель и художник Станислав Виткевич.

«Только для немцев».

Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.*

Этническая группа, населяющая часть Поморья.

Виктор Язневич, *Станислав Лем*, Минск: Книжный дом, 2014.

Виктор Язневич, разговор от 24.10.2015 в Варшаве.

# 91

Цитата из: С. Лем, «Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие восьмое», пер. с польск. К. Душенко.

Войцех Земек, разговор от 6.02.2016 в Кракове.

Геннадий Прашкевич, Владимир Борисов, *Станислав Лем*, Москва: Молодая гвардия, 2015.

Сан – река в юго-восточной Польше, приток Вислы.

Ryszard Gansiniec, *Notatki lwowskie (1944–1946)*, Wrocław: Sudety, 1995.

# 96

Самюэль Лем, рукопись биографии добавлена к заявлению о работе.

# 97

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 28.01.1965.

# 98

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 20.08.1973.

# 99

Станислав Лем, письмо к неизвестной исследовательнице литературы от 17.04.1967.

Marcin Zaremba, *Wielka trwoga. Polska 1944–1947*, Kraków: Znak, 2012.

## 101

В интервью Лем называет её «пани Оля»; Витольд Колодзей (разговор от 5.02.2016 в Кракове) уточняет, что это сокращение от Ольги.

# 102

Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

# 103

Stanisław Lem, *Zapach minionego*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

# 104

Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

# 105

Wojciech Orliński, *Co to są sepulki? Wszystko o Lemie*, Kraków: Znak, 2007.

Stanisław Lem, *Żegluga*, w: tegoż, *Krótkie zwarcia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004.

# 107

Stanisław Lem, *Przystań na Wiślnej*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

# 108

Перевод Аркадия Штыпеля.

# 109

Stanisław Lem, [felieton w «Tygodniku Powszechnym» 2004, nr 24].

# 110

Если не указано другое, все цитаты о Хуссарском приводятся из книги Фиалковского.

# 111

В переводе В. Язневича.

# 112

Ян Юзеф Щепаньский записал в дневнике от 31.10.1953, что в Пшегожалах у Хуссарских Лем читал ему «кукольную пьесу», «очень смешную и хорошую» – запись немного загадочна, потому что Щепаньский ошибочно приписал Хуссарскому соавторство. Это не была «кукольная пьеса», но в 1953 году Щепаньский мог бояться написать правду в дневнике (все цитаты приведены из дневника Щепаньского на основе издания: Jan Józef Szczepański, *Dziennik*, tomy I–IV, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009–2015).

# 113

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

# 114

Томаш Лем в переписке от 8.01.2015 написал: «Боюсь, точной даты мы не установим».

# 115

Wojciech Orliński, *Odkryto niepublikowane utwory Stanisława Lema!*, «Gazeta Wyborcza», 13.10.2008.

*«Автор “Солярис”»*, реж.: Борис Ланкош, TV ARTE-TVP Kultura, 2016.

# 117

Это здание и до сегодняшнего дня называется Дворец Науки и Культуры.

# 118

С англ. overkill – слишком мощный прием в борьбе, который применяется не для победы, а для демонстрации силы.

# 119

Лем не был бы собой, если бы не сообщал разным собеседникам разные даты, у Фиалковского можно встретить даже 1947 год. Однако1948 год кажется мне более правдоподобным.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Вообще-то это не учёные. Ляпунов – критик и исследователь фантастики, Казанцев – писатель-фантаст. – *Прим. ред.*

Kamila Budrowska, *Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.

# 123

Здесь и далее все цитаты приведены по тексту: С. Лем, «Магелланово облако», пер. с польск. Л. Яковлевой.

# 124

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 18.07.1952.

Stanisław Lem, *Powrót do prajęzyka?*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

Stanisław Lem, *Przystań na Wiślnej* (как выше).

# 127

ПАКС (также Ассоциация «ПАКС») – светская католическая организация, созданная в ПНР в 1947 году, имеющая цель сотрудничать с коммунистическими силами.

Stanisław Lem, *Żegluga* (как выше).

# 129

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 19.03.1953.

# 130

Stanisław Lem, *Wejście na orbitę*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1962.

# 131

Jeremi Przybora, *Przymknięte oko Opaczności, memuarów część II*, Warszawa: Tenten, 1998, cyt. za: Tomasz Lem, *Awantury na tle powszechnego ciążenia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

# 132

Речь идёт о Кракове, здесь и далее в письмах Станислава Лема грамматические и стилистические ошибки допущены Лемом умышленно и отражены в переводе.

## 133

Здесь и далее выражение «алчность (или жадность) мамоны» используется метафорично. Лем обращался к арамейскому (не к древнегреческому).

# 134

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 10.01.1956.

# 135

Завод легковых автомобилей (польск. FSO – Fabryka Samochodów Osobowych).

# 136

Stanisław Lem, *Dwa pantofle i drabina*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995; Лем, как это часто бывает, в разных местах даёт разные даты, например во вступлении ко второму изданию он указывает 1954 год.

## 137

Виктор Язневич установил, что коллегой Лема по лекторию Хойновского был Стефан Освецимский (так правильнее записать его фамилию). Впоследствии профессор Стефан Освецимский стал ведущим польским классическим филологом, перевёл на польский и русский языки работу Николая Коперника «О вращении небесных сфер». – *Прим. авт. и ред*.

Точнее, в опубликованной в 1948 году работе «Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine». – *Прим. ред.*

# 139

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 27.05.1958.

Это слово у Лема написано на русском.

# 141

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 9.06.1956.

# 142

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 21.12.1956.

# 143

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.12.1956.

# 144

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.12.1956.

# 145

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 21.12.1956.

# 146

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 29.10.1953.

Isaiah Berlin, *Karol Marks. Jego życie i środowisko*, Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

# 148

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 10.01.1956.

# 149

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.01.1956.

# 150

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 4.05.1956.

# 151

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 26.06.1956.

Сморчки. – *Прим. ред.*

# 153

Там же.

# 154

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 2.08.1956; из: Tomasz Lem, *Awantury na tle powszechnego ciążenia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009 (в книге Томаша Лема ошибочно описанное как письмо к Сцибору-Рыльскому).

# 155

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 26.06.1956.

# 156

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.05.1954.

# 157

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 30.03.1956.

# 158

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 5.04.1956.

# 159

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 10.01.1956.

Aleksander Ścibor-Rylski, W poszukiwaniu epickiego klucza, «Nowa Kultura» 1955, nr 44.

# 161

Adam Włodek, *Dlaczego nie czytałem «Obłoku Magellana»*, «Życie Literackie» 1954, nr 47.

# 162

Как это часто бывает у Лема, даты разнятся. В предисловии ко второму изданию он писал, что в 1954 году. В фельетоне-воспоминании в «Общественном еженедельнике», в свою очередь, указал, что начал писать «Диалоги» в возрасте 31 года, что давало бы 1952 год.

# 163

На основе интервью с Анджеем Кужем 13.04.2015 в Варшаве.

# 164

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 21.12.1956.

# 165

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.01.1957.

# 166

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 22.05.1957.

# 167

Danuta Kępczyńska, *Dialogi Lema*, «Nowe Książki» 1957, nr 17.

# 168

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 15.03.1957.

# 169

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.04.1957.

# 170

Станислав Лем, письмо к Рафаилу Нудельману, 19.04.1974.

# 171

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 22.05.1957.

Polska Kasa Oszczędnościowa – Польская Сберегательная Касса.

# 173

В переводе с польского rondel – это кастрюля.

# 174

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 27.08.1957.

# 175

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.06.1958.

# 176

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.06.1958.

# 177

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 26.09.1958.

# 178

Там же.

# 179

Польская сеть продажи автомобилей, существует и сегодня, только уже является частной.

# 180

Там же.

# 181

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 20.01.1958.

# 182

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.06.1958.

# 183

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 15.04.1958.

# 184

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.06.1958.

# 185

Там же.

Там же.

# 187

Там же.

# 188

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 4.09.1956.

# 189

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 26.09.1958.

# 190

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 20.04.1958.

# 191

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 23.06.1959.

# 192

Здесь и далее цитаты из рассказа приведены по тексту «Вторжение с Альдебарана», пер. с польск. И. Левшина.

# 193

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 26.05.1959.

## 194

Советско-польский фильм «Дознание пилота Пиркса» на русском языке был отсылкой к рассказу «Дознание», а на польском языке назывался в буквальном переводе «Испытание пилота Пиркса» («Test pilota Pirxa»), что могло вызвать ассоциации с рассказом «Испытание» («Test»). – *Прим. ред.*

Jerzy Jarzębski, *Smutek Edenu* [posłowie], w: Stanisław Lem, *Eden*, Warszawa: Agora, 2008.

# 196

Здесь и далее фрагменты из романа «Эдем» приведены по тексту: С. Лем, «Эдем», пер. с польск. Д. Брускина.

# 197

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.05.1959.

# 198

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 4.09.1952.

# 199

Михал Зых, разговор от 15.06.2015 в Кракове.

# 200

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

# 201

Stanisław Lem, *Mamuty i polityka*, «Tygodnik Powszechny» 2005, № 14.

# 202

Славомир Мрожек, письмо к Станиславу Лему, 14.01.1959.

# 203

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 6.05.1962.

# 204

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 20.05.1959.

# 205

Цитата из «Рассказа Пиркса», пер. с польск. К. Душенко.

# 206

Славомир Мрожек, письмо к Станиславу Лему, 7.09.1961.

# 207

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 18.01.1963.

# 208

Эта и предыдущая цитата: Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 26.05.1959.

# 209

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 23.06.1959.

# 210

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 31.05.1959.

# 211

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 27.06.1961.

# 212

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 20.05.1959.

# 213

Oldtimer Markt Preise 2014.

# 214

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 14.11.1959.

# 215

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 8.05.1959.

Wojciech Orliński, *Co to są sepulki? Wszystko o Lemie*, Kraków: Znak, 2007.

# 217

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 4.09.1961.

# 218

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 31.05.1959.

# 219

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 23.06.1959.

# 220

Цитаты из романа «Солярис» приведены по тексту: С. Лем, «Солярис», пер. с польск. Д. Брускина.

# 221

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 4.09.1961.

# 222

Речь идёт о Театре Разнообразия в Варшаве (польск. Teatr Rozmaitości w Warszawie), который сокращённо привыкли называть ТР-Варшава, находится в центре города, на ул. Маршалковская, 8.

# 223

Здесь и далее цитаты по книге: С. Лем, «Возвращение со звёзд», пер. с польск. Р. Нудельмана.

Здесь и далее цитаты приведены по книге: С. Лем, «Солярис», пер. с польск. Д. Брускина.

# 225

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 27.06.1961.

# 226

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 4.09.1961.

# 227

Цитата из книги «Рукопись, найденная в ванне», пер. с польск. О. Колесникова.

# 228

Вообще говоря, Гибариан – не совсем армянская фамилия, и Тарковский в своей версии фильма её немного изменил, так что в фильме она стала действительно армянской – Гибарян. – *Прим. ред.*

# 229

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 10.04.1961.

# 230

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 25.05.1961.

# 231

Тем не менее в газете «Советская культура» от 18 апреля 1961 года была опубликована статья Лема «Смелее любой фантазии» о полёте Юрия Гагарина. – *Прим. ред.*

Dariusz Tolczyk, *See No Evil. Literary Cover-ups and Discoveries of the Soviet Camp Experience*, Yale: Yale University Press, 1999.

## 233

На самом деле первое книжное издание романа «Солярис» вышло на русском языке в 1963 году, в сборнике «В мире фантастики и приключений». – *Прим. ред.*

# 234

Лем рассказывал этот анекдот многократно, в том числе ниже подписавшемуся – здесь я привожу его по изданию: Stanisław Lem, *Goście z Petersburga*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

На самом деле – в Ленинграде. – *Прим. ред.*

# 236

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 1.12.1962.

## 237

На самом деле, третий приезд в СССР Лем совершил в октябре 1969 года. – *Прим. ред.*

# 238

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому (без даты, вероятно, ок. 1966).

# 239

С чешского: «Это вы написали “Эдем”? Я понимаю».

На самом деле «Эдем» был издан в ЧССР в 1959 году (в журнале) и в 1960 году (отдельной книгой). – *Прим. ред.*

# 241

В Кобежине располагается Краковская психиатрическая больница. – *Прим. ред.*

# 242

С польск. «Кабаре мужчин в возрасте» – телевизионные программы, польское сатирическое кабаре.

## 243

С польск. «Домашняя война», польский комедийный сериал о судьбе двух семей, которые сталкиваются с ежедневными проблемами.

## 244

С польск. «Ставка больше, чем жизнь» – польский чёрно-белый ТВ-сериал о приключениях польских секретных агентов.

## 245

С польск. «мы вместе, чтобы желаний силы суметь усилить» – отрывок из песни «*Jeżeli Kochaćć*» (с польск. «Если любить»).

# 246

Группа Школ Пластических им. Антония Кенара в Закопане – школа много лет славится престижными пластическими занятиями, работы её учеников выставлялись на продажу, хоть в практике покупка этих работ требовала связей и знакомств, Блоньского больше всего раздражало то, что кто-то оказался важнее его, отсюда логический переход от вопроса стульев к «непризнанному критику».

# 247

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 31.08.1967.

# 248

Ян Блоньский, письмо к Славомиру Мрожеку, 6.10.1963.

# 249

Ян Блоньский, письмо к Славомиру Мрожеку, 13.03.1964.

# 250

Речь идёт о Мокотовской тюрьме, которая фактически была пыточной УБ, начала работать 24 ноября 1904 года и действовала даже после падения сталинизма.

# 251

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 30.11.1969.

# 252

Славомир Мрожек, письмо к Станиславу Лему, 19.07.1964.

# 253

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 14.07.1964.

# 254

Славомир Мрожек, письмо к Станиславу Лему, 20.10.1964.

# 255

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 18.01.1963.

У Канделя этого героя зовут Chloryan Theoreticus the Proph.

Здесь и далее цитаты из этого текста приведены по изданию: С. Лем, пер. с польск. К. Душенко.

## 258

В русском переводе К. Душенко подано «Босотрон», то есть перепутаны были буквы «г» и «с».

## 259

Речь идёт о Национальной библиотеке (польск. Biblioteka Narodowa) в Варшаве по адресу пр-кт Независимости, 213.

# 260

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 30.05.1972.

# 261

Барбара Лем, разговор 19.06.2015 в Кракове.

# 262

Здесь и далее цитаты из этого произведения приведены по: С. Лем, «Путешествие тринадцатое Ийона Тихого», пер. с польск. В. Язневича.

# 263

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.03.1964.

## 264

Лем путает два издательства – пражское Mladá Fronta и московскую «Молодую гвардию»; оба издали «Тринадцатое путешествие», в 1964 и 1961 годах соответственно.

# 265

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 19.04.1963.

Барбара Лем, разговор 19.06.2015 в Кракове.

# 267

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 29.01.1965.

# 268

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.10.1965.

# 269

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 10.11.1965.

# 270

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому (без даты, вероятно, ноябрь или декабрь 1965 года).

# 271

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому (без даты, вероятно, ноябрь или декабрь 1965 года).

# 27 2

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 2.08.1965.

# 273

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 26.04.1972.

# 274

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 5.07.1965.

# 275

Ян Блоньский, письмо к Славомиру Мрожеку, 16.02.1966.

# 276

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 22.10.1963.

# 277

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 6.10.1963.

# 278

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 1.06.1963.

# 279

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 5.06.1965; «Wydawnictwo Literackie» добавило примечание: «Неизвестно, о каком романе Миллера идёт речь», но в свете письма Мрожека это кажется очевидным.

# 280

Витольд Колодзей, разговор 5.02.2016 в Кракове.

# 281

Михал Зых, разговор 15.06.2015 в Кракове.

# 282

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 15.07.1962.

# 283

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 18.01.1963.

# 284

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 20.05.1964.

# 285

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 4.08.1965.

# 286

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 5.02.1963.

# 287

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 9.04.1964.

# 288

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 2.04.1964.

# 289

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 24.09.1969.

Там же.

# 291

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 9.07.1965.

# 292

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 2.08.1965.

# 293

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 18.08.1965.

# 294

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 6.03.1966.

# 295

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 4.06.1966.

# 296

Ян Блоньский, письмо к Славомиру Мрожеку, 11.07.1964.

# 297

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 15.05.1964.

# 298

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 8.02.1963.

# 299

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 10.04.1961.

# 300

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 13.12.1961.

# 301

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 6.05.1962.

# 302

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 28.01.1965.

# 303

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 15.03.1964.

# 304

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 9.04.1964.

# 305

Здесь и далее цитировано по: С. Лем, «Кибериада», пер. с польск. К. Душенко.

# 306

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 8.05.1972.

# 307

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 24.09.1964.

# 308

Цит. по: С. Лем, «Как уцелела Вселенная», пер. с польск. Ю. Абызова.

# 309

Цит. по: С. Лем, «Кибериада», пер. с польск. А. Громовой.

# 310

Цит. по: С. Лем, «Кибериада», «Путешествие Третье, или Вероятностные драконы», пер. с польск. Ф. Широкова.

# 311

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 24.11.1964.

# 312

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 9.07.1965.

# 313

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 30.10.1967.

# 314

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 27.04.1967.

# 315

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 2.05.1967.

# 316

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 28.05.1967.

# 317

Ян Блоньский, письмо к Славомиру Мрожеку, 30.05.1967.

# 318

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.10.1967.

# 319

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 10.01.1968.

# 320

Там же.

# 321

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 30.11.1969.

# 322

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 28.10.1967.

# 323

Станислав Лем, письмо к Дануте Сцибор-Рыльской, 21.03.1968.

# 324

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 28.04.1970.

# 325

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 23.01.1976.

# 326

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 24.12.1978.

# 327

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 21.01.1976.

# 328

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 12.06.1969.

# 329

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 21.10.1970.

# 330

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 11.11.1975.

# 331

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 24.09.1975.

# 332

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 19.12.1969.

# 333

Wojciech Orliński, *Naczelny aprowizator [разговор с Томашем Лемом / rozmowa z Tomaszem Lemem]*, «Gazeta Wyborcza», 20.09.2009.

# 334

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 4.07.1972.

# 335

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 1.08.1972.

# 336

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 14.11.1969.

# 337

Станислав Лем, письмо к Славомиру Мрожеку, 26.11.1969.

# 338

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.12.1969.

# 339

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 9.12.1969.

# 340

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 7.12.1969; Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.12.1969. О пяти годах он писал Роттенштайнеру, о десяти – Сцибору-Рыльскому.

# 341

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 19.12.1969.

# 342

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 6.11.1974.

# 343

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 19.03.1969.

# 344

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 18.12.1969.

# 345

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 28.04.1970.

# 346

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 24.02.1973.

## 347

Лемолог Виктор Язневич уточняет, что впервые на польском языке эти киноновеллы были опубликованы в 2000 году в собрании сочинений Литературного издательства. На немецком языке они были опубликованы в 1989 году. – *Прим. ред*.

# 348

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 21.10.1970.

# 349

Станислав Лем, письмо Францу Роттенштайнеру, 16.04.1979.

# 350

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 14.01.1981.

# 351

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 11.12.1981.

# 352

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 9.02.1979.

# 353

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 20.01.1975.

Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

# 355

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 22.05.1972.

Цит. по: Wojciech Orliński, *Co to są sepulki? Wszystko o Lemie*, Kraków: Znak, 2007.

# 357

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 13.08.1974.

# 358

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 24.12.1978.

# 359

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 13.01.1979.

Это название использовано в переводе Л. Цывьяна.

# 361

С. Лем, «Собысча», пер. с польск. Л. Цывьяна.

# 362

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 15.06.1975.

# 363

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 5.12.1975.

# 364

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 24.06.1969.

# 365

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 3.07.1969.

# 366

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 23.04.1971.

Wojciech Orliński, *Co to są sepulki?*.. op. cit.

# 368

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 23.06.1976.

# 369

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 5.07.1976.

# 370

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 17.10.1976.

# 371

Станислав Лем, письмо к Ариадне Громовой, 10.08.1972.

# 372

Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 5.04.1977.

# 373

Кшиштоф Теодор Тёплиц, письмо к Станиславу Лему, 10.11.1971.

# 374

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 22.09.1975.

# 375

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 13.06.1972.

# 376

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 16.03.1975.

# 377

Обстоятельства я отражаю на основе разговора с Анджеем Курцем 13.04.2015 в Варшаве и Томашем и Барбарой Лемами 19.06.2015 в Кракове.

# 378

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 6.02.1976.

# 379

Пересказываю на основании дневника Яна Юзефа Щепаньского и разговора с Анджеем Курцем 13.04.2015 в Варшаве.

# 380

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 14.07.1977.

# 381

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 13.01.1979.

# 382

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 11.07.1971.

# 383

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 9.11.1972.

# 384

Станислав Лем, нотариальная доверенность, 27.02.1973.

# 385

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 11.01.1973.

# 386

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 24.02.1973.

# 387

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 9.08.1974.

# 388

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 20.01.1975.

# 389

Станислав Лем, письмо к Александру Сцибору-Рыльскому, 30.06.1973.

# 390

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 17.01.1977.

Вообще говоря, причиной, по которой Лема лишили почётного членства в SFWA, были не только и не столько интриги Дика, сколько переведённые на английский язык статьи Лема с резкой критикой американской фантастики. – *Прим. ред.*

# 392

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 14.09.1971.

# 393

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 7.03.1972.

# 394

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 16.01.1973.

# 395

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 15.07.1972.

# 396

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 26.02.1973.

# 397

На основе разговора с Анджеем Курцем 13.04.2015 в Варшаве.

# 398

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 30.04.1973.

# 399

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 14.09.1971.

# 400

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 15.07.1972.

# 401

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 17.03.1973.

# 402

Филип Дик, письмо к Станиславу Лему, 27.02.1973.

## 403

У автора эта пословица приведена на русском языке именно в такой форме, для нас же более привычной является форма «Без бутылки не разберёшься».

# 404

Станислав Лем, письмо к Филипу Дику, 16.03.1973.

# 405

Филип Дик, письмо к Станиславу Лему, 3.04.1973.

# 406

Станислав Лем, письмо к Филипу Дику, 26.04.1973.

# 407

Филип Дик, письмо к Станиславу Лему, 2.05.1973.

# 408

Станислав Лем, письмо к Филипу Дику, 18.05.1973.

# 409

Филип Дик, письмо к Станиславу Лему, 20.06.1973.

# 410

Станислав Лем, письмо к Филипу Дику, 9.07.1974.

# 411

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 16.04.1973.

Филип Дик, письмо в ФБР, 2.09.1974.

# 413

Ян Юзеф Щепаньский, запись от 18.10.1978.

# 414

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 25.10.1980.

# 415

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 26.09.1979.

Михал Зых, разговор от 15.06.2015 в Кракове.

# 417

Цитаты приведены по изданию: С. Лем, «Осмотр на месте», пер. с польск. К. Душенко.

# 418

Ежи Яжембский, разговор от 25.08.2015 в Варшаве.

# 419

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 16.01.1981.

# 420

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 13.12.1980.

# 421

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 21.12.1980.

# 422

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 7.01.1981.

# 423

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 20.11.1982.

# 424

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому, 11.11.1977 (неотправленное).

ХДС – Христианско-демократический союз – либеральная консервативная партия, выступающая за решение в первую очередь экономических и социальных вопросов на основе христианской демократии.

ХСС – Христианско-социалистический союз – консервативная партия на демократической платформе, выступает за воплощение христианских и общечеловеческих идеалов в государственной политике.

# 426

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 31.12.1972.

# 427

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 20.03.1979.

# 428

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 11.08.1980.

# 429

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

# 430

Станислав Лем, письмо к Ежи Врублевскому.

# 431

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 12.09.1972.

Там же.

# 433

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 5.11.1983.

# 434

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 16.05.1983.

# 435

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 30.06.1983.

# 436

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 23.07.1983.

# 437

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 29.07.1983.

Отмечу, что Томаш Лем после знакомства с этой версией путешествия сказал, что не помнит ночёвки ни в Ганновере, ни в Розенхайме, но не исключает такого сценария.

# 439

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 14.06.1983.

# 440

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 4.03.1985.

# 441

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 6.11.1983.

# 442

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 4.03.1985.

# 443

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 6.04.1985.

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

# 445

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису.

Wojciech Orliński, Jonathan Carroll. *Uważaj, co przy mnie mówisz* [wywiad / интервью], «Gazeta Wyborcza», 14.06.2012.

Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

Paweł Goźliński i Jarosław Kurski, *Mój przyjaciel pesymista [wywiad z Władysławem Bartoszewskim / интервью с Владиславом Бартошевским]*, «Gazeta Wyborcza», 31.12.2008.

## 449

Лемолог Виктор Язневич уточняет, что «Мир на Земле» на 33,6 % больше «Непобедимого», на 13,2 % больше «Рукописи, найденной в ванне» и даже на 16,7 % больше, чем «Солярис». – *Прим. ред.*

# 450

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 29.06.1984.

# 451

Курфюрстендамм.

# 452

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 20.05.1983.

# 453

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 13.07.1983.

# 454

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 24.07.1969.

## 455

Цитата приведена по: С. Лем, «Мир на Земле», пер. с польск. К. Душенко, И. Левшина.

# 456

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 24.01.1985.

Agnieszka Gajewska, *Parodie, pastisze i recykling w prozie Stanisława Lema,* «Zagadnienia Rodzajów Literackich» 2014, nr 2.

# 458

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 4.03.1985.

# 459

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 28.04.1976.

# 460

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 6.04.1985.

# 461

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 14.02.1985.

# 462

Станислав Лем, письмо к Францу Роттенштайнеру, 16.03.1985.

# 463

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 12.01.1968.

Katarzyna Janowska, *Ojciec był dużym dzieckiem [wywiad z Tomaszem Lemem / интервью с Томашем Лемом]*, «Polityka», 22.09.2009.

# 465

Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 28.04.1984.

Там же.

P. Znawca [Stanisław Lem], *Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia*, «Kultura» 1987, nr 4 (475).

# 468

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 4.10.1984.

## 469

Окончание латинского выражения: *Feci, quod potui, faciant meliora potentes* – «Я сделал всё, что мог, пусть те, кто сможет, сделают лучше».

Stanisław Lem, *Ryzyko internetu*, w: tegoż, *Bomba megabitowa*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.

Wojciech Orliński, *Stanisław Lem. Okamgnienie*, «Gazeta Wyborcza», 19.01.2001.

# 472

Из разговора с Барбарой Лем от 19.06.2015 в Кракове.

О ней пишет в своих воспоминаниях Томаш Лем, появляется она также в письме Станислава Лема к Виргилиусу Чепайтису, от 16.01.1981.

# 474

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 18.11.1977.

# 475

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 5.12.1979.

Михал Зых, разговор от 15.06.2015 в Кракове.

# 477

История пана Фредзя описана в дневнике Яна Юзефа Щепаньского, запись от 4.07.1980.

# 478

Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 11.08.1981.

# 479

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 13.02.1989.

# 480

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 4.08.1989.

# 481

Лемолог Виктор Язневич уточнил, что в 1992 году в Германии всё-таки вышла книга «Прошлое будущего», в которую вошла и работа «Жизнь в эпоху СПИДа». См.: Lem S. Die Vergangenheit der Zukunft. – F/M.: Insel, 1992. 144 S. – *Прим. ред.*

Там же.

# 483

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 29.12.1992.

# 484

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 15.02.1993.

Agnieszka Kozik, *Wolę inne aromaty [wywiad ze Stanisławem Lemem / интервью со Станиславом Лемом]*, «Duży Format» 2003, nr 3 (приложение «Gazety Wyborczej», 6.02.2003).

# 486

Станислав Лем и Франц Роттенштайнер, договор от 25.10.1991.

Франц Роттерштайнер, разговор от 3.04.2006.

Станислав Бересь, разговор.

# 489

Станислав Лем, письмо к Вольфгангу Тадевальду, 28.04.1997.

Михал Зых, разговор от 12.12.2015 в Кракове.

Stanisław Lem, *Głosy z sieci*, «Tygodnik Powszechny» 2006, nr 8.

В этом переводе цитаты из книг С. Лема приводились из разных изданий, что указано возле каждой цитаты соответственно.

# 493

В этом переводе цитаты из этой книги приведены по изданию: С. Бересь, «Так говорил… Лем. Беседы со Станиславом Лемом», пер. с польск. В. Язневича и В. Борисова, Москва: «АСТ», 2006.

Эта книга Войцеха Орлинского вышла в Польше в 2017 году.